

ВРЕМЯ И ВЕЧНОСТЬ

Борис ХАЗАНОВ

Борис ХАЗАНОВ

# ВРЕМЯ И ВЕЧНОСТЬ

Мысли вслух и вполголоса



# **РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ**

КОЛЛЕКЦИЯ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ



НЕЗАВИСИМЫЙ  
АЛЬЯНС





**Борис ХАЗАНОВ**

**ВРЕМЯ  
И ВЕЧНОСТЬ**

**Мысли вслух и вполголоса**

Санкт-Петербург  
АЛЕТЕЙЯ  
2019



УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
X 152

**Хазанов Б.**

X 152    **Время и вечность. Мысли вслух и вполголоса / Б. Хазанов.** – СПб.: Алетейя, 2019. – 274 с. – (Серия «Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы»).

ISBN 978-5-907115-88-0

Время есть движущийся образ вечности. Название книги Бориса Хазанова отсылает к словам Сократа, которые передал нам в одном из своих диалогов Платон. Новая книга патриарха русского литературного Зарубежья представляет собой сборник произведений автобиографической, художественной, эссеистической прозы и завершается подборкой писем из личного архива автора.

**УДК 821.161.1**  
**ББК 84(2Рос=Рус)6-44**

ISBN 978-5-907115-88-0



© Б. Хазанов, 2019  
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2019

*Борису Марковскому,  
другу и собрату по ремеслу*



## Memorabilia<sup>1</sup>

Эта книжка, род лоскутного одеяла, состоит из фрагментов, написанных в различные времена. Можно сравнить её и с галереей зеркал — смотришься в них и видишь разные лица. Либо это ребёнок — и, вглядываясь в него, стараешься угадать, кем он станет через много лет, — либо старец, всё ещё сохранивший стёршиеся черты ребёнка. Единственное, что скрепляет этот маскарад, — навязчивые воспоминания, но и они перебивают друг друга: жизненные передраги, мнимые достижения, очевидные неудачи, везение, невезение... Наконец, страна, от которой никуда не денешься, которая возвращается, как тень Банко, страна-призрак, где посчастливилось или, напротив, угораздило родиться.

Рискну и я признаться, что сочинение моё есть не что иное, как плод сострадания к сочинителю? Как говорили в старину: простите автору его ошибки!

*Сентябрь 2018*

---

<sup>1</sup> Памятные записки (лат.)

## Часть I, философическая

Вижу вашу кривую усмешку, мой друг, вы снисходительно пожимаете плечами, услышав о том, что я намерен угостить вас неким домотканым трактатом: вам знакомо моё пристрастие к философствованию. Русскому писателю, скажете вы, растекаться по дереву как-то не к лицу, да. Пожалуй. и не по зубам. Русский писатель, как и читатель, не питает симпатий к отвлечённым материям, нам подавай нечто реальное, что-нибудь, что можно потрогать руками, узреть собственными глазами Живая жизнь, действительность — вот наш пароль, вот единый и единственный предмет нашего внимания. Не мудрствуй лукаво, показывай, а не рассказывай. И не слишком распространяйся о себе и своих изделиях.

\*

Но есть потребность поразмыслить о своём замысле, отворить ворота, быть может, открыть секрет мастерства. Короче, сделаться собственным комментатором. И, однако, не стала ли самоозабоченность литературы разумеющейся ещё со времён Флобера, манией западного романиста, интегрировать рефлексию в ткань прозы, превратить самоанализ в художественный приём. Дальше всего ушёл в этом направлении австриец Роберт Музиль. К чему всё это привело? Мне приходилось — вы помните — писать о торжестве и крахе эссеизма. Но — поговорим о другом.

\*

Когда ныряешь, зажмурившись, в катящийся навстречу, как прилив на морском берегу, вал памяти, другими

словами, погружаешься в стихию времени,— хочется отдать себе отчёт, что, собственно, мы подразумеваем под этим ключевым словом — время?

Первым делом, само собой, вспоминаешь Августина (Исповедь, XI, 10–30): «Пока меня никто не спрашивает, что такое время, я понимаю и нисколько не затрудняюсь, но если кто-то попросит объяснить, что оно такое, я не знаю, что ответить».

И дальше: «Неточно выражаются те, которые говорят, что есть три времени: прошлое, настоящее и будущее. Точнее, по-видимому, было бы сказать так. Имеются три времени: настоящее, относящееся к вещам прошлым; настоящее, относящееся к вещам настоящим, и настоящее, относящееся к вещам будущим. Поистине эти объекты существуют только в душе нашей... Настоящее вещей прошедших в *воспоминании*, настоящее предметов настоящих — в *созерцании*, настоящее вещей будущих — в *ожидании*».

\*

Невозможно, конечно, обойти молчанием и первоисточник рассуждений о времени — диалог Платона «Тимей». Охваченный чувством беспредельности Космоса во времени и пространстве, Афинянин высекает знаменитое определение Времени как подвижного образа Вечности.

\*

Столетия спустя находим в нелёгких для чтения «Энеадах» старшего неоплатоника Плотина размышления о божественном Всеедином, незримо присутствующем во всех существах, независимо от того, каким образом постигается это присутствие. Мир, таким образом, принадлежит Божеству. Вечность — атрибут Бога.

\*

Итак, превыше всего, по Плотину, стоит верховное Начало — единое и абсолютное. От него происходит Ум, начало единомногое. Мир, не доступный нашему зрению, есть



лишь его подобие. Это мир платоновых вечных идей, тени, скользящие по дну пещеры, Не о том ли поёт мистический хор Гёте в финале второй части «Фауста»: «Всё преходящее есть лишь подобье».

\*

Довольно об этом. Нерешённым остался вопрос: предусмотрена ли для нас, людей, другая возможность причаститься вечности? Да, возможна.

\*

Если позволить себе вклиниться в сей глубокомысленный дискурс. Что я осмелился бы к нему прибавить? Прежде всего, отказался бы от попыток объективировать время. Пусть это и покажется не новым. Будь что будет! Идея времени для меня — изобретение моего собственного ума, вечность — призрак. И, однако, вопреки Афинянину я начинаю думать, что существует всё-таки возможность победить тиранию времени. Это и значило бы отворить врата вечности. Я говорю о трёх путях. Это — сон, память и любовное соитие.

\*

Припоминаю «Земляничную поляну», шедевр Ингмара Бергмана. Перед рассветом пожилой профессор медицины Исак Борг видит сон. Он оказался в незнакомом городе, бродит по безлюдным улицам и натывается на столб с часами, На циферблате отсутствуют стрелки. Время исчезло.

А потом, прежде чем окончательно погаснет экран, выясняется, вспоминается, что и любви настоящей, с полной самоотдачей, — за всю жизнь не было.

\*

Время, какими бы метафорами его ни оснастить: текучая вода, колесо дня и ночи, песок в песочных часах,

юность, старость, кругооборот светил, — время поработает. Карусель событий одуряет, лавина эфемерных новостей валит с ног, время властвует над нами везде, жизнь современного человека — это безостановочная суета и спешка, отчаянные попытки устоять, не слететь с вращающегося круга. Стук колёс, уносящих в будущее, имя которому — смерть. Грохот состава, который ведёт безглазый машинист. Но существует вечность.

Что же это такое: нечто сущее на самом деле или изобретение мозга? Спор никогда не будет решён, его и не надо решать. Существует переживание вечности, Вечного Настоящего, ослепительная догадка, что время — временно и этой временности противостоит нечто пребывающее.

\*

Скажут: мистический экстаз, Пожелают связать это чувство с религиозной верой. На мой взгляд — сомнительное дело. Религия обещает личное бессмертие. Вечность, однако, вечность вовсе не означает вечную жизнь. Вечность — сама по себе.

\*

Вера. Какая вера? Вера сгорела в печах. Унеслась с дымом в пустые небеса. Я не могу спорить с учёными богословами. Они станут доказывать, что Всевышний наделил человека свободой воли, стало быть, люди сами виноваты: предпочли зло добру. А я думаю, что всемогущее и благое Верховное существо, о коем, впрочем, лучше помалкивать, допустившее гибель шести миллионов ни в чём не повинных людей, мало того, что дискредитировало себя в глазах жертв и тех немногих, кто уцелел. Оно поставило под сомнение своё собственное существование. Это было самоубийство Бога! Пускай теперь пастыри пытаются выгородить своего кумира. Мы, всё наше поколение, чувствуем себя на поминках.

\*

Перечитываю по ночам записные книжки Мишеля Чорана и чувствую, как родственна его весть моей душе. Тянет последовать его примеру, — отсюда эти летучие строки.

Сон ошеломляет неопровержимым реализмом жутких, подчас напоминающих Виктора Браунера видений. В Москве, теперь уже много лет назад, но знаю, помню отчётливо, накануне обыска, когда отряд поганцев из Прокуратуры похитил у меня роман и утащил все бумаги, мне приснилось: в полуоткрытую дверь протиснулась рожаящая лошадь. Голова рожала жеребёнка.

\*

Вновь о том же... Человеку дано причаститься вечности, всем своим существом ощутить чувство вечности. Чувство это нисходит свыше или, лучше сказать, восходит снизу. Не могу устоять против искушения процитировать, несколько переиначив, фразу Новалиса о том, что плотское вожделение низводит избранника вниз, погружая в чашу любимой женщины, и возносит из пучины экстаза. И, высвобождаясь, полузадохнувшийся, смежив веки, из чрева матери, он беспомощен, словно новорождённый, и на встречу ему вспыхивает метафизический свет.

## Часть II, беллетристическая

### АНТИВРЕМЯ

Давным-давно, в раннем моём романе «Антивремя», я пытался описывать нечто подобное.

...Это была та же комната, выцветший половик, ходики, то же лицо с венцом из колючек над тонкими бровями и зеленоватыми провалами глаз, лицо человека, которого никогда не было и который был, который смотрел сквозь опущенные веки; мне не нужно было вспоминать, это была та же икона и та же самая комната, я находился в ней наяву. Тамара зашевелилась рядом со мной, я снова закрыл глаза, снова открыл; ее состояние меня тревожило, я догадывался, что случившееся на улице было только поводом, чтобы проводить ее домой, ибо готовилось неотвратимое. Я опоздал в столовую, опаздывал на работу. Но теперь нечего было и думать о том, чтобы оставить ее. Икона поблескивала на стене, белел календарь, часы лихорадочно отстукивали секунды, но я понимал, что это лишь видимость, холостой ход механизма и стрелок. Существовал ли я? Или только готовился жить и меня еще не было? Неслышно отворилась дверь, на пороге стояла Тамара, она лежала рядом со мной, и она же стояла там, на пороге, в шерстяных носках, маленькая, как еврейская девочка, тот самый подросток с огромным животом, распиравшим ее, и маятник колыхался и гремел, как поезд, в котором нет ни одного пассажира. Я не мог произнести ни слова, мне было тяжело смотреть, как она мучается, кровь текла у нее по ноге; она мычала и гладила толстыми закругленными пальцами мою кожу, которая была одновременно и её кожей. Может быть,

это была волна желания, медленно поднимавшаяся из пучины нашего общего сна и накрывшая нас с головой, — пробудившись первой, она, возможно, пыталась расшевелить и меня, неподвижно лежащего на дне ее чрева. Она задвигалась и, вздымаясь, выгнулась почти дугой, хриплый стон вырвался из её сжатых губ... я почувствовал, как она уперлась ступнями в кровать, и мощная сила повернула меня и стала выталкивать наружу. После нескольких толчков она шумно вздохнула, распласталась, и все было кончено. Я лежал, ошеломленный, между ее ног. Это были роды.

\*

Если бы меня спросили, кто я такой, я повторил бы слова Пилата: Ессе homo, вот он, этот человек! Так кто же ты всё-таки... Quis es?

\*

Я родился, как Онегин, на берегах Невы, и вырос, как его создатель, в Москве. Я еврей и русский литератор, довольно обычное совпадение. Хотел бы отметить примечательную двуликость моей судьбы. Потеряв в детстве мать, я был воспитан отцом и домработницей, русской крестьянкой Анастасией Крыловой, любившей меня, как мать. Моё паспортное имя Героним демонстрируя ту же двойственность, представляет собой гибрид иудейского Грейнем и греческого Иероним. Мой дед-ремесленник был бедняк, книжник, считался знатоком Закона, а другим моим тёзкой стал раннехристианский аскет IV века, переводчик Ветхого Завета отец церкви блаженный Иероним.

\*

Мой голубоглазый рыжебородый дедушка, умерший задолго до моего появления на свет, вернулся, как некий призрак, из своей местечково-библейской вечности ко мне. Когда ледяной весной 1950 года я попал в уголов-

ный комендантский лагпунк, звериное сборище полулюдей-полукрыс, а затем транспортирован на лагпункт Белый Лух, у меня отросла рыжая щетина, превратившаяся в бороду.

\*

Свою участь, причудливую мою жизнь и судьбу, я не раз описывал в своих произведениях, и каждый, кто их прочтёт, согласится, что я был рождён для бегства. Я и сегодня, на пороге собственного столетия, эмигрант. Слово это ныне в России обросло нелестными коннотациями. Не с теми я, кто бросил землю на растерзание врагам... надо ли это цитировать. Каким врагам?.. И так далее. Кто-то в это верит. Я, однако, смею гордиться статусом апатрида, — для меня это нечто вроде орденской ленты. Родина наградила меня увесистым пинком в зад. Остракизм — заслуженная награда.

\*

Es treibt dich fort von Ort zu Ort. Гонения и скитания из края в край спасли моих пращуров, сумевших протянуть сквозь века ниточку, за которую ухватилась детская моя рука. Всё возвращается, как сказал Экклезиаст, на круги своя: не то же ли сбылось со мной, кому эмиграция спасла жизнь, избавила моего сына от угрозы повторить мою жизнь, национальной дискриминации и нищеты.

\*

...Забыл, увлѣкшись родословием, другую тему. Я всегда чувствовал себя отверженным в стране, где родился и вырос. Это связано не в последнюю очередь с тем, что я русский интеллигент и еврей, то есть более или менее ненавидимое существо; с юдофобством, чаще нескрываемым, либо растворѣнным в атмосфере, подобно лёгкому зловию, о котором не знают, откуда оно взялось, я — как же



иначе — встречался за свою долгую жизнь не единожды, равно как и с этим специфическим переживанием стеклянной стены, о которую то и дело ударяешься лбом. В лагере, безо всякого лицемерия, попросту бывал избит народом уголовников. Да о чём там говорить. Короче, я был изгнанником задолго до того, как покинул страну своего рождения и языка, — история моей жизни, а значит, и писательства, мне кажется, подтверждает это.

\*

Я никогда не забывал, не забуду и до конца жизни, что я бывший заключённый. Всё равно, что бывший люмпен или граф... Можно быть кем угодно: служить в банке, сочинять романы или развозить по домам глаженое белье — и при этом ни на минуту не забывать о своём, графском титуле. Лагерное прошлое означает принадлежность к особому сословию. Лагерь есть своего рода расовая принадлежность. Или профессия, которую можно слегка подзабыть. Но разучиться ей нельзя, она остаётся с тобой навсегда. Лагерь был нашим истинным отечеством, вся же прочая жизнь представлялась поездкой в теплые края, отпуском, затянувшимся, оттого что всеильное учреждение, подобно суду в романе Кафки, перегружено делами и до тебя просто ещё не дошли руки. Если мою удачу заметят, я пропал, как сказано в одном стихотворении Брехта: *Wenn mein Glück aussetzt, bin ich verloren*. Мы все остались в живых, да и всё ещё остаемся, просто по недосмотру начальства. И я всегда буду помнить это отечество, эту истинную Россию, потому что только такое отечество у нас и было. У меня всегда было чувство, что если я вновь зажил в московской квартире, и был счастлив с моей женой и сыном, и ходил свободно по улицам, и притворялся свободным человеком, то это был всего лишь отпуск, это было попустительство судьбы, чьё терпение однажды иссякнет. В любую минуту меня могут разоблачить. Почему бы и нет? Ибо на самом деле я переодетый граф, я кадровый заключённый, моё происхождение никуда от меня не де-

лось, мои бумаги всюду следуют за мной, «дело» с тайным грифом ХВ, то есть «хранить вечно», иначе (тюремный фольклор) «Христос Воскрес», ждёт своего часа, и моя пайка, место на нарах и очко в сортире — за мной, и лагерь где-то существует и подстерегает меня, как подстерегал в сорок девятом году...

Вернись я на полчаса, и дело мое, в самом деле, тотчас воскреснет, потому что кровавая гадина государственной безопасности не уничтожена, она бессмертна, и доднесь процветает, и пребудет вовек.

\*

Всё же мне повезло. Я не успел по возрасту быть призван, не побывал на войне, не был убит или искалечен, не оказался на оккупированной территории, не был умерщвлен в газовой камере, сожжён в печах. Я не окошел в лагере. Я родился и вырос в русском языке, который обожаю, мне удалось оставить недоброе отечество, я встретил девушку, которая стала женщиной моей жизни. Изгнанный из России, я выпустил за кордоном несколько дюжин книг. Мне 90 лет. Я всё ещё жив.

\*

Говорят, времена изменились, Но не изменились, — как не изменились и сны, и породившие их воспоминания. И если бы заблудившийся лётчик очутился в наших пространствах, он увидел бы под собой зеленовато-бурый ковёр лесов, тёмный пунктир узких таёжных рек, различил бы прочерк железнодорожной насыпи. Если бы ангел, медленно взмахивая белоснежными крыльями, огибая созвездия, пролетел над нашим краем, то заметил бы огоньки костров и чёрные проплешины вырубок. Тёмной ночью он пронёсся бы над спящим посёлком вольнонаёмных, над кольцом огней вокруг зоны и скорей угадал, чем увидел, тонкие струи прожекторов с игрушечных вышек.

Россия лагерей — вот моё подлинное отечество.

\*

Пушкинское предсмертное *Из Пиндемонта, Поэт Поэту, Воспоминание, Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит* — стало моим финальным евангелием.

\*

Время, Память, Одиночество. Любовь. Наконец, Творчество. Вот темы, что стучатся в дверь, вынуждая быть писателем, вот о чём только и стоит писать.

\*

Одиночество Овидия на берегу Понта; ни одного человека, жалуется он, кто сказал бы словечко по-латыни.

Моя речь — обречённая смерти латынь. Мой язык, некогда назывался русским. Достаточно представить себе: приезжаю в Москву и пытаюсь объясниться с местными жителями.

\*

И медленно от нас уходят тени,  
Которых мы уже не призываем,  
Возврат которых был бы страшен нам.  
И, раз проснувшись, видим, что забыли  
Мы даже путь в тот дом уединенный,  
И, задыхаясь от стыда и гнева,  
Бежим туда, но (как во сне бывает)  
Там все другое: люди, вещи, стены,

*А. Ахматова*

\*

Вспоминается... Снова вспоминается, и, чёрт возьми, никуда от этого не денешься. Препоручаю данный эпизод, краткую историю побега из времени в вечность — тому, кто был некогда мною и мною же остаётся.

Сравниваешь страну, где ныне коротаю затянувшуюся старость, с той, давно ушедшей, — с незабвенным отечеством. Так можно сравнивать жизнь на Земле с существованием на Сатурне.

\*

Нет, — это не та память Пруста, называемая *непроизвольной*, возбуждённая вкусом печенья, размоченного в липовом чаю у тётушки Леонии, — но память *насильственная*, *память-наваждение*, от которой невозможно спастись в третьем часу ночи, зудящая память, которую расцарапываешь до крови.

\*

Deus conservat omnia, повторяет Анна Ахматова девиз на фронте Фонтанного дома. Бог сохраняет всё. Мой бог — память, она копит в своих подвалах всё пережитое и изжитое. Не зря ведь случается увидеть во сне людей, исчезнувших с нашего горизонта и о которых мы никогда не вспоминали.

## СВИДАНИЕ

Помню событие, замечательное своей невероятностью, гробовой голос радиодиктора Левитана из коробки на столбе в бараке: *Товарищ Сталин потерял сознание*. Злорадное торжество узников, хоть и старались его не показывать: наконец-то! И хотя каннибал, как считалось, был ещё жив, все поняли: это конец. Конец!

\*

Но ещё много воды должно было утекь, прежде чем наступили перемены. Время — вещь необычайно длинная, как вещал Маяковский. И тянулась она, эта вещь, словно на отдаленных планетах. Как малосрочник, вдобавок большая часть срока уже отсижена, я был расконвоирован

и должен был перепробовать много новых должностей и работ. Был ночным дровоколом на электростанции, банщиком-истопником в бане для начальства, и конюхом, и хозвозчиком, комендантом на крайнем северном полустанке Поеж лагерной железной дороги. Как известно, год на Сатурне продолжается 3000 земных лет.

\*

Загремел железный засов на вахте. Предъявив поднявшемуся с лежанки, сладко зевающему дежурному надзирателю свой пропуск бесконвойного, счастливец вышел за ворота лагпункта в синюю морозную ночь. На чёрном небе горизонтальный низко над лесом сверкал алмазный Ковш. Всю долгую ночь 55 года несла вахту недоступная зрению семижды окольцованная планета лагерей, покровительница России. Всю ночь напролёт сияло, словно иллюминация, кольцо огней вокруг жилой зоны и били с вышек белые струи прожекторов.

\*

По тропке, протоптанной в снегу мимо увешанного лампочками, нежно позванивающего цепочками бессонных овчарок древнерусского тына сновидец прошагал до угловой вышки с завёрнутым в тулуп попкой-пулемётчиком и направился к сторожке при магазине вольнонаёмных, охранять объект неизвестно от кого. Славная работа. На мне был стёганый ватный бушлат, униформа узников, ватные штаны и диковинные карикатурные валенки. На голове-балде ушанка с козырьком рыбьего меха и завязанными ушами, руки в латаных мешковинных рукавицах.

Посидев для порядка, я вышел из сторожки. Тёмная чаща поджидала, храня тайну. Беглый раб, я научился определять время по звёздам. Привык к риску. Если меня хватятся, мне не сдобровать. Влепят новый срок, а то и загонят с этапом на край света. Отечество наше, слава-те господи, велико и обширно.

\*

Столетние сосны, утонувшие в снегу, расступились перед бодро шагающим знакомой дорогой. Идти недалеко, километров пять.

Наконец, посветлело впереди. В белёсой мгле завиднелись угластые избы под шапками снега. Ни звука, ни огня вокруг, деревня — помнится, называлась Кукуй — спала, спит, должно быть, и доселе, вековым непробудным сном со времён Батья, лишь два окошка светятся на краю селения.

\*

Проваливаясь в сугробах, путник перебрался через погребённый плетень и взошёл на крыльцо. Оттоптал снег в сенях, толкнулся в тяжёлую, застонавшую дверь. В тёплой и духовитой от развешанных под потолком пучков полыни избе было чисто и уютно, чахлый огонёк вздрагивал в сальном светильнике на дощатом столе, в красном углу поблескивала жестью оклада темноликая византийская Богородица.

\*

Гость уселся на пороге, стянул валенки, размотал портянки. Она стояла надо мной, босая, молча, в длинной рубахе, под которой стояли её большие материнские груди.

— Феклуша, — прохрипел сновидец. — Феклуша!..

И мы обнялись, и долго и горячо целовались.

\*

Пришелец взобрался в лагерных подштанниках по шаткой лесенке на лежанку. Печь дышала теплом. Подполз ближе. Сильные женские руки обхватили меня, толстые пальцы прокрались ловко и нежно и овладели мною. И я погрузился в чашу её просторных бёдер, и время отступило, повинуюсь последним содроганиям, и не было боль-



ше огромной бесприютной страны, высокого тына и сторожевых вышек, и кольца огней, и позванивающих цепочками овчарок, и слепящих прожекторов, не было ничего — была вечность.

\*

Слушал на днях в интернете с большим интересом продолжительный разговор популярного литературного критика Галины Юзефович с кем-то из коллег по цеху и живо почувствовал, как далеки, как галактически далеки от современной русской словесности и сегодняшней литературной жизни с её предпочтениями, вкусами, чинами, — как далеки, чужды им моё слово, музыка, философия, весь тот мир, в котором я живу, Скверное чувство. Стало ясно, как день, что всё сочинённое мною не имеет и, видимо, не обретёт ни малейших шансов встретить сочувствие у обоих собеседников, равно как и у слушателей, им внимающих.

Тоска, скука бывшего обитателя башни из слоновой кости, которого переселили в унылое плебейское жильё.

\*

Эмиграция, вот в чём дело. Двойной побег из отечества — в Зарубежье и в старость.

## О ПАТРИОТИЗМЕ

Сцена из фильма Глеба Панфилова «В огне брода нет», дуэт замечательных актёров Лебедева и Чуриковой. В избе местного священника на станции, вокруг которой полыхает гражданская война, девушку медсестру санитарного эшелона красных, попавшую в плен к белым, допрашивает белогвардейский полковник. Следует короткий диалог.

- Ты комсомолка?
- Комсомолка.
- Россию любишь?
- Люблю.

\*

Я не знаю, как ответил бы я на вопрос, люблю ли я мою страну. Думаю, что ответ, разумеется, неоднозначный, содержится в моих произведениях, — нужно только прочесть их по возможности внимательно и терпеливо.

\*

Прожить всю жизнь в огромном, напоминающем те самые, доисторические существа, вымершие оттого, что они были слишком велики, государстве, поражённом не-исцелимой злокачественной опухолью — советским социалистическим коммунизмом.

И, однако: что значит «неоднозначный»? Женщину или любят, или не любят. Словно готовая отдаться, эта страна раскинулась на бескрайних пространствах, чтобы во-брат, всосать тебя всего без остатка, влагалищная страна, не отпускающая из гибельных своих недр...

### КАТАБАСИС (Спуск, нисхождение)

Никого не было. Ни звука в коридоре. Серый зимний день сочился в окно. Он — удобней будет говорить о себе в третьем лице, как если бы я взял взаймы память у кого-то другого, — он сидел над учебниками, когда послышался шорох, кто-то там подкрался. Робко приоткрылась дверь. Студент поднял голову. Она вошла, стараясь преодолеть смущение. Он улыбнулся скорее из вежливости. Он был занят.

Была такая на старшем курсе и на один год старше, по имени Фаина, или просто Фая. Фая Кравец. Он всё ещё сидел спиной к ней; она решилась. Молча, обойдя стол, обняла сзади сидящего и прижалась, давая. ему почувствовать близость своего тела. Это был отважный шаг. Неожиданно стукнуло что-то снаружи, она отпрянула.

В пустом и холодном коридоре общежития, под сиротливыми лампочками по-прежнему всё молчало. Время остановилось. Девушка шагала, прямо глядя перед собою, минуя одну дверь за другой, она была невысока, несколько полновата и широка в бёдрах, мужчина следовал за ней, как тень.

В тусклом освещении волосы Фаи слабо отливали медовым оттенком. Тысячелетия должны были пройти, прежде чем в ней смешалась кровь рыжеволосых цариц Хаана с кровью смуглых пленниц-моавитянок. Она шествовала, точно несла себя, отведя руку в сторону, чуть заметно покачивая бёдрами.

Она остановилась... В дальнем конце коридора полутёмная лестница спускалась, словно в преисподнюю, в подвал. Студент догадывался, куда его влечёт непостижимая судьба. Оба сошли в сырую тьму подземелья. Медно-волосый психопомп вёл его в приют испуганно сторонящихся теней. Вдоль стен тянулись трубы центрального отопления, девушка протянула руку к штепселю. Жидкий свет брызнул с потолка, нашлась дверь; отворив, они оглядывали закуток с хозяйственной рухлядью, искали ложе или саркофаг.

Он подчинился. В огромных, темно отсвечивающих глазах Фаины застыло уверенное ожидание, минуты казались вечностью. Губы зашевелились, — он понял её без слов, то был зов к продолжению жизни. Пальцы Фаины расстегнули кофточку, открылась белизна рубашки, руки потянулись назад, чтобы освободиться от лифчика, и обнажили грудь.

## ВОЗВРАЩЕНИЕ

Твердят, уверяют, и, быть может, не без основания, что писатель не может работать, оторвавшись от стихии родного языка — простившись с отечеством. Я и сам чувствую свою отверженность. Видите ли, вспоминать — не то же, что помнить...

\*

Итак, ещё одно памятование, ещё одна попытка переиграть шахматную партию в наивной уверенности, что её, эту проигранную игру, можно было всё-таки выиграть.

\*

Случилось так, что я вернулся после одиннадцатилетнего изгнания в город, который, собственно, и считаю, как ни смешно, своим отечеством; обстоятельства мои не располагали к долговременному визиту, не говоря о том, чтобы остаться насовсем. У меня был запас свободного времени, для начала хотелось прогуляться, я чуть не сказал — прошвырнуться, по родным местам. Мне не нужен был план города, путеводителем служило мне моё детство.

\*

Первым делом отправился на улицу Кирова, некогда именовавшуюся Мясницкой. Если вы спросите у прохожих, что за птица был этот Киров, вам вряд ли кто объяснит. Разве только пожмёт плечами: был такой. Тёмная личность. А ведь я ещё помню траур, когда кто-то его убил. По Мясницкой ходил трамвай. Помню последних извозчиков, они сидели на козлах, ожидая седоков, которых становилось всё меньше. Здесь всё давно стало бывшим.

\*

Погода улыбнулась пришельцу. Естественно, я шёл пешком. Миновал Кривоколенный переулок; долго разглядывал старинную вывеску. Кажется, здесь проживал Веневитинов. Нельзя быть истинным москвичом, не зная об этом переулке. Такие названия, как Покровка, Маросейка, Армянский переулок, Чистые Пруды, Красные Ворота, звучат для меня как топонимы античной географии. Дойдя до следующего поворота, в Большой Козловский, — тут по-

мещался прежде писчебумажный магазин, можно было купить тетрадку в клетку или в линейку, стальное перо №86, перо «селёдочку», или «рондо», — дойдя до угла, как в бреду, я побрёл, крадучись, мимо дома 42, обиталища уголовной шпаны, увидел верзилу на страже у ворот, — сейчас оттуда выкатится слюнявый подросток, попробуй отмахнуться от него, бандит шагнет к тебе, квакнет: «Дай ребёнку часы поиграть»; впрочем, никаких ручных часов ни у кого тогда не было. Словом, опасный двор. Отогнав наваждение, я двинулся вдоль каменной ограды исчезнувшего чехословацкого консульства. Вспомнилось, как мы, дети, столпились перед подъездом великолепного особняка вокруг машины, из которой вылезал элегантный офицер в мундире с узкими серебряными погонами, — нечто невиданное.

Дефилирую дальше... внимание! Дом, подумать только, наш дом стоит, как ни в чём не бывало. Поблескивают окна нижнего этажа, — кто теперь там обитает? Я мог бы и сейчас назвать фамилии чуть ли не всех квартирантов. Направо от окон глухие железные створы ворот. Признаться ли, что фасад, окна, арка ворот собственно и были целью моего путешествия? Ноги подтащили меня к подворотне.

\*

Толкнулся — не тут-то было, ворота захлопнуты. Повернул оглобли — к Большому Харитоньевскому и Чистопрудному бульвару. И тут, наконец, дошло до сознания, паломника, блудного сына, охваченного ознобом бездомности, что никто и ничто в этом царстве сна тебя не ждёт.

Впрочем, оспорить новое и чужое, воцарившееся за все эти годы, было бы невозможно: город, знаемый наизусть, стал непроизносим. Однако свежие впечатления недолговечны, бывшее не мирится с настоящим. Память не терпит редактуры. Сны непогрешимы.

Всё же мне бы следовало — на то я и литератор — подробнее отчитаться об этом путешествии, что я и собираюсь сделать. Итак, продолжим. Войдя в переулок, обессмер-

тивший некоего домовладельца, который обосновался здесь после пожара 1812 года, иноземный гость узрел воочию то, о чём фантазировал не одну творческую ночь. Первая мысль моя была о дворнике. Иван Сергеев, суровый мужик в холщёвых портах на крестообразных помочах и белом фартуке, униформе столичных дворников, запирает ворота от незваных визитёров — бродячих певцов, гадалей, собирателей съестных отбросов и местного хулиганья. Что стало с дядей Иваном? Казалось мне, я не удивлюсь, выйди он мне навстречу.

Побродив взад-вперёд, ещё раз нажал на ворота. Чудо — створы приоткрылись. Протиснуться в щель для подрастающего, в которого я превратился, не представляло труда. И вот стою, волнуясь, под аркой: слева мусорный ящик с поднятой крышкой источает запахи гнили и старины, — кто-то забыл захлопнуть. Впереди, в просвете арки наш старый двор, знаю назубок его, как «У лукоморья дуб зелёный»: каменный мешок, похожий на все московские дворы. Всё тут не раз обнюхано и описано в моих сочинениях: и рёбра снеготаялки в ожидании зимы, и пожарные лестницы, и оба чёрных хода, и ребячьи письма мелом на асфальте. По-прежнему слепо отсвечивают окна этажей, — в эту минуту солнце украдкой проникло в пропасть двора. Задрав голову, я увидел над окоёмом крыш и кирпичным брандмауэром голубые поляны неба.

\*

Но сам двор на удивление оказался мал, стиснутый между стенами дома, — всё-таки я воображал его себе иначе. Трудно было представить, как мы могли носиться наперегонки в такой тесноте, от подворотни к крыльцу перед квартирой дворника, от одной лестницы к другой.

Тут меня окликнули. Я обернулся. И это случилось! Не напрасно вспомнилась наша беготня. Приключение, ожидавшее меня, было из тех, в которые веришь и не веришь — готов, однако, ручаться за правдивость своего рассказа



«Ты?!» — спросил я ошеломлённо. Тотчас меня осенило: ведь я её ждал! Сам того не замечая, не отдавая себе отчёта, думал о ней, бродя по переулку, колотясь в ворота. Лида, Лидка, старшая дочка дяди Ивана.

Не могло быть никаких сомнений. Она, живая, как в той жизни, и сама жизнь, Лида, которую никто не мог догнать, крепконогая, круглолицая, почти на голову выше меня и на год старше, в ситцевом платье до коленок, под которым как будто уже начали округляться бёдра. Тайнопись пола. Я уставился на Лиду глазами сверстника и взрослого одновременно. То была зашифрованная в двенадцатилетнем подростковом возрасте красота женщины.

«Не узнаёшь? — спросила она. — А я тебя сразу узнала».

Не только узнала, но, как и я её, назвала меня по имени. Я молчал, не сводя от неё глаз. Мне нужно было время, чтобы окончательно ощутить себя одним из тех, кем были все мы, наш двор, — полудетское наше отечество. Обоих, меня и Лидку, дразнили женихом и невестой.

«Помнишь?» — спросил я.

Она возразила, подбоченившись:

«Я знала, что ты приедешь».

Я пролепетал:

«Знала... откуда?..»

«От верблюда. Зачем?»

«Что зачем?»

«Зачем приехал».

«Сам не знаю, — сказал я. — За тобой».

«За мной?»

«Чтобы ты со мной поехала».

Ответ неожиданный для меня самого.

«Куда это?» — надменно спросила Лидия.

Ещё несколько минут прошло в обоюдном молчании...

«Хочешь, — продолжал я, — поедем со мной?»

«Я ещё не... — не женщина», — возразила она, вероятно, решив (или догадавшись), что я хочу на ней жениться, — и провела руками от груди до бёдер.

Я ждал (если это был я). Она облила меня презрительным взглядом. Прошла, танцуя, мимо меня, по двору, ставшему таким нешироким. Она была права. Я понял, насколько Лида стала меня старше. Она успела усвоить чисто женское умение сделать партнёра зеркалом, в котором сама смотрелась. Я заметил — ибо зеркало всё видит, — что она поигрывает на ходу бёдрами. Прогуливаясь, напевала:

«Тили-тили тесто, жених и невеста...»

Я решился.

«Последний раз предлагаю. Поедешь со мной?» — и повернулся к выходу.

«Ты куда?»

Я возразил, что мне надо закончить рассказ. А времени остаётся немного.

«Ты пишешь рассказы?»

«Пишу. Разные... Вот, например, этот».

«Понимаю. Тебе пора в аэропорт, — проговорила она задумчиво, видимо, не зная, что воздушного сообщения ещё не существует. — Постой, — сказала она, — нам надо попрощаться. Хочешь меня поцеловать?»

«Ты не умеешь целоваться», — сказала Лида, когда губы наши расстались. — И сюда, — и отколупнула пуговицы платья на груди.

Целуя Лиду, я нашёл маленький плоский сосок. Она вырвалась. Сновидец знал, что он её не догонит.

Считается (некоторые ещё разделяют эту точку зрения), что писателю необходимо жить среди своего народа, в стихии родного языка.

У меня нет собственного мнения на этот счёт.

## ДВЕНАДЦАТЬ

Марк Харитонов, ближайший друг, многолетний корреспондент и высоко ценимый писатель, прислал новый французский перевод «Двенадцати» Блока, выполненный Жоржем Нива, перевод очень изобретательный и аккуратный, по моему впечатлению. Я не мог спросить Жоржа

(с которым знаком скорее шапочно), переживает ли переводчик, ученик фанатического французского славянофила Пьера Паскаля, гениальную двусмысленность бессмертной поэмы, как я её переживаю в своём углу, — как коварную смертоубийственную месть её создателю, месть тысячелетней России поэту за то, что он великий поэт. И аминь.

\*

В который раз твержу себе... Или утешаю себя.

Достоинство писателя состоит не в том, чтобы жить в истории, но в том, чтобы противостоять истории; очевидно, что это означает жить в своём времени и вопреки ему. Спротивляться! Всякий литературный текст «актуален», тем не менее литература и общественность — понятия, связанные скорее обратной зависимостью: чем литература актуальней, тем она меньше литература. Несколько великих исключений, Аристофан или «Бесы», лишь подтверждают правило; при ближайшем рассмотрении исключения оказываются мнимыми; злоба дня переселяется в комментарий — кладбище злободневности; то, что некогда было животрепещущим, в глазах потомков всего лишь повод для чего-то бесконечно более важного. Жизнь неизменно отвечает ангажированной литературе чёрной неблагодарностью: литература, которая хочет говорить о самом жгучем и наиболее болезненном, оказывается банальной, то есть художественно несвоевременной. Быть своевременным значит быть несвоевременным.

## МУЗИЛЬ

Некогда я увлекался Музилем — чтобы не сказать — жил Робертом Музилем. Немного переводил.

Присутствие Музиля на прокоммунистическом конгрессе писателей в защиту культуры в 1935 году в Париже кажется недоразумением. (Об этом конгрессе есть в мемуарах Ильи Эренбурга: упомянуто множество участ-

ников, Музиля он не заметил.) Речь Музиля никак не соответствовала настроению публики и тех, кто сидел на подмостках. Впрочем, мало кому говорило что-либо тогда это имя.

Чем же привлекает меня, столько десятилетий спустя, давно забытая речь?

\*

«Я, — сказал оратор, — всю жизнь держался в стороне от политики, так как не чувствую к ней никакого призвания. Упрёк в том, что никто не вправе уклоняться от политики, ибо она касается каждого, мне непонятен. Гигиена тоже касается всех, и всё же я никогда не высказывался о ней публично. У меня нет призвания быть гигиенистом, так же как нет таланта руководить экономикой или заниматься геологией. Политики склонны рассматривать достижения культуры как свою естественную добычу, вроде того, как женщины раньше доставались победителям. Я же, со своей стороны, полагаю, что роскошной культуре подобает женское искусство защищать себя и своё достоинство. Культура предполагает непрерывность и пиетет даже перед тем, с чем борются. Кроме того, можно твёрдо сказать, что культура всегда была сверхнациональна. Но даже если бы она не обладала качеством наднациональности, она и внутри собственного народа всегда была бы чем-то таким, что живёт над временем, служила бы мостом над эпохой провала и соединяла бы живущих с далёким прошлым. Отсюда следует, что тому, кто служит культуре, не положено отождествлять себя без остатка с сегодняшним состоянием его национальной культуры. Культура — не эстафета, передаваемая из рук в руки, как это представляют себе традиционалисты; дело обстоит куда сложнее: творческие умы не столько продолжают культуру как нечто идущее к нам из мглы времён и из других стран, сколько видят в ней нечто такое, что заново рождается в них самих».

## ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

Поэма

### *Подобие пролога. Дровокол и Сатурн. Снег*

В декабрьскую ночь автор, начавший эту страницу, получил производственную травму, случай не такой уж редкий в наших местах. Расскажу о нём кратко. Я работал на электростанции, это имело свои преимущества и свои недостатки.

Мне не нужно было вставать до рассвета, наоборот, в это время я заканчивал смену и брёл домой, предвкушая сладкий сон в дневной тишине опустевшего барака. Вечером, когда возвращались бригады и секция наполнялась усталыми и возбуждёнными людьми, я приступал к сборам, влезал в стёганные ватные штаны и всаживал ноги в валенки, голову повязывал платком, чтобы не дуло в уши и затылок, нахлобучивал ушанку, надевал ватный бушлат и запасался мешковинными рукавицами. В синих густеющих сумерках перед вахтой собиралось человек восемь таких же, как я. Рабочий день в это время года у бригадников выходил короче, так как съём с работы по режимным соображениям производился засветло, — у бесконвойных же, напротив, длиннее.

Высокие, украшенные лозунгом и выцветшими флажками ворота ради нас не отворялись. Гремел засов на вахте, мы выходили один за другим, предъявляя пропуск, через проходную. Кто шёл на дежурство в пожарку, кто сторожем на дальний склад. По тропке в снегу я шагал до угла, оттуда сворачивал на дорогу, ведущую к станции. Слева от дороги, напротив казармы для охраны и посёлка вольнонаёмных, среди снежных холмов находилась утоптанная площадка, усыпанная щепками и корьём, стояли козлы и вагонетка, высились штабеля дров, темнел большой дощатый сарай, похожий на пароход, с железной мачтой-трубой на проволочных растяжках. Ночью эта труба плыла среди звёзд, дымя плотным белым дымом, а из сарая доносился глухой рокот.

Всю ночь в жилой зоне горел свет на столбах и в бараках, ток подавался в посёлок, в казарму, в пожарное депо, но всё это составляло ничтожный расход по сравнению с энергией, подаваемой на заграждения из колючей проволоки и наружное кольцо. Всё могло выйти из строя, но сияющий, словно иллюминация, венец огней вокруг зоны и белые струи прожекторов, бьющие с вышек, не должны были померкнуть ни при какой погоде.

Первым делом расчистить рельсы, сгрести снег со штабелей. Обухом наотмашь — по смёрзшимся торцам, чтобы развалить штабель. Сквозь ртутное мерцание звёзд, в белёсом дыме, без устали грохоча, шёл вперёд без флагов и огней опущённый снегом двускатный корабль. Ежедневно его утроба пожирала восемь кубометров берёзовых дров. На столбе под чёрной тарелкой качалась на ветру хилая лампочка, колыхалась на площадке, махая колуном, тень в ватном бушлате. Мне становилось жарко, я сбрасывал бушлат, разматывал бабий платок.

Толкая по рельсам нагруженную тележку, я довёз её до входа в сарай, отворил дверь, и оттуда вырвался оглушительный лязг. В топке выло пламя. Облитый оранжевым светом, глянцевоый, голый до пояса кочегар, вися грудью на длинной, как у сталевара, кочерге, ворочал дрова в печи. Кочегар что-то кричал. На часах, висевших между стропилами над огромной, потной и сотрясающейся машиной, было два часа ночи. Механик спал в углу на топчане, накрыв голову телогрейкой.

Кочегар крикнул, что звонят с вахты, дежурный ругается. Блистающее кольцо вокруг зоны тускнело, когда топку загружали сырыми дровами. Дровокол...

...или тот, другой, кто был мною в те нескончаемые годы. В тот единственный год, как год на Сатурне, где Солнце — лиловой звездой. В те дни и те ночи, когда в смутных известиях, переносившихся, словно радиоволны, из одного таёжного княжества в другое, в толковищах вполголоса на скрипучих нарах, в лапидарном мате — крепила уверенность людей, которых считали несуществующими, в том, что только они и существуют и других не осталось, что повсеме-

стно паспорта заменены формулярами, одежда — бушлатом и вислыми ватными штанами, человеческая речь — доисторическим рыком, время — сроком, которому нет конца, и что даже на Спасской башне стрелки заменены чугунным обрубком, который показывает один-единственный, бесконечный год...

...когда рассказывали, повествовали о том, как старичок председатель Верховного Совета, — был такой, какой-то совет в неведомых лалях, — старичок, говорю я, в очках и в бородке клинышком, едва только доложат, что пришёл состав, канает на Курский вокзал, идёт, стучит палочкой по перрону вдоль товарных вагонов, гружёных помиловками, то бишь просьбами о помиловании, а сзади ему подают мел. И старичок-козлик, мелом, наискосок, на каждом вагоне — резолюцию: отказать, — после чего состав катит обратно;

или когда рассказывали, как маршал с мингрельской фамилией, со звёздами на широких, как доски, погонах, с брюхом горой, в пенсне на мясистом рубильнике, входит ежевечерне доложить, сколько кубов леса напилили за день по всем лагерям, и Великий Ус, погуляв туда-сюда по просторному кабинету, подымив трубочкой, подходит к стоячим счётам вроде тех, что стоят в первом классе, перебрасывает костяшки и говорит, щурясь от дыма: «Мало! Пущай сидят»;

когда рассказывали, клялись, что знают доподлинно, от людей, своими ушами слышавших, глазами видевших, как один мужик, забравшись ночью в кабинет оперуполномоченного, спросил: правда ли, что вся Россия сидит? И что будто бы портрет над столом, ухмыльнувшись половинкой усов, ответил загадочной фразой: «Благо всех вместе выше, чем благо каждого по отдельности». Не поняв, любопытствующий повторил вопрос: правду ли болтают, что никого на воле уже не осталось? И портрет ему ответил:

«Ща как в рыло въеду, не выеду».

...Дровокол вывез пустую вагонетку из сарая, в конце концов за работу электростанции отвечал механик. Волоча кабель, я поплёлся к штабелю с ёлкой, она будет посуше,

выкатил несколько баланов, разрезал, электрическая пила стрекотала, как пулемёт, рукоятка билась под рукавицей. Дул пронзительный ветер, колыхался жёлтый круг света, лампочка раскачивалась на столбе под чёрной тарелкой. Как вдруг свет погас. Пила замолкла. Открылся сумеречный, сиреневый простор под усыпанным алмазными звёздами небом. Но машина по-прежнему рокотала в сарае, из железной трубы валил дым и летели искры.

В темноте дровокол расхаживал вдоль расставленных шеренгой полутораметровых поленьев. Ель — не берёза, литые берёзовые плахи на морозе звенят и разлетаются, как орех, а ёлка пружинит. Это стоило бы запомнить каждому. Колун завяз в полене, дровокол плохо видел и наклонился над обухом. Колун словно ждал этого мгновения и вырвался, саданув дровокола обухом в лицо.

Милость судьбы: наклонись я чуть ниже, был бы убит. Вообще стоило бы поразмыслить над тем, что, собственно, мы называем случаем.

Мы в России привыкли жить сегодняшним днём. Мудрое правило. А потому прошу не считать меня отставшим от жизни, не думать, что мои рассуждения — прошлогодний снег. Пускай он нынче растаял, завтра — выпадет снова. Из снега всё вышло, в снег и уйдёт. И вода, что мы пьём, тот же снег; и не зря сказано: кто однажды отведал тюремной баланды, будет лакать её снова.

Говорят, Ус не умер, а скрывается где-то; да хотя бы и умер. Говорят, все лагеря разогнали. Чушь. Не верю. Лагерное существование есть законный и нормальный образ жизни русского человека, лагерь — это судьба, а слово «судьба» ничего другого, как обыкновенную жизнь, не обозначает. Иные, так просто страшились конца срока, с тяжёлым сердцем ожидали освобождения. Человек тоскует по лагерю, потому что лагерь у него в душе. Как кромка леса на горизонте, лагерь маячит и никуда не денется. Не заметишь, как придвинется и сомкнётся вокруг тебя этот лес, и друг обернётся предателем, и вода станет снегом, и дом — баракком.

В сумерках дровокол сидел на снегу, выплёвывал зубы, красные горячие сопли свисали у меня изо рта и носа. Коче-



гар заметил, что перегорела лампочка на площадке, и выглянул в темноту. Я доплёлся до зоны, утром получил в санчасти освобождение. Четырёх дней, однако, не хватило, пришлось с замотанной мордой топтать на станцию под конвоем, следом за подводой, в которой везли трёх совсем уже немощных. На станции дожидалась теплушка, так назывался поезд, на котором за десять часов надо было пересечь по лагерьной ветке всё княжество, чтобы добраться до больницы.

### *Лагпункт: вид сверху. Любовь и смерть*

Положи меня, как печать, на сердце твоё, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь.

*Песнь песней Соломона: 8, 6.*

«Живо, живо, поворачивайся, твою мать!» Народ вышел из тьмы на свет. Никто не ведал, в каком краю они очутились, знали только — где-то на северо-востоке. Люди выпрыгивали из тёмных, вонючих вагонов, не товарных и не пассажирских, с редкими зарешечёнными окошками, скатывались по откосу, строились, брели по щиколотку в снегу под сиреневым небом. Не было дорожных указателей, и никто не смел спрашивать. Если бы заблудившийся лётчик очутился в этих пространствах, он увидел бы под собой зеленовато-бурый ковёр лесов, тёмный пунктир узких таёжных рек, различил бы прочерк железнодорожной насыпи. Если бы ангел, медленно взмахивая белоснежными крыльями, огибая созвездия, пролетел над нашим краем, то заметил бы огоньки костров и чёрные проплешины вырубок. Тёмной ночью он пронёсся бы над спящим посёлком вольнонаёмных, казармой охранного воинства, над кольцом огней вокруг зоны и скорей угадал, чем увидел, тонкие струи прожекторов с игрушечных вышек.

Всем известно, что времена года сменяют друг друга по-разному на различных широтах нашего отечества. Время течёт неодинаково; у времени бывает мало времени, а быва-

ет много. Пока где-то там неслись, опережая друг друга, годы и десятилетия, в наших местах, как на Сатурне, тянулся один и тот же год. Там отсчитывали время нетерпеливые нервные стрелки, здесь — толстые неповоротливые обрубки. Сколько лет прошло с тех пор, как совершились события, о коих пойдёт речь? Существует ли ещё княжество? По-разному на этот вопрос отвечают учёные люди. Предлагаются разные теории. Мы же по простоте полагаем, что да, существует, ибо лагерь бессмертен. Итак, начнём эту песнь по преданиям сего времени, а не по чьим-то измышлениям, постараемся соблюсти справедливость, никому не вредя, никого не поучая. Не поддадимся сладострастнейшему из соблазнов, соблазну ненависти. Никто не в силах объяснить, отчего ненависть так похожа на любовь и сильна, как смерть.

Как сперма любви, семя ненависти зреет и копится, чтобы излиться в чьё-нибудь лоно. Не так уж важно, на кого обрушится влюблённая ненависть, лишь бы извергнуться. Лишь бы отомстить, — кому и за что? За то, что так непролазны болота, безбрежны снега, лес без конца; за то, что тебя родили на свет, не спросясь, хочешь ли ты жить, да ещё где? — в этой стране. Отомстить жизни, — не значит ли в конце концов свести счёты с самим собою.

Семя ненависти живёт в гробах.

### *Утренние известия. Капитан на вахте.*

#### *Шествие капитана по лагпункту*

О случившемся доложили начальнику лагпункта капитану Ничволоде в шестом часу утра 22 апреля, — как назло, это был день рождения Ленина. Капитан считал своим долгом присутствовать на разводе по особо торжественным дням. Он стоял на крыльце вахты, в долгополой шинели, в шапке из поддельного меха, со звездой, ввинченной в поднятый козырёк, и опущенными ушами; стоял, высился, обзревая дружину, словно удельный князь, кем он и был, — красный от выпитого, наблюдая за всем, что происходило, величественно-безумным и восторженным взглядом. В су-

мерках перед распахнутыми воротами, над которыми красовался лозунг и висели выцветшие флаги, дудел оркестр заключённых, нарядчик выкрикивал номера бригад, когорта стояла, дожидаясь команды, двинулась по четыре в ряд, на ходу расстёгивая бушлаты, вахтёр махал пальцем, отсчитывая каждую четвёрку. С деревянной вышки над крышей вахты площадку за воротами озарял прожектор, охранял пулемёт. Два надзирателя обнимали и обхлопывали каждого, конвой ждал, полукругом сидели овчарки на поджарых задах. Оркестр смолк, и ворота закрылись. Нарядчик отправился собирать отказчиков по баракам. Капитан Ничволода вошёл в помещение вахты.

Капитан уселся на табуретку с лицом мрачнее тучи. Он еще раз спросил, когда исчез старший дежурный вахтёр. Князь недавно получил четвёртую звёздочку на погоны, был переведён на крайний северный ОЛП и еще не запомнил фамилий подчинённых. Пропавшего дежурного звали Карнаухов. Второй вахтёр не мог добавить ничего к тому, что уже было доложено, дежурным разрешалось коротать ночь, лёжа по очереди на лавке, он не решился сказать, что спал, когда Карнаухов покинул помещение вахты. Когда покинул? Вахтёр сказал: часа в три. Когда точно? — огрызнулся капитан. В 3.00, отпрапортовал второй дежурный. Куда? Не могу знать, отвечал надзиратель. Что же ты, едрёна вошь, громыхнул начальник лагпункта, испытывая злое сострадание к дураку дежурному; пожалуй, и к самому себе. Он двинулся в жилую зону, где, обгоняя его, как раскаты грома, неслась по воздуху весть о том, что капитан обходит бараки с нарядчиком и помпобытом.

### *Шествие Анны Никодимовой и марш оперативного уполномоченного*

Со скрипом, неохотно, словно кому-то в вышних надоело каждый день рассветать, забрезжил день. Прошла через вахту и поспешила по центральному трапу в контору секретарша начальника. Событие, которое повторялось ежеутренне изо дня в день. Дневальные в опустевших секциях,

перестав елозить резиновой шваброй по полу, прилипли к окнам бараков; бесконвойные хозводители, конь и бочка золотаря, ожидавшие, когда их выпустят за ворота, все повернулись в одну сторону, хлебрез, одна из высокопоставленных персон в зоне, на пороге хлебрезки следил за явлением женщины; сам Вася Вересов, гоминид с жирными плечами, покрытый густым волосом, украшенный лиловыми наколками спереди и сзади, изрыгнул сочный мат, оборвал гудящий звон своей гитары в культурно-воспитательной избе, где он репетировал патриотические куплеты для концерта художественной самодеятельности, вещкаптёр, завстоловой, завпекарней, академик-фельдшер, выдававший справки об освобождении от работы, и лагерный портной Лёва Жид, всё живое, остававшееся в зоне, всё мужское превратилось в зрение и слух, млело от ожидания, — все знали о сошествии в мир секретарши Анны Никодимовой.

Не та отчаянно-робкая, жидковолосая, с рябоватым простодушным лицом, бери выше — баба, Женщина, недосягаемое женское тело, вот кем она была; торопливый стук её сношенных ботинок по расчищенному дощатому трапу архангельской трубой отзывался в душах, достигал дальних закоулков, но нельзя сказать, чтобы сама она об этом не знала, не чувствовала. Едва только брякнул за ней засов проходной, тревожный холодок пронизал Анюту Никодимову, она очутилась в поле высокого напряжения — окружённая таинственным свечением, шла, точно голая, и в самом деле была голой под своей шубкой, кофтой, юбкой и толстыми вязаными чулками, и... и что там было ещё на ней; шла под взглядами мужчин, охваченная страхом и непонятным вожделением, мелко шагая, боясь поскользнуться, неся грудь, подрагивая бёдрами, шла, как по тонкому льду.

Была оттепель.

Вслед за Никодимовой, немного погодя явился другой балладный персонаж: вышел из проходной и зашагал по трапу оперуполномоченный, иначе кум, Василий Сидорович Щаюк. И это тоже было каждодневным событием в жизни лагерных обитателей; но знаки переменились; высоковольтное электрическое поле уполномоченного искрило; лица в окнах исчезли, всё свернулось и спряталось.

Опер, в фуражке с голубым околышем, в такой же, как у капитана, как у высших оперативных чинов в Главном управлении лагеря, как у самого Железного Феликса, длинной, путающейся в ногах шинели, маршировал, стуча подковками сапог, и, как всегда при входе в жилую зону, старался приноровиться к своему образу, для которого одиночество, тайна, стук и поскрипывание блестящих сапог, прищуренный взгляд и загадочное посвистывание были так же необходимы, как покачивание бёдрами и особый трусящий шаг для Анюты Никодимовой.

Кум Щаюк происходил из Белгородской области, его дед, отец и остальная родня были раскулачены, вывезены и никогда больше не возвращались. Василёк спасся, ночевал на вокзалах, подворовывал, подался в ремесленное училище, но сбежал и оттуда, поступил на милицейские мотоциклетные курсы, позже был направлен на двухгодичные курсы оперативных работников. И уже после курсов попал в почтовый ящик, на головную станцию, единственную обозначенную на географических картах, в таёжных дебрях и верховьях северо-восточных рек.

Сей ящик, невидимый, как дредноут в игре «морской бой», состоял из Главного управления, комендантского лагпункта, собственной железной дороги, трёх лаготделений, примерно полусотни лагпунктов и подкомандировок, где тянули срок семьдесят или восемьдесят тысяч обитателей; а также из лесов, болот, заброшенных лесоскладов, ледяных речек и забытых в тайге деревушек, умирающих вот уже которое столетие; размеры его владений были в точности неизвестны, ящик медленно расползлся по раскольничьей тайге, оставляя насыпи заброшенных узкоколеек, гниющие штабеля невывезенного леса, полуповаленные куртины, кладбища пней и поля черного праха. Постепенно Василий Сидорович Щаюк пообтёрся. Он был глуп и туп, однако развил в себе нюх и за шесть лет работы дослужился от младшего лейтенанта до лейтенанта. На крайний северный лагпункт попал почти в одно время с капитаном. По натуре был мягкий человек и считал, что никому не желает зла.

Уполномоченный сидел за столом в своём кабинете с двойной дверью и вторым выходом, посвистывал, вполго-

лоса напевал «За Сибіром сонце всходить», сладко зевал, не мог заставить себя приняться за дело; тут поскреблись в дверь, кум поднял голову. Вошла Анята Никодимова в голубом по-весеннему платье с цветочками и даже каким-то бантиком на груди, с бумагой для подписи и подачи князю. Кум, не вставая, потянулся к бантику, она отвернулась отцепить булавку; несколько времени продолжалась балетная сцена, Анята отбежала к окну; тихонько хрустнул ключ в замочной скважине; кум ухмыльнулся, потянулся к ней, тишину нарушил смешок, «ну уж нет», — мякнула женщина, с видимой неохотой водрузилась на колени к Василию Сидоровичу; этого, однако, было недостаточно; она стала сползать, оперлась локтями о стол, накренилась, расставила ноги; кум поднялся; тут, между прочим, оказалось — как и ожидалось, — что под голубым с цветочками платьем ничего нет.

### *Баба Листратиха, северная Астарта*

В тот же час или около того пробудилась и гражданка Елистратова, коей вошедшее в историю имя было Листратиха. Баба Листратиха проживала в деревне, на землях лагерного княжества: то было полтора десятка изб, скособоченных, почернелых, с острыми углами крыш; когда и кто их срубил, забылось. Так как никакого княжества официально не существовало, то и деревни вроде бы не должно было быть, — это с одной стороны. С другой, были, как и повсюду в нашем отечестве, район, райком, райсовет, сельсовет, был колхоз, всё это обреталось, как минимум, в бумагах областного начальства, сидевшего где-то далеко за лесами. Выходила областная газета, где освещались успехи сельского хозяйства; впрочем, о почтовом ящике ничего не говорилось: для местного начальства это был некий фантом. Для лагерного же начальства область с её районами в свою очередь, представляла нечто абстрактное. Обширное княжество под завесой тайны и неизвестности распространяло вокруг себя дух небытия, и не будет преувеличением предположить, что мы имели дело с единым и неделимым царством

тений. Баба Листратиха, однако, не была призраком. Думаю, что я, продолжая этот рассказ, не был неправ, уподобив Листратиху древневосточной богине любви и зачатия.

Сейчас уже не припомнишь, сколько было ей лет или веков, она, как положено небожителям, обрела себя в мифическом времени; но в земной действительности успела перешагнуть возраст, именуемый в народе бабьим веком и о котором говорят: баба ягодка опять; не молодая, но и не старая, широкобёдрая, с большой мягкой грудью и мягким животом, с тёмным румянцем на круглом лице, пахнувшая молоком, лесом, влажным влагалищем. У неё были дети, неизвестно от кого, иные выросли и пропали куда-то, и была старая сморщенная бабуся, мастерица вязать на спицах, при случае помогавшая избавиться от беременности.

Вместе с другими Елистратова ходила на подсочку в леспромхоз, на вырученные рубли закупала в сельпо по пять, по десять бутылок. Ближе к вечеру по лесной тропе, в платке и зипуне, неутомимо, неспешно, короткими мерными шагами в рыжих лагерных валенках брела с кошёлкой к посёлку вольнонаёмных, усаживалась отдохнуть на виду. Разопревшая от долгой ходьбы, сбрасывала платок, причёсывалась гнутым гребнем. За день весь одеколон, поступавший в магазин вольнонаёмных, раскупался; и уже совсем в темноте, когда на дверях висела железная перекладина с замком, подходили по одиночке солдаты дивизиона. Баба Листратиха промышляла зелёным змием, служала ещё кое-чем. Служала не из корысти, а скорее ради наслаждения, более же всего по доброте и щедрости, из жалости к молодым, стриженным наголо ребятам, которым так же, как заключённым, приходилось вставать ни свет ни заря, хлебать баланду в солдатской столовой, под дождём и снегом, с автоматами поперёк груди, спешить по шпалам узкоколейки следом за колонной работяг, мёрзнуть на вышках оцепления, греться у костров. Бывало и так, что воины, по-двое, по-трое, глубокой ночью, с риском, налетев на патруль, загреметь на губу-гауптвахту, пробирались в деревню к Листратихе, в её тёмную избу, в тёплую материнскую глубь. Десять вёрст туда, десять обратно.

## *Бегство на юг. Начало следствия*

Такова — в общем и целом — была экспозиция. Рабочий день начался, но день-то был необычный. Около десяти часов местного времени в кабинет к оперуполномоченному постучался дневальный, позвать к начальнику лагпункта. Кум Щаюк одёрнул гимнастёрку, прошагал по коридору конторы, вошёл в комнатку секретарши. Не взглянув на Анюту, скрылся за дверью капитанского кабинета.

Оперативный уполномоченный согласился с предложением князя-начальника пока что не поднимать шума. Для лейтенанта Щаюка случившееся на вахте было, с одной стороны, как и для капитана Ничволоды, неизвестно чем грозящей неприятностью, а с другой — шансом. Заметим, что следствию очень бы помогло, если бы оба, капитан и Щаюк, были знакомы с восточной мифологией, а также с Писанием, — мы имеем в виду процитированную выше Песнь Песней. Но они, конечно, ничего такого не знали.

Дознание было начато, как положено, с допроса свидетелей. К лейтенанту в зону потащились один за другим отсыпавшийся после дежурства второй вахтёр и солдат-азербайджанец, простоявший в тулупе всю ночь на вышке над вахтой.

Первой мыслью и рабочим предположением был побег, точнее, дезертирство. Странноватая мысль: побег, больше принадлежавшие лагерному фольклору, чем действительности, подобали заключённым, а не надзорсоставу; но, положи руку на сердце, у кого в наших краях не нашлось бы основания рвать когти куда подальше? Сколь богат язык, доставшийся нам от отцов! Сколь обширен ассортимент речений, синонимичных глаголу бежать. От вахтёра уполномоченный узнал и занёс в протокол то же или почти то, что услышал утром князь. Выяснилось, однако, что факт отсутствия Карнаухова был установлен вторым дежурным, лишь когда он встал и вышел наружу, по его выражению, «посать»; следовательно, дрыхнул и не слышал, когда напарник покинул свой пост. Слышал ли свидетель от первого дежурного высказывания антисоветского характера, в смысле то-



го, что-де надоело и пора кончать, и что хорошо бы куда-нибудь податься, к примеру, на юг? Нет, не слышал, хотя... Хотя что? Кому неохота в тёплые края, пояснил допрашиваемый. Не было ли у Карнаухова бабы в деревне, из тех, что шляются вокруг лагпункта, промышляют водкой и трахаются с солдатами? Ты-то сам, небрежно спросил уполномоченный, небось тоже?.. И неизвестно было, шутит он или всерьёз. Не могу знать, испуганно сказал надзиратель. Уполномоченный посвистывал, скрипел пером. Можете идти, промолвил он, не поднимая головы.

От попки, то есть стрелка на вышке, вовсе ничего прибавить к дознанию не удалось, черножопый по-русски еле ворочал языком. К тому же он, видимо, испугался, поняв, что кто-то сбежал из зоны и придётся отвечать. Видел ли он, как сержант Карнаухов вышел из помещения? Солдат помотал головой. Куда направился Карнаухов? Солдат понял, что его берут на пушку. Потом оказалось, что он всё же таки видел, как надзиратель с крыльца справлял нужду. Кто именно, который из двух? Тут свидетель совершенно потерялся и, даже если понял вопрос, притворился, что не понимает.

### *Прошёл один день. Продолжение.*

#### *Письма заочной любви*

Назавтра (пропавший так и не объявился) вахтёра вновь потянули к оперу: для проверки вчерашних показаний. Был задан тот же вопрос, выходил ли он сам ночью из помещения. Надзиратель, почуяв ловушку, признался снова, что выходил. С какой целью? Ни с какой; поссать. В каком часу? Не успел он ответить, как кум спросил, словно ударил под дых: кому Карнаухов звонил по телефону? Кум не спрашивал, звонил ли вообще старший дежурный кому-нибудь по телефону: был применён профессиональный приём разведчика — задавать следующий вопрос, не задав предыдущего, с целью огорошить свидетеля догадкой, что следствию всё известно и хотят лишь протупать. Как будто опер уже знал, что старший дежурный с кем-то там догово-

ривался. На самом деле кум ничего не знал, но вахтёр не знал, что кум не знает. С ужасом вахтёр почувствовал, что подозревают его самого. В чём? Уж не в сговоре ли со сбежавшим?

«Звонил, — пролепетал вахтёр, — на электростанцию».

«Ага, — крикнул Щаюк, — о чём же они говорили?»

Свидетель показал, что Карнаухов ругался. Кольцо то и дело тускнело. Кольцом называлось (как мы уже знаем) наружное освещение зоны: цепь лампочек над тремя рядами колючей проволоки поверх высокого тына плюс фонари через каждые десять метров. С угловых вышек вдоль забора бьют прожектора.

«Почему тускнело?»

Свидетелю было велено ждать (закуток рядом с кабинетом, дверь выходит на заднее крыльцо), дневального послали за механиком. Личный дневальный оперуполномоченного, аккуратный ладный мужичок лет пятидесяти, исполнял различные обязанности, среди которых уборка и мытьё пола в кабинете — не самые главные. Поганенький старик, само собой, однако есть разница между вульгарным стукачом, каких немало, и доверенным осведомителем. Дневальный много знал, всё видел и умел держать язык за зубами; мрачное мистическое сияние, окружавшее оперуполномоченного, отражалось на нём, как безжизненная планета отражает свет Солнца.

Таинственная тень кума взошла на крыльцо барака, из холодного тамбура свернула в секцию АТП, то есть административно-технического персонала, — койки вместо вагонных нар, — и велела тамошнему дневалюге растолкать механика, спавшего после ночной смены. И тотчас, едва только оба вышли из барака, понеслось по зоне: механика потянули в хитрый домик. Ибо явление верного мужичка-дневального никогда не бывало случайным.

В кабинете уполномоченный сидел над бумагами. Перелистывание дел в папках с грифом ХВ, что, как известно, значит «хранить вечно», иначе «Христос воскрес», было главной частью его работы, а на допросах — особым следовательским приёмом. Подследственный должен был по-

нять, что листают его грозящее многочисленными бедами дело. Под бумагами, однако, лежало письмо. От той, с которой Василий Сидорович романтически переписывался. В письмах он выдавал себя за инженера на большой стройке, вероятно, оборонной, отсюда следовало, что он не может сообщать подробности. Он надорвал конверт и погрузился в разглядыванье фотокарточки: милое курносое лицо. Она была в летнем платье с короткими рукавчиками-фонариками и глубоким вырезом, из которого выглядывала складка груди. Самое привлекательное в ней было то, что она жила на юге, а он всегда мечтал уехать на юг. Она даже намекала, что могла бы, раз он так занят, приехать повидаться. Из прежних писем Щаюк узнал, что она окончила педагогический техникум и «не занята». Выражение, означавшее, что у неё нет ни мужа, ни ухажёра. Он собирался ответить, что у него тоже никого нет, но приехать к нему пока что невозможно; хотел написать, что по вечерам, усталый после руководящей работы на стройке, курит и думает о ней.

Сзади на обороте фото была дарственная надпись и стихотворение поэта Эдуарда Асадова: «Пусть ты песня в чужой судьбе, и не встречу тебя, наверно. Все равно эти строки тебе от той, которая любит верно». Василий Сидорович перевернул снимок, снова увидел круглое лицо и серёжки в ушах, привлекательную складку в вырезе платья и попробовал представить, как она выглядит вся.

### *Перекрёстный допрос*

Уполномоченный поднял голову. Шапка в руке, телогрейка в лоснящихся пятнах, сумрачный темно-серый лик византийского святителя, — механик весь пропитался машинным маслом.

Механик был изменником Родины, в самом начале войны, под Оршей, дивизия в полном составе попала в окружение. В числе немногих он выжил, вернулся из немецкого лагеря военнопленных, работал по специальности на заводе, в августе 45-го, по примеру других, подделал докумен-

ты, чтобы не подпасть под репатриацию; был разоблачён и отправлен на приемопередаточный пункт Бебра-Эйзенах, а оттуда этапом на родину.

Первый вопрос кума был: все работают, а механик спит в зоне, это как надо понимать? После смены, мрачно сказал механик. Он соображал, что вопрос задан с понтом, чтобы ослабить бдительность, а заодно намекнуть, какое у него тёпленькое местечко. Такого места можно враз и лишиться, и вообще, бесконвойный со статьёй 58-1, пункт «б», — нарушение режима. Механик знал, что все слова кума — ложь, все вопросы задаются с единственной целью заманить в ловушку, что этому зверью нельзя протягивать мизинец — откусит всю руку. Кроме того, знал, что он незаменимый специалист и чинил проводку в квартире самого князя; и кум это знал.

«Так, — сказал Щаюк, — значит, был в ночной смене, почему плохо работаете?»

«Работаем», — возразил механик.

«А вот есть сигнал, что кольцо тухнет. Это что, саботаж?»

«Какой такой саботаж; ничего не тухнет».

«А это мы сейчас проверим, — молвил Василий Сидорович и слегка присвистнул. Из каморки, как пёс на зов хозяина, появился свидетель для перекрестного допроса. Подтверждает ли он своё показание о том, что... Вахтёр испуганно закивал. Кум вперил взгляд в механика. Правильно, сказал механик, звонил надзиратель с вахты.

«Который из двух, этот?»

«Нет, — сказал механик, — другой. Голос не такой. Ругался».

«Ага; значит, действительно потухло».

«Да не потухло, — сказал с досадой механик, — если бы потухло, тут такой бы кипеш поднялся. Просто дрова сырые, одна ёлка. Кочегар подтвердит».

Таким образом, было установлено, первое, что старший дежурный покинул вахту после разговора по телефону с электростанцией, и второе, вёл разговор по телефону в присутствии младшего надзирателя с целью замаскировать ис-

тинную причину. Лейтенант Щаюк велел подписаться под протоколом, механик побрёл назад в секцию, а кум отправился к капитану.

Он застал у князя секретаршу. Слово «секретарь» одного корня со словом «секретный». Никодимова была не так глупа, как могло показаться, у неё была своя версия пропажи Карнаухова: запил с какой-нибудь бабой из местных, понял, что совершил дезертирство, и теперь скрывается. Капитан Ничволода ничего не сказал. Капитан, как всегда, был нетрезв, но и не пьян. Кум Щаюк вошёл в кабинет в тот момент, когда Анята, прижимая для виду к груди пустую картонную папку, стояла рядом со стулом начальника. Повела плечиком и не торопясь покинула кабинет.

Капитан Ничволода, с одной стороны, побаивался кума, да и согласно субординации, оперуполномоченный не подчиняется начальнику лагпункта. Отвечать, в общем-то, придётся капитану, и многое зависит от того, что доложит оперуполномоченный в Оперотдел Главного управления. Но с другой стороны, ни куму, ни князю не хотелось портить отношений; случалось, и выпивали вместе; подозревалось, что оба мнут секретаршу. Щаюк хотел обсудить с капитаном дело по-свойски, прежде чем давать делу ход. Главное, избежать осложнений свыше. Чего доброго, нагрянет комиссия из управления.

...Скрывается, но не здесь, не в округе: вполне можно было себе представить, что, выбрав удобный момент, всё обдумав заранее, надзиратель, которому всё остоебло, пешком, никем не замеченный, двинул на станцию лагерной железной дороги. До комендантского километров двести, там какая-нибудь баба приготовила штатскую одежду, и сиганули вдвоём на юг. Как математик предпочитает наиболее простое решение задачи, так и уполномоченный принял наименее хлопотное и самое правдоподобное решение.

Загадка прояснилась. Как показало следствие, сержант Карнаухов дезертировал и в настоящее время находится в бегах; подать рапорт в Главное управление, там объявят всесоюзный розыск.

«Добре», — сказал капитан.

## Оракул. Запахло мистикой

Между тем у князя имелся на крайний случай собственный метод расследования. Наутро, это был уже третий день, князь дал команду, на разводе выдернули из бригады учётика, грека из Балаклавы, тянувшего срок за национальное происхождение.

Приведённый нарядчиком, экзотический и огненноглазый, продолговатый и тощий мужик в бушлате самого большого размера и вислосадых ватных штанах сдёрнул со стриженной под ноль головы то, что когда-то было шапкой.

«Мм-да», — пробормотал капитан Ничволода, оглядев длинного мужика сверху вниз, от лилового черепа до косматых, раструбом книзу валенок «б/у», то есть бывших в употреблении. Князь и сам был, если можно так выразиться, б/у.

«Зачем позвали, знаешь?»

Грек моргал чёрными, как антрацит, глазами, помотал головой.

«А?» — громыхнул капитан.

«Там ошибка, — сказал мужик, показывая на формуляр, лежавший на столе перед князем. — Мы не греки».

«А кто ж вы такие?»

«Мы вавилонцы».

«Чего?» — сощурился князь.

«Вавилон. Было такое царство».

«Угу. И куды ж оно делось?»

Айсор развёл руками, взвёл очи горé.

«Ладно, один хер. Говорю, слышали о тебе, о твоих талантах».

Тощий мужик безмолвствовал.

«Чего молчишь?»

«Гр'ын начальник... я что, я ничего...»

«А вот надо, чтобы было чего!»

Халдей решил, что готовится расправа за его искусство; но почуял и другое: в нём нуждаются; проглотил воздух, переступил валенками.

«Вот так», — сказал наставительно капитан.

На всякий случай мужик проговорил:

«Если надо...»

«Надо! — громыхнул капитан. — Едрить твою».

Халдей приободрился:

«Можем попробовать».

Капитан сменил гнев на милость.

«Добре. А ты (присутствующему нарядчику) иди, работай...»

Нарядчик и так знал, в чём дело. Капитан вызвал Никодимову.

«Сочини ему расписку о неразглашении, пуцай подпишет...» Анюта удалилась.

Было дано лаконичное разъяснение: дескать, то-то и то-то. Халдей ел глазами начальство.

«Пропал, едри его, — добавил капитан. — Ушёл, и с концами. Задача ясна? Куды он делся. Давай: одна нога здесь, другая там».

Учётчик отправился в барак, но не в секцию, а в сушилку, где было тепло и стоял запах как бы поджаренных чёрных сухарей. Сушительщик, обитавший в отдельной каморке, был его соотечественник, по-лагерному «земёля». Поговорили оба на своём наречии.

Халдей стоял перед капитаном, ожидая дальнейших распоряжений; капитан кивнул. Айсор извлёк нечто из глубокого кармана в подкладке бушлата. Это что ж такое, спросил начальник. Айсор объяснил, что карты не игральные. Древние карты, сказал гадатель. Освободили место на столе, капитан Ничволода с любопытством разглядывал солнце с лицом старика, бабу с грудями и рыбьим хвостом, месяц с крючковатым носом, двух сросшихся пацанов, змею с крыльями, похожими на плавники. Гадатель объяснил: вот зелёные жезлы, вот голубые мечи, и так далее. Бог Набу, сын Мардука, сочинитель таблицы судеб, просветил прорицателя. Прошептал что-то, поцеловал карты.

«Ну что там, чего-нибудь видишь?»

Айсор не то кивнул, не то покачал головой, хранил безмолвие.

«Давай, рожай».

«Вот, — сказал айсор и указал на красную масть. — Огонь».

«Чего?»

«Вижу. Огонь вижу», — повторил айсор.

«И всё?»

«Всё», — ответил гадатель, как будто хотел сказать: разве этого недостаточно?

«И больше ничего?»

Гадатель устремил загадочный взгляд в пустоту, развёл руками.

«Та-ак», — грозно сказал князь и уселся, предварительно согнав мужика со стула. Айсор поспешно собирал карты. — «Вот мудак, так уж мудак, — задумчиво проговорил капитан. — Предсказатель сраный... Вали отсюда!»

Он вызвал Анюту:

«Гони этого армяшку».

И опять-таки поступил опрометчиво.

*Жизнь как судьба. Обмен мнениями  
между мнимым беглецом и механиком.*

*Семязвержение ненависти.*

*И снова снег*

Как объяснить, почему люди жили так, а не по-другому, и всё делали для того, чтобы навредить самим себе? Существовало нечто мудро-безрассудное, нечто всеильное превыше начальств и властей, и это безымянное Нечто, против которого не попрёшь, с которым ничего не поделаешь, называлось коротким словом: жизнь. Такая, стало быть, жизнь. Отдав должное проницательности оперуполномоченного, следует всё же заметить, что не стоило особо напрягать ум, подозревать сложный проект дезертирства, бегства на тёплый юг или что-нибудь такое, а нужно было взять за жопу (без этих речений здесь, увы, не обойтись) секретаршу. Любопытно, что бабий нюх Анны Никодимовой в какой-то мере почуял, откуда дует ветер.

«Бригада аля-улю, — рывкнул, входя в сарай, сержант Карнаухов. — В бур захотели?»



Аля-улю означало всё кроме ударной бригады, а бур, то есть барак усиленного режима, — подсобную тюрьму в зоне.

Механик, с гаечным ключом в руке для виду, — дескать, работаем, стараемся, — показался из-за потного лязгающего агрегата, загрозоздившего высокий сарай электростанции.

«Дрова завезли совсем сырые, гр'ын начальник!» — кричал, стараясь перекрыть грохот, механик.

Перед открытой топкой полуголый, оранжевый, лоснящийся потом кочегар в тряпичных рукавицах висел на длинной кочерге, ворочал полутораметровые чурки, рассыпая искры. На часах под двускатным потолком было без пяти три, время, приблизительно совпавшее с показаниями второго дежурного на вахте.

Сержант заглянул за агрегат.

«Так, — сказал удовлетворённо. — Ага-а! А это кто такая?»

Женщина на топчане, — для двоих мало места, разве только друг на друге, — восседала, расставив ноги, без платка, без телогрейки, в старой вязаной кофте, юбке и валенках; от сидения живот у бабы Листратихи выступил вперёд, и широкие бёдра под юбкой казались ещё просторней. Открыв рот, круглыми блестящими глазами она уставилась на дежурного.

Кочегар захлопнул круглую дверцу топки, стоял, опираясь на кочергу. В это время раскрылись низкие воротца, дровокол — это был я, певец и летописец этих времён, как легко догадаться, вернувшийся из больницы на родной лагпункт, — вкатил по рельсам тележку, груженую дровами.

Сзади машина-Молох не так шумит.

«Ну чего ругаешься, начальник, — фамильярно сказал механик. — Кто такая... Погреться зашла».

Карнаухов рычал, что завтра же подаст рапорт.

Усмехнувшись, механик спросил:

«Может, самому охота? Мы отойдём».

Сержант стоял, приняв величественный вид, в форменной шапке, в тряпичных погонах на травянисто-зелёном бушлате. Жизнь его, «такая жизнь», с недавних пор обрела, наконец, устойчивость. Два слова о Карнаухове. Его отец был убит на войне. Четырнадцать лет, в школе-семилетке, в го-

родке, где мать работала в конторе «Заготзерно», Карнаухов будто бы участвовал в коллективном изнасиловании девочки из параллельного класса. Суд установил, что он сам ничего не сделал, отпустили на поруки, но едва лишь он вышел из помещения райсуда, как был жестоко избит компанией во главе с братом девочки. Месяц провалялся в больнице, жизнь в городишке стала невыносимой, переехали на Алтай; и дальше его носило с места на место, покуда, отбыв службу в армии, в звании сержанта, Карнаухов не очутился в наших краях, где и сделался сам властью, постиг сладость власти. И теперь устами Карнаухова говорила она, сама власть

Предложение попользоваться женщиной, по всему судя, особенно задело сержанта. «А ну, повтори, — сказал он, прищурившись, — повтори, что ты сказал... Самому охота... Я тебе покажу охоту, сволочь недорезанная, фашист...» Ничего не ответил темноликий, как икона, механик, лишь устремил влюблённый взгляд на сержанта.

«Завтра будете разговаривать в другом месте...» — пригрозил Карнаухов, не подозревая о том, что никакого завтра для него уже не существовало. По-прежнему величественный, он оглядел свысока всех, шагнул было к выходу. «Погодь, начальник... — ласково сказал механик. — Мы тебя любим, может, мы, того, по-хорошему?..»

«Ты это брось!» — строго сказал Карнаухов, и сперва было непонятно, имел ли он в виду раболопный тон механика или инструмент в его руке. «Ты чего это, ты чего. Да я пошутил...» — бормотал сержант, пятясь, и почти произвольно схватился сзади за кобуру.

«Чего, бля ничего, — проскрипел механик. — Пошутил, да?..»

Бывают такие мгновения, начиная с которых люди уже не распоряжаются собой, всем правит и за всё отвечает жизнь. Скажут: судьба! Ибо судьба, античная Ананке, не правда ли, — синоним жизни. Сержант Карнаухов лежал на цементном полу с изумлёнными стеклянными глазами, шапка со звёздочкой валялась рядом, из проломленного виска толчками лилась кровь. Баба Елистратова всё так же сидела на топчане, оцепенелая, зажав ладонью отверстый

рот. Механик швырнул на пол тяжёлый гаечный ключ. Кочегар стоял, как каменный, держа, словно копьё, кочергу. Ночь приблизилась к половине, снаружи начался снегопад.

### *В пещи огненной. Вознесение Карнаухова*

Тихий, покойный снег кружился в чёрном небе, опускался на посёлок, пожарное депо, магазин, казарму, на огни и вышки зоны, на электростанцию, откуда доносился глухой непрерывный рокот. Снег покрыл леса, круглолежневые дороги, кладбища пней и весь лагерный край, о котором никто точно не знал, где его границы.

«Чего стоишь, ебёна мать. Давай шуруй!» — сказал, точно рыгнул, механик, и кочегар отвернул засов железной дверцы, принялся заталкивать в топку дрова.

Женщине: «А ты вали отсюда. Только чтобы ни-ни! А то самой придётся отвечать. Тебя здесь не было, поняла? Ничего не видела, ничего не знаешь. Поняла?»

Листратиха усердно кивала, не отнимая руки от рта.

«Вот так здорово, не было печали, — задумчиво промолвил механик. — Чего ж мы с ним делать-то будем?»

Воцарилось безмолвие. Дровокол сосредоточенно моргал, стоял перед своей тележкой. Кочегар, жилистый мужик с длинными ручищами и военно-морскими наколками на плечах, ждал перед закрытой топкой.

«Чего сидишь-то? — продолжал механик. — Подотри. И чтоб духу твоего здесь не было...»

Баба Листратиха сползла, наконец, с топчана. Что-то промелькнуло в её глазах. «Туды его», — произнесла она неожиданно спокойно. И показала глазами.

Ответом всё ещё было молчание, лишь один механик вопросительно взглянул на неё. Спихотившись, Листратиха подоткнула юбку, нашла масляную тряпку. Опустившись на колени, оперлась ладонью о цементный пол, где уже засыхала лужа. Тем временем механик зачерпывал короткой кистью из ведра солидол, размазывал по лицу и одежде трупа. Вдвоём с дровоколом подтащили сержанта к бушующему

агрегату. Кочегар предложил распилить. Так войдёт, отвечал механик. «Длинный, ети его...» — с сомнением проговорил механик.

Он обернулся снова на Листратиху, подавшую совет, по-прежнему невозмутимо елозившую тряпкой.

«А это куда?»

«Пригодится». Механик взвесил пистолет на ладони и сунул в карман. Пустую кобуру вместе с жирной тряпкой — в топку.

Кочегар надавил кочергой, длинные полуобгорелые дрова выставились из топки, поехали на пол.

«Легче, ты!» — загремел механик. Кашляя от дыма, кочегар вытягивал руками в рукавицах обугленные чурки. Голова и плечи Карнаухова исчезли в огненной гробнице. «Шапка!» — крикнул механик. Туда же и шапку. Уже пылал зелёный бушлат. Механик, отворачиваясь от жара, швырял в огонь пригоршни мазута, поглядывал на манометр. «Твой рот — ебал! Тухнет! Кольцо! — вскричал он. — Сейчас прибегут!»

Вперёд, вперёд, туда, сюда, — ничего не получалось; кочегар пытался вытянуть кочергу, застрявшую в топке. В пламенном чреве Карнаухов горел и превращался в чёрный светящийся остов, длинные ноги в кирзовых сапогах торчали наружу.

«Чего делать будем?»

«Чего... ничего».

«Отпилить их», — подал голос дровокол.

«Яйца себе отпили. Давай!» В багровых отблесках, кряхтя, с благоговейным матом, нажали. Наконец, удалось захлопнуть дверцу, кочегар лягнул задвижкой. Лицо его скосоротилось, сморщилось от тяжкого смрада, казалось, кочегара сейчас вырвет. Механик пробормотал, тяжело дыша:

«Теперь светлее будет...»

Оба имели в виду кольцо вокруг зоны. Снаружи над сараем, где помещалась электростанция, высокая железная труба на проволочных растяжках изрыгнула густой белый дым, на столбе горела тусклая лампочка. Площад-

ку, усыпанную опилками, запорошило снегом, стояли козлы, валялся длинный, как алебарда, колун. Дровокол прыскал из канистры с бензином механику на измазанные солидолом ладони. В чёрном небе, куда вознёсся сержант Карнаухов, не видно было звёзд; стояла, как уже говорилось, оттепель.

Дровокол развалил колуном мёрзлый штабель, взвалил баланы на козлы, волоча кабель, подтащил электропилу «Вакопп». Дрова были плохие, еловые, придавил их ногой. Пила застрекотала, как пулемёт.

### *Куда струится время? Эпилог*

Вопрос, на который так же непросто ответить, как решить, глядя на гладь реки, в какую сторону влекутся воды, текут ли они вообще куда-нибудь. Никуда оно не струится.

Сколько лет прошло с тех пор? Что стало со всеми?

Кочегар подпал под амнистию пятьдесят пятого года и умер на воле. Дровокол был ещё жив, когда спустя некоторое время был вызван как малосрочник на комиссию по условно-досрочному освобождению, произошло это через два года после того, как до наших мест дошло невероятное и неправдоподобное известие, будто окошел Великий Ус. Дровоколу выдали справку об освобождении с грифом «Видом на жительство не является», запрещением прописки в областных городах и разными сведениями для будущего волчьего билета. Дровокол несколько лет подряд, чуть ли не каждую ночь, видел сны, один из которых — предлагаемая поэма.

Но на самом деле, куда девался Ус, неизвестно никому. Первое время отлеживался в мавзолее; потом выгнали: выяснилось, что не умер, а усоп на время летаргическим сном. Говорят, живёт где-то.

Листратиха, таёжная Астарта, скончалась после того, как была обработана, в который раз, бабусей, и всю долгую дорогу, сорок вёрст, истекала кровью; привезена в больницу бездыханной. Князь, начальник лагпункта, допился до белой горячки, однажды увидел у себя в кабинете, на полу и подоконнике, мелких зверей, не то мышей, не то насеко-

мых; нечисть лезла из углов, из-под двери, царапалась в окно и соскальзывала со стёкол; капитан стащил с ног сапоги, хотел гнать вон, сидел на столе, стуча зубами от озноба, в комнату вбежала Анята Никодимова. Что произошло дальше, не ведаем.

Судьба айсора-гадателя была удивительной: удалось узнать, что, отбив срок, он вернулся в Балаклаву, нанялся под чужим именем на торговое судно матросом, добрался до Ашшура, пал ниц перед каменным идолом своего бога, благодаря чудесному дару пошёл в гору, к концу жизни, происходило это уже в другом веке, сделался придворным звездочётом царя Ашшурбанипала.

Кум Щаяк получил третью звёздочку на погоны. Дело о неразысканном сержанте, однако, продолжало тлеть, из Оперотдела сыпались запросы, приезжала комиссия. Щаяк подал на увольнение и двинул на юг. Там ждала заочная невеста, но, кажется, не склеилось. Года через два кто-то встретил Василия Сидоровича в рабочем посёлке на Урале; бывший уполномоченный работал завклубом. Ему удалось списаться с известным поэтом, инвалидом Отечественной войны Эдуардом Асадовым, поэт выступал в клубе на обратном пути из Челябинска, было много народу.

О механике известно, что на том свете он вернулся в лагерь, встретил старого знакомого, сержанта Карнаухова. Бывший сержант получил червонец за самовольное оставление поста и дезертирство из мест заключения. Ночью на нарах резались стирками, то есть самодельными картами, в стос, Карнаухову не везло: проиграл френчик, шкары, валенки б/у, свою прожжённую у костров телогрейку и пайку на десять дней вперёд. И уже ничего не было жалко, игра пошла по-крупному, проиграл место на нарах, потом секцию, барак со всеми обитателями, под утро, перед самым разводом, проиграл всю потустороннюю зону с вахтой, конторой, столовой, хлеборезкой, с бараками и буром, с попками на вышках, с нарядчиком, с помпобытом, с опером, секретаршей и покойным начальником лагпункта капитаном Ничволодой.

Князем слава и дружине! Аминь.

## ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Сказано: *Ars longa, vita brevis*. Искусство — дело долгое, а жизнь наша коротка. Век только что закончился, мы, его свидетели, слишком близоруки, чтобы его обозреть. Над нашими суждениями будут посмеиваться. Нужно, чтобы пришли другие поколения; нужна дистанция.

Но мы последние, кто жил в этом веке, кто видел своими глазами то, чего никто уже не увидит. Мы — те, кто выжил, кого не убила война, кто не умер от голода, не погиб под развалинами городов, кого не расстреляли, не забросали глиной на лагерных полях захоронения, не сожгли в печах Освенцима и Дахау.

Я никогда не понимал людей, которые заявляли, что они жили со своим народом, славили величие нашего времени, гордились тем, что шагают с ним в ногу, утверждали, что живут «в истории»; я не понимаю, как можно жить в такой истории. Литература противостоит истории. Литература дискредитирует историю. Но этот злой демиург, *le mauvais démiurge* Чорана, дискредитировал сам себя. Я хотел бы, как Стивен Дедалус, очнуться от кошмара истории. Легко сказать...

Учит ли она чему-нибудь? Что такое прошлое? Мы жили в царстве абсурда. Это была чудовищная эпоха. Явились концентрационные лагеря. Явилось тоталитарное государство. Народились «массы», для которых вездесущая пропаганда, оснащённая новейшей техникой массовой дезинформации и технологией всеобщего оглушения, заменила религиозную веру. Расцвёл культ ублюдочных вождей. Почувствовалось повсеместное присутствие тайной полиции. Мало было одной мировой войны, разразилась вторая. Ничего подобного никогда не бывало. Апокалиптические разрушения, астрономические цифры жертв. Можно было в считанные минуты уничтожить с воздуха целый город, плоды труда и гения многих поколений. Можно было истребить с помощью специально сконструированных газовых камер шесть миллионов мужчин, женщин, детей и стариков. Во имя чего?

Девятнадцатый век был назван веком отчуждения человека от производства, двадцатый принёс отчуждение от истории. Перед лицом истории ты ничто. Ты абсолютно бессилен. Мы все, как муравьи в щелях и трещинах лживой, политизированной, притязающей на статус общеобязательного национального достояния, размалёванной, словно труп в палисандровом гробу, истории.

Это было столетие окончательного посрамления исторического разума. Век ожившего мусульманского средневековья, и гнусных национально-освободительных движений, и демографического взрыва, и экологических катастроф, и термоядерной бомбы.

Век миновал — не время ли подбить итог? Соединить диагоналями события, как соединяют линиями звёзды на карте неба. Собрать по кусочкам эпоху, как скелет ископаемого ящера... Скрепить проволокой фрагменты черепных костей, кусочки рёбер и позвонки. Динозавр стоит на шатких фалангах исполинских конечностей. Но это все ещё муляж; вдохнуть в него живую жизнь могла бы только литература.

Это должен был сделать синтетический роман — не от слова «синтетика», а от слова «синтез». Но он не написан.

Нам твердят, что великие повествования ушли в прошлое. Современный романист, с его фасеточным зрением, не в силах объять эпоху единым всевидящим взором. Эпоха похожа на отбивную, по которой так долго колотили молотком, что она превратилась в дырявый лоскут. Эпос — достояние ушедшей поры, когда герой романа был субъектом истории; сейчас он только её объект. Крушению веры в историю влечёт за собою крах полномочного автора. Таков он, этот писатель — апатрид классического романа.

Нам говорят — он сам себе говорит: литература — надёжное занятие. В громе и мусоре времени, в потоке избыточной информации, среди инфляции текстов такой роман, если и был бы написан, потонул бы, никто бы тебя не услышан. И, однако, он должен быть написан. Роман, который подвёл бы черту под ушедшим столетием и, сохранив дыхание эпоса, одновременно стал бы новой вдохновляю-



щей мифологией. Такой роман сумел бы радикально реабилитировать униженную человеческую личность перед лицом зловещих фантомов — Нации, Державы, Истории.

Что делать литературе, которая в конце концов ничем другим не занята, ничем другим не интересуется, как только личной, тайной, неповторимой, внутренней жизнью человека, что делать литературе, для которой нет великих и малых, и слезинка ребёнка дороже счастья человечества, не говоря уже о том, что и счастье-то оказалось мнимым? Ответ: нести свой крест, как говорит чеховская героиня.

Литература существует ради самой себя, другими словами — ради человека. Литература абсолютна: небеса пусты; человеческая личность — её абсолют. О, эта риторика свободы... Человек не как представитель чего-то, будь то профессия, социальный слой, общество или народ, но в первую голову человек сам по себе, просто человек, хоть он и живёт в своём веке, а иногда и в «своей стране». Хоть и ходит в наручниках, хоть и прикован к государству, которое сочло его своей собственностью. Фет, на вопрос, к какому народу он хотел бы принадлежать, ответил: «Ни к какому».

Если художественная литература несёт какую-то весть, то лишь эту: человек свободен. Он свободен не потому, что он этого хочет (чаще всего не хочет). Но потому, что он так устроен. Такова природа существа, наделённого индивидуальным сознанием. Человек заключён в своей свободе, — пусть же литература напомнит ему об этом. Сопротивляться! Литература есть воплощение человеческого достоинства. В этом её скрытый пафос; в этом, может быть, и её последнее оправдание.

*Мюнхен, август 2008*

**Часть III,  
эпистолярная**

**Избранные письма к друзьям**



## Об эпистолярной прозе

### Вместо предисловия

В XVII веке Мари де Рабютен-Шанталь маркиза де Севинье, чью жизнь с детства и юности омрачали утраты (ранняя смерть матери, отец пал в сражении с англичанами, беспутный муж убит на дуэли), долгими часами одиноко бродила в саду перед своим бретонским замком и, возвращаясь к «скуке кресла», охваченная тоской разлуки с дочерью, создала новый литературный жанр — почтовую прозу. Тысяча сто писем написанных набело почти без черновиков, мысленный разговор с дочерью, графиней Граньян (ответные письма не сохранились), обессмертили маркизу, положив начало традиции, не увядшей поныне. Готфрид Лейбниц оставил 15 тысяч писем, изрядную долю которых составляют философские трактаты. Роман в письмах, «классический, старинный, отменно длинный, длинный, длинный», излюбленный жанр европейской прозы семнадцатого и восемнадцатого столетий, — всё-таки, говоря по-верленовски, — только литература. Личные письма предназначаются для адресата, не ожидающего получить художественное произведение. Гениальное изобретение мадам де Севинье, казалось, заведомо было обречено разделить судьбу традиционного романа в письмах. Ничуть не бывало.

Моё отрочество совпало с войной и эвакуацией. Я мечтал стать писателем. Однажды я получил сложенное треугольником послание из далёкого уральского города от троюродного дяди, он выражал желание затеять со мной литературную переписку. Я с восторгом откликнулся на это предложение; переписка завязалась. Мой корреспондент был удивлён, узнав, что я не оставляю себе черновиков. Неско-

лько лет спустя — война окончилась, и мы вернулись в Москву — я был арестован, крысы в погонах нашли и утащили все письма. Так завершился мой первый опыт переписки на темы, далёкие от бытовой обыденности. Эмиграция в Германию побудила на свой лад последовать примеру незабвенной маркизы. Живя много лет на чужбине, я сочинил и послал друзьям столько писем, сколько не писал прежде за всю жизнь. Часть этой словесности решаюсь предложить читателям.

*Борис Хазанов Мюнхен, 2018*

## К Ольге Петровой<sup>1</sup>

*Мюнхен, 22 апр. 1998*

Дорогая Оля, здравствуй! Какой радостью было получить письмо от тебя. Я помню наши университетские времена во всех подробностях, и вот сейчас всё это всколыхнулось. Буквально полвека прошло с тех пор. Помнишь ли, как мы бродили вдвоём вечерами по городу, и ты читала мне стихи, это было в самом начале учёбы, на первом курсе. Ты читала наизусть Ахматову и Есенина, «Слава тебе, безысходная боль» и «Свищет ветер, серебряный ветер», стихи, которые я тогда слышал впервые. А иногда ты звонила вечером из университета мне домой, и говорила, что тебе скучно. Помнишь ли ты нашу знаменитую балюстраду, возле которой мы околачивались целыми днями? И самый первый день занятий, когда Павел Матвеевич Шендяпин показался мне, да и всем нам, невероятно строгим, даже суровым, и только потом мало-помалу оказалось, что это была добрая и удивительно отзывчивая душа. Мне было 17 лет, теперь 70, — каково? Когда я теперь думаю о временах сразу после войны, о надеждах и ожиданиях, и об этом чувстве, почти уверенности, что будущее уже на пороге и завтра начнётся необыкновенная жизнь, я вижу, как жизнь насмеялась над нами, и не только надо мной, но над всеми нами. То, что потом случилось, было отвратительно, и ещё долгое время спустя на университете стояло для меня чёрное клеймо. Но и это чувство уже давно прошло, и сейчас мне кажется, что это были, может быть, главные годы жизни.

---

<sup>1</sup> Ольга Александровна Петрова, профессор классической филологии Таврического университета.

О тебе я знал только, что ты вышла замуж и уехала куда-то далеко; позже кто-то говорил, что ты живёшь в Симферополе. Моя жизнь тебе, кажется, известна: я не имел права жить в Москве, поступил в Калинин, нынешней Твери, в медицинский институт, накануне последнего курса женился. Думаю, что если бы не моя жена, я давно бы уже врезал дуба. Около 18 лет я был врачом, начал работать ещё студентом, потом врачевал в деревне, потом в Москве, даже защитил диссертацию по медицине, неизвестно зачем. Но медицина сильно изменила мою жизнь и самочувствие. Довольно долго я пытался сидеть на двух стульях, работал в больницах и скрипел пером на досуге, на дежурствах и т.п., впрочем, не пером скрипел, а стучал на машинке; эту машинку у меня отняли при обыске, я сумел её вернуть, потом ко мне снова пришли, потом был устроен взлом квартиры и прочее в этом роде. Тем не менее, как и тогда, в 1949 году, было бы несправедливо утверждать, что я пал невинной жертвой: с точки зрения этих людей и этого государства я был в самом деле преступником. Уехал я с женой и сыном в августе 82 года, даже не столько потому, что мне грозило повторение всего, сколько оттого, что всё — и не только политические обстоятельства — обрыдло до такой степени, что смотреть ни на что не хотелось. Эмиграция в те времена была равносильна физической смерти, но даже если бы можно было повернуть оглобли, я знал, что никогда и ни за что больше в эту страну не вернусь. Хотя я был, между прочим, последним в моём семействе, кто согласился с мыслью о том, что надо рвать когти.

И это тоже прошло. Я был в Москве четыре раза. Видел Яшу и многих наших. Удивительные были встречи — и как жаль, что не было тебя, Оля. Между тем я привык жить в другой стране, привык к Германии и Европе, и в России чувствую себя лишь гостем. Но русский язык не забыл и даже, как ни странно, всё ещё помню — более или менее — латынь (греческий, правда, сильно подзабыл). Как я благодарен судьбе, — вопреки всему, — что она привела меня когда-то на классическое отделение. Между прочим, статейка о Бродском, которую ты вспомнила, первоначально имела

латинский заголовок: *Sub specie corvorum*. Медицина моя осталась в прошлом, теперь уже далёком. Я сочинил за это время много всякой ерунды, которую выдаю за романы, рассказы, этюды и т.д.; кое-что выходило и в нашем отечестве. Я довольно много путешествовал. У меня есть полугодовалый внук в Чикаго, где работают мой сын и его жена (оба врачи), иногда мы приезжаем к ним в гости. Такие дела. Дорогая Оля, напиши мне подробнее, как ты живёшь. Ведь ты часть этого огромного континента памяти. Поклон твоему мужу.

*Мюнхен, 27 июня 1998*

Дорогая Оля, я получил письмо в конверте с красивым гербом, я к геральдике равнодушен, но оказалось, что это не герб Симферополя. Представления мои о Крыме связаны главным образом с двумя-тремя поездками на Южный берег, однажды я пересёк весь полуостров в машине и лишь проезжал мимо Симферополя. Ночевали в Бахчисарае в какой-то гостинице, там находился проездом один пожилой еврей, торговый агент или что-то в этом роде, ночь была лунная, серебряная, голубая, из окна был виден, как в опере, тёмный дворец ханов. Но когда я сказал, что мы хотим завтра осмотреть дворец, человек этот махнул рукой и сказал кисло: «А! барахло». Дворец оказался хоть и не барахлом, но, очевидно, был давно и безнадежно разграблен, зато фонтан был на месте.

Сливовые деревья и здесь у нас попадаются, зато абрикосовых я нигде, кажется, кроме Израиля, не видел. В России я всегда думал, что абрикосовые деревья гораздо выше, а сливовые — наоборот, что-то вроде кустов. Я никогда не ел спаржу и думал, что это такие макароны. Артишоки представлял себе в виде орехов, а немцев — тощими белобрысыми мужиками и некрасивыми женщинами.

Чёрный дрозд, хм... Оба дрозда, чёрный и серый, называются по-немецки, если ты ещё не забыла этот язык, двумя разными словами. Может быть, тебе попадалась новелла Роберта Музиля «Чёрный дрозд», я только здесь по-



нял, почему выбрана именно эта птица. Она прыгает рядом с тобой, когда идёшь вдоль газона, или смотрит на тебя с балкона, и всегда у этого дрозда, в самом деле, чёрного, с жёлтым клювом, такой вид, как будто он тебе собирается рассказать анекдот.

Цезарь — это пёс?

У нас только один раз была собака, которую мы взяли для Илюши. Привезли её от пожилых хозяев, искавших возможность подарить кому-нибудь собаку, так как они уже не могли её содержать. Это был колли, пёс изумительной красоты и аристократического воспитания, очень спокойный, чрезвычайно вежливый, корректный и слегка надменный. Он на свой лад протестовал против переселения: ничего не хотел есть. Равнодушно смотрел на великолепные вещи, которые ему предлагались. В конце концов пришлось везти его обратно. Я сделал говорящую собаку действующим лицом в двух своих романах. В одном это беспризорный пёс, сильно заблатнённый и несчастный. В другом — «коадьютор общества охраны памятников старины», люмпен-интеллигент, старый, пьющий и тоже порядком опустившийся.

Отвечаю на твои вопросы. Вера «Дмитриевна» вместо Иосифовна — это, конечно, оговорка, я эту Веру Иосифовну, которая на вопрос, печатает ли она свои произведения, очень неглупо отвечает: «Зачем? Ведь у нас есть средства», помню хорошо и даже люблю.

С сыном Ильёй мы не переписываемся, а перезваниваемся; несколько раз бывали у них там. Теперь собираемся полететь в Чикаго в сентябре. Внука зовут Яша. (Соседские девочки на улице называют его Джейки.) Яков — имя, удобное для всех языков, с которыми он уже сейчас имеет дело. У него немецкие бабушка и дедушка, ещё одна бабушка, то есть Лора, — русская и еврейский дед, то бишь я. Он родился в Америке, это значит, что он гражданин этой страны. Но одновременно у него будет и германское подданство, как у родителей. К счастью, все эти дела его несколько не интересуют. Он родился в ноябре позапрошлого

года, следовательно, осенью отметит свой двухлетний юбилей. Он ведёт довольно разнообразную и насыщенную жизнь, ездит в детский сад, где проводит время в обществе двух или трёх таких же, как он, головорезов и воспитательницы негритянки по имени Синтия, очень милой женщины, с которой он много раз фотографировался. Вообще фотографий много, и если Сузанне, его мать, останется верна этой страсти снимать его, нам придётся купить трёхстворчатый шкаф для фотоархива. Яша говорит на диалекте, в котором пока невозможно распознать ни один из известных мне языков. По всей видимости, у него будет два родных языка, английский и немецкий, что же касается русского — увы...

Живём мы, конечно, не в особняке и не в коттедже — или как там это называется, — такие вещи бывшим эмигрантам не по зубам, — а в обыкновенной квартире. Какие цветы в этом году посажены? Сказать трудно. Огромный горшок или, вернее, бочка ромашек. Фуксия, кажется. И ещё много разных, но я, к сожалению, забыл, как они называются. Всё это вегетирует частью в сосудах, частью в навесных горшках на балконе, который окружает всё наше жильё, хотя обитаем мы на первом этаже. Вокруг балкона вьётся плющ, за ним кусты, деревья, улица. Огромная липа пахнет так сильно, что я всякий раз вспоминаю детство, наш московский переулок и сад чехословацкого посольства за каменной стеной, где цвели эти самые липы. Бываешь ли ты в Москве? Что ты сейчас делаешь?

Будь здорова!

*Мюнхен, 24 июля 98*

Дорогая Оля, то, что письмо из Германии могло прийти за три дня, граничит с чудом и, в сущности, есть чудо, которому нет объяснений. Разве только лишний раз убеждаюсь, что украинская почта функционирует несравненно лучше отечественной. Сто лет назад, когда почта по нынешним меркам была образцовой, Достоевский в Бад-Эмсе

получал письма от Анны Григорьевны из Старой Руссы на пятый день. Но три дня! Твоё письмо тоже, как видишь, доехало довольно скоро.

Во всей Европе жара, дожди не снижают температуру, но зато не дают пожелтеть буйной зелени. Народ тоже старается держаться поближе к воде, там, где её находит. Время от времени мы ездим на озеро, которое находится от нас примерно в десяти минутах. Но это почти город, а в былые времена купались и катались на озёрах настоящих, больших, средних и маленьких, которых в Верхней Баварии великое множество, иногда снимали жильё близ каких-нибудь зелёных и тенистых берегов. Одно из баварских озёр, Tegernsee, оставило след в русской литературе, но об этом не говорилось в наших учебниках: я имею в виду стихи Тютчева якобы о русской природе. Он прожил в Мюнхене 14 лет и был дважды женат на местных красавицах. Любишь ли ты Тютчева? Кого ещё?

Я не знаю, проиграла ли ты или выиграла оттого, что в библиотеке нет моих сочинений, говорю это, ей-богу, без всякого кокетства, присущего литераторам не меньше, чем барышням. Я не то чтобы немецкий писатель, вовсе нет, ведь я пишу по-русски и почти исключительно о России. Но можно предположить, что российский читатель тотчас заподозрит в моих писаниях чуждое перо. Так уж получилось, и ничего не поделаешь. Правда, живи я в России, я бы тоже не мог писать о том, что видел бы за окошком.

Да и вообще: есть ли ещё охота что-нибудь читать?

Кажется, я писал тебе, что виделся в Москве несколько раз с Яшей и нашими девочками, которые стали теперь бабушками, — и ужасно жалел, что тебя не было. Видел однажды и В.Н. Ярхо, хотя никогда прежде не был с ним знаком. Кажется, он отбыл в Канаду. Иных уж нет, а те далече.

Ты спрашиваешь о пенсии. В конце войны, перед университетом, я был рабочим на газетно-журнальном почтамте на улице Кирова, мне было 16 лет. Потом работал в лагере и после лагеря много лет. Всё это, разумеется, пропало. Я не был исключением. Наше бывшее государство

присвоило себе огромное множество пенсий, но богаче от этого не стало, подобно библейским коровам, приснившимся фараону, которые пожрали тучных коров, но сами не прибавили в весе. В Германии я успел до пенсионного возраста проработать (и платить взносы в пенсионную кассу) лишь восемь с половиной лет, и поэтому пенсия моя очень хилая. Мне немного подкидывает учреждение при Президентском совете в Бонне, которое называется Künstlerhilfe. После того, как закрылся наш бывший журнал (коего я был со-основателем и редактором), главным кормильцем стала Лора.

«Кончаю, страшно перечесть». Жарища несусветная. Посылаю тебе для развлечения маленький текст — речь, которую я толкал при вручении премии в славном городе Гейдельберге (правда, она была прочитана в немецком переводе). Свои романы или рассказы я кропаю, конечно, на более земные темы. Но зато это короче.

*Мюнхен, 22 авг. 1998*

Дорогая Оля, твой корреспондент, конечно, не заслуживает таких похвал, но какой писатель не возрадуется, услышав дальний голос сочувствия? Я говорю: дальний, потому что, хочешь не хочешь, а Россия отодвинулась далеко. Между прочим, на этих днях исполнилось 16 лет, как мы попрощались с отечеством — навсегда, как тогда казалось. Но и теперь новые впечатления от приездов в последние годы не могут перечеркнуть старых воспоминаний. Напротив, те далёкие времена так прочно засели в памяти, что кажутся куда реальней: и тебя, и других, всех наших, кого я встречал после стольких лет и кого не встречал, я по-прежнему вижу такими, какими мы были пятьдесят лет назад.

А.Н. Попов преподавал, как ты помнишь, не в нашей группе, и мы его мало знали. Однажды я был на его занятиях, у него был особый молниеносный метод преподавания, он задавал вопросы каждому, на которые нужно было отве-

чать немедленно, и это держало всех в постоянном напряжении, в любой момент палец учителя мог обратиться на тебя. О том, что он любил графа Алексея Конст. Толстого, можно было догадаться по его греческой грамматике, той самой, в голубой обложке, где половина примеров из русского были цитаты из А. К. Толстого. Как-то раз, это было через много лет, я приехал в Москву из деревни, где я работал, и в метро, в газете, которую держал в руках сосед, увидел извещение о смерти Радцига. Я отправился на панихиду в зале нашего бывшего университетского клуба на улице Герцена, где в былые дни устраивались танцевальные вечера (теперь его, к несчастью, захватила церковь), стоял сзади и слушал, как говорил надгробную речь Александр Николаевич. Это был последний раз, когда я его видел. Не могу рассказать, с каким особенным чувством любви и благодарности я вспоминаю наших стариков, особенно Павла Матвеевича Шендяпина и Андрея Николаевича Дынникова.

А баллады Толстого, «Илья Муромец», «Гакон Слепой» и другие, я потом с наслаждением читал вслух моему сыну, когда он был малышом, и все они шли на ура, моментально заучивались наизусть и потом исполнялись с моими интонациями, как это бывает у детей, точно записанные на плёнку.

Баратынского ты мне когда-то подарила. А вот Тютчев... Вот я тебе сейчас процитирую один стишок.

Как океан объёмлет шар земной,  
Земная жизнь кругом объята снами;  
Настанет ночь — и звучными волнами  
Стихия бьёт о берег свой.  
То глас её: он нудит нас и просит...  
Уж в пристани волшебный ожил чёлн;  
Прилив растёт и быстро нас уносит  
В неизмеримость тёмных волн.  
Небесный свод, горящий славой звездной,  
Таинственно глядит из глубины, —  
И мы плывём, пылающею бездной  
Со всех сторон окружены.

Поразительное стихотворение, да ещё написанное тогда, когда в России никто ничего подобного не писал (в 1830 году или даже ещё раньше). Я стал думать, о чём оно. Есть мир дня, и есть мир ночи. Они исключают друг друга: что-нибудь одно должно быть действительностью. Глядя из дневного мира, сон представляется мнимостью, игрой неупорядоченного воображения; но можно ведь и глядеть на дневной мир о т т у д а. Тогда окажется, что дневная реальность — это маленький островок суши, а вокруг неё бездонный и беспредельный океан. И вот мы отправляемся в плаванье по этому океану, наше «я», сновидец, — это волшебный чёлн. И теперь чёрный океан, над которым сверкают звёзды и в котором они отражаются, «пылающая бездна», — это и есть высшая действительность, а тот, дневной мир — иллюзия.

Конечно, какой-нибудь специалист по Тютчеву тотчас объяснит тебе, что это стихотворение мог написать человек, начитавшийся йенских романтиков и классиков немецкого идеализма; юный Тютчев вёл в Мюнхене долгие разговоры с седовласым Шеллингом, и старик был в восторге; но что из того? Стихи живут сами по себе, и околдовывают читающего, особенно если прочесть их несколько раз, а для меня они даже сохраняют какую-то странную актуальность, потому что сон — неисчерпаемая тема литературы.

Мне было очень приятно узнать, что ты любишь поэзию Бродского. Я немного знал его. В годовщину его смерти поместил о нём (в Литературной газете, которая тогда ещё была литературной) статейку. Если хочешь, разыщу и пришлю.

Насчёт журнала, который я здесь выпускал вместе с несколькими коллегами около восьми лет, — он назывался «Страна и мир», — я хотел сказать, что, собственно говоря, «Журнал», о коем говорится в романе под весёлым названием «После нас потоп» (если ты имела в виду этот роман), — это нечто другое. Когда-то я подвизался в одном самиздатском журнале, состоял под следствием по этому поводу. Журнал в романе может напомнить Самиздат —

своеобразное явление тех лет. Тем не менее, для меня этот «Журнал» был скорее символом катакомбной культуры вообще, и даже не обязательно в брежневские времена. А вообще-то меня в моём сочинительстве всегда больше интересовали человеческие отношения, чем «идеи».

Ты спрашиваешь о Гейдельберге, — сам город с университетом XIV века и другими достопримечательностями много интересней, чем то, что там происходило со мной. Это был очень красивый зал. Говорились речи. Сначала *laudatio*, которую произнёс профессор Вольфганг Казак, известный в Германии славист, чей «Словарь русской литературы XX века» ты, возможно, знаешь. Потом речь обербургомистра, вернее, бургомистерши. Потом должен был сказать ответную речь лауреат. Потом вручение диплома, подарка, цветов для жены лауреата и денежного чека (очень даже нелишнего!). Потом банкет в крепости на горе, в виду Неккара и заречного города.

Ну вот; а через десять дней я собираюсь ехать в Альгой, на крайний юг Баварского королевства, на 75-летние именины одного старого приятеля. Потом мы с Лорой отправимся за океан. Но ненадолго.

Дорогая Оля, каждое твоё письмо я читаю с большим интересом и даже больше того. Вот-вот начнётся учебный год. Какие курсы ты читаешь, ведёшь ли семинарские занятия? Будь здорова, поклон твоему семейству.

*Мюнхен, 20 окт. 1998*

Дорогая Оля, давно я уже не писал тебе, — последний раз, если не ошибаюсь, в августе. В Чикаго мы сидели и гуляли с внуком, зоопарк, аквариум, дельфинариум, то да сё, гигантское, как море, озеро Мичиган и, как всегда, ошеломительная красота и величие центральной части города, но, к несчастью, меня сразил радикулит. История повторилась, когда мы вернулись в Старый Свет, и недели две я света белого не видел. Мне пришлось отменить поездку на ежегодную *Buchmesse* во Франкфурте, — тот, кто не видел этот книжный, а теперь уже и книжно-электронный Вавилон, не

может себе представить, что это такое, — хотя мне забронировали номер в гостинице, прислали билет и т.д. Всё же мне удалось съездить на этой неделе на два дня в Вестфалию на очередное ПЕН-сборище — шестьсот с лишним километров на машине в один конец, через три федеральных земли, через жёлтые, красные и буро-золотистые леса.

Издательство выставило во Франкфурте на этот раз тот самый роман, «После нас потоп», — по-немецки, к сожалению, он называется иначе, — о котором ты мне писала: письмо (от 13 авг.) лежит у меня перед глазами. Это письмо, такое умное и сердечное, доставило мне много радости и повергло меня в некоторое смущение, мне кажется, я никогда не слышал таких похвал, я вообще их нечасто слышу. Один мой старый приятель в Москве забраковал это сочинение, увидев в нём насмешку над страной, тотальный нигилизм и так далее.

Параллели с Римом, разумеется, носят несколько произвольный характер; в сущности, блажь, игра идеями; и всё же мысль о том, что крушение Советского Союза есть событие, масштабов которого мы, возможно, ещё не сознаём, событие, сопоставимое с крушением Западной Римской империи, занимала меня долгое время. Я всегда, впрочем, думал, что СССР, наследник Российской империи, был последним во всём этом регионе государством архаического типа, того типа, к которому принадлежали Рим и Византия.

Но то, что происходит сейчас в России... У меня есть брат Толя, если ты помнишь, мой сводный брат; когда мы учились, он был школьником. Как и прежде, он живёт в Москве. Последние годы он сидит безвылазно с престарелой матерью, которой сейчас за 90 и которая находится в самом плачевном состоянии: сенильный маразм. Толя получает гонорары за мои русские издания, и эти гонорары, при всей малости сумм, для него, по его словам, всё же важное подспорье. Он пришёл в бухгалтерию «Октября», чтобы получить деньги за небольшой роман, напечатанный в журнале, кажется, в октябрьском или сентябрьском номере («Далёкое зрелище лесов»), и получил ровно одну



треть. Неделей позже вообще бы ничего не осталось. Я даже не знаю, жив ли сам журнал. Всё это хилое предприятие, называемое современной русской литературой, — немногочисленные журналы, немногочисленные более или менее серьёзные издательства — всё и без того держалось на честном слове, благодаря миллионеру Соросу и ограниченному числу подписчиков, и, вероятно, сейчас окончательно рухнуло.

*Мюнхен, 13 ноября 1998*

Дорогая Оля, ничего не пропало, оба августовских письма, от 10-го и от 13-го, до меня дошли, второе с некоторым запозданием, хотя я по-прежнему убеждаюсь, что украинская почта превосходно функционирует, гораздо лучше, чем российская, а может быть, и американская. Письмо от 27 окт. пришло несколько дней назад. Между тем на дворе уже ноябрь. Я бы даже не вспомнил о Седьмом ноября, если бы не увидел вечером на экране громадную демонстрацию в центре Москвы, с красными знамёнами, портретами Уса и т.д. Об этих людях можно сказать старыми словами: rien appris ni rien oublié, они ничему не научились и ничего не забыли.

Мы с твоим внуком проговорили целый вечер о литературе. Славный парень. Не знаю, как ему со мной, но мне с ним было очень интересно. И как странно было увидеть его и думать о том, что он твой внук, ведь осенью сорок пятого года, на первом курсе университета тебе было меньше лет, чем ему.

Что сказать тебе о наших делах? Лора работает и не каждый день бывает дома. Что касается меня, то хотя мне и удаётся немного подрабатывать, я давно уже не главный кормилец, как ни стыдно это для мужчины. На следующей неделе мне предстоит поездка в Гамбург, по здешним масштабам это всё же довольно далеко. За эти годы я изъездил на разных видах транспорта всю страну, никогда в жизни так много не жил в гостиницах. Прежде мы с Лорой совершали и более далёкие путешествия, но после двух аварий

жажда дальних странствий несколько приутихла. Я помню, как в юности меня томила тоска по другим странам. И то особенное чувство, которое вызывают названия старых и славных городов, мне тоже хорошо знакомо — или по крайней мере было знакомо.

Название для романа бывает иногда очень трудно придумать, но если уж оно существует, удачное или неудачное, отказаться от него почти невозможно, оно прирастает к обложке. Совершенно так же, например, как трудно, почти невозможно изменить имя героя. Но то, что в переводах книгу часто переименовывают, дело довольно обычное. Так было со мною часто, обычно я сам придумывал немецкое название, составлял список возможных названий, из которых издательство выбирало то, которое ему казалось подходящим. «Нагльфар», например, привёл их в ужас и получил название «Небо внизу» (Unten ist Himmel). Чем оно лучше? Но на этот раз придумали они сами, и сколько ни брыкался автор, его в конце концов уговорили. Этот роман («После нас потоп») вышел под титлом «Птицы над Москвой», *Vögel über Moskau*. Может быть, им захотелось непременно, чтобы слово «Москва» фигурировало на суперобложке, для которой, конечно, подобрали и соответствующую картинку; а в общем, хрен с ними.

Конечно, мне было бы очень интересно узнать о твоём впечатлении от «Далёкого зрелища лесов», романа не особенно серьёзного и о котором я не могу сказать, получился он или не получился; во всяком случае, его совершенно не обязательно хвалить.

Удивительно, что тебе удаётся всё это находить, ведь литературные журналы влачат довольно жалкое существование, тиражи ничтожные, и вообще их мало кто читает. Неизвестно, переживут ли они — а с ними и вся русская литература — этот кризис.

Ты упомянула о «Чудотворце», это старая история. Однажды я познакомился с одним известным в Германии кинорежиссёром по имени Петер Лилиенталь, он собирался ставить фильм, действие которого одновременно происходило в галицийском городке во время немецкой оккупа-

ции и в Палестине I века нашей эры. Был написан и treatment, то есть первый вариант сценария, но Петер предложил мне написать другой сценарий, вместо этого я отправился в одну альпийскую деревню и сочинил там что-то вроде повести. Это было довольно нахальное предприятие, так как я никогда не бывал в тех местах, о жизни в местечках, а также о хасидизме имел сугубо книжное представление. Меня, однако, увлекла одна мысль. Даже, можно сказать, поработила. Она состоит в том, что гибель евреев парадоксальным образом повлекла за собой крушение христианства.

Это долгая песня, потом я несколько раз к ней возвращался и даже сочинил один рассказик на эту тему под названием «Картафил», который к «Чудотворцу» уже не имеет никакого отношения... Это нечто вроде научно-фантастического рассказа, «маловысокохудожественного», как говаривал Зоценко. Он был напечатан в России всё в том же «Октябре», и на него, насколько я могу судить, никто не обратил внимания, кроме старика Липкина. А что касается фильма, то он так и не был поставлен.

Привет семейству. Напиши подробнее о своей жизни, об университете, о работе, о книжках — мало ли о чём.

*Мюнхен, 29 дек. 1998*

Дорогая Оля, год догорает. Сегодня пришло твоё письмо после довольно продолжительного перерыва. Хотя между западным Рождеством, которое уже прошло, и Новым годом вклиниваются несколько рабочих дней, настроение у людей праздничное, на улицах тишина, только в центре города шум и толпа, народ шатается по базару Христа-дитяти (Christkindlmarkt), мимо лавок с мишурой, с рождественскими игрушками, ангелами, шелкунчиками, со всякой всячиной, грызёт жареный миндаль, запивает его горячим глинтвейном, горят шестиугольные звёзды, бродят клоуны и деды-Морозы, и посреди Мариенплац напротив колонны с кукольной Богородицей высится гигантская ёлка. Всё это я вижу, подумать только, уже шестнадцатый раз.

Для меня праздники мало чем отличались от непраздников: я сидел дома (правда, немецкое Рождество — это традиционно домашний и детский праздник, с подарками друг другу), а Лора была на работе. Звонил разным друзьям, в Германию и в другие страны, с удовольствием позвонил бы и тебе, если бы знал твой телефон. Наша сноха, её зовут Susanne, присылает из Чикаго фотографии Яши, соло и с родственниками, которые по очереди приезжают в гости, и каждый раз кажется, что внук наш снова изменился. Ему пошёл третий год. Он начал произносить короткие фразы — увы, не по-русски.

Что касается нашего отечества... Я думаю, что если бы я остался в России, то давно врезал бы дуба (по разным причинам, не говоря уже об ожидавшем меня аресте). Так что вопрос о том, повредила ли эмиграция писательству или пошла ему на пользу, остаётся в большой мере абстрактным: ведь выбора не было. Конечно, я безнадежно оторван от актуальных событий и перемен, ни о каком держании руки «на пульсе» не может быть и речи. Но я утешаю себя примером великих писателей, о которых трудно сказать, сумели ли они сделать то, что сделали, вопреки изгнанию или благодаря ему. Кроме того, я подозреваю, что литература, поглощённая сиюминутной современностью, литература актуальная и злободневная, стоит немногого. Литература — по крайней мере, проза — результат — долгого переваривания жизни и всегда опаздывает.

Ты вспомнила Солженицына. Тут речь идёт не о литературе, с литературой, в сущности, давно уже покончено. Речь идёт о проповедничестве, то есть о том, что литературе сугубо противопоказано. Между прочим, я здесь как-то видел и слышал по французскому каналу длинное интервью с ним какого-то телевизионщика, по случаю 80-летия. Мне почти не приходилось слышать, как говорит Солженицын, а тут его речь была хорошо слышна, пока шли субтитры, потом её стал заглушать голос переводчика. Хотя то, о чём он говорил, ничего нового не содержало, я был поражён и даже восхищён, оказалось, что он изъясняется

на хорошем, природном русском языке. Какой контраст с искусственным, псевдонародным, вычурным и вымученным языком, на котором написаны его произведения.

Интерес к литературе в России, судя по всему, угас. «Всемирная отзывчивость», «самая читающая в мире страна» — всё оказалось мифом. Похоже, что можно прекрасно обойтись без приличных романов и рассказов, совершенно так же, как можно обойтись без музыки, без философии, без многого — довольствуясь суррогатами. И тут никакие «обустройства» не помогут. Вероятно, художественная литература в близком будущем превратится в занятие вроде собиранья марок. Что остаётся делать? Перелистывать альбом и показывать другим собирателям. Если не считать поездок и болезней (не слишком серьёзных), я вёл всё это время прежний образ жизни, сочинял разные сочинения, разную ерунду, пытался поправить написанное прежде.

«Картафил», о котором ты тоже упоминаешь, — старая история, можно было бы сказать: старая одержимость; всё время возвращаешься к Освенциму. Это, впрочем, такая тема, которая здесь не сходит со страниц и экранов. Но в России, как легко заметить, Освенцим отсутствует в сознании подавляющей массы интеллигентов: не наша, дескать, забота. (Некоторые известные страницы Солжа недвусмысленно говорят о том, что и ему эта тема глубоко чужда. Он словно не слышал о ней.) И это ужасно. Появилось множество новых православных христиан, которым даже в голову не приходит, что невозможно повторять старые заклинания после того, что случилось в нашем веке; они не чувствуют и не хотят знать о том, что уничтожение евреев одновременно нанесло смертельный удар традиционному врагу еврейства — христианству. И что нужно что-то с этим делать. И во всяком случае невозможно вести себя так, как будто ничего не было.

Может быть, не стоит в новогоднем письме вдаваться в эту тему. Кратко говоря, сюжет такой (само собой, вымышленный). Картафил, или Вечный Жид, проклят и осу-

ждён на вечные скитания Христом, которому он когда-то отказался помочь, но Картафил — единственный оставшийся в живых, кто видел Христа и может свидетельствовать о нём. Это парадокс еврейства. Картафил устал от своего бессмертия и хочет узнать, когда закончатся его блуждания. Когда-то Иисус сказал ему: будешь скитаться, пока я не вернусь. Учёный черно книжник Агриппа Неттесгеймский сообщает гостю, что Второе пришествие совершится, по расчётам, через 400 лет. Действие рассказа происходит незадолго до смерти Агриппы, в XV веке. Через четыреста лет — это получается к моменту «окончательного решения еврейского вопроса» на совещании в Ванзее. Старик уговаривает средневекового футуролога дать ему возможность увидеть это будущее при помощи фантастического прибора, сконструированного Агриппой. В результате Вечный Жид оказывается в лагере уничтожения, где в толпе перед газовой камерой видит Христа. Картафил отправляется туда ещё раз и больше не возвращается. Историческое христианство несёт свою долю вины за Катастрофу евреев. Но судьба еврейства так тесно сплетена с христианством, что гибель одного означает крушение другого.

Я хотел сказать кратко, получилось длинно. Во всяком случае, мой рассказик не привлёк ничего внимания. «Нас не касается». А может быть, слишком заумно. Может быть, вообще никто это не читает. Было, правда, одно исключение. Старик Семён Липкин (возможно, это имя тебе известно) напечатал в «Литературной газете» стихотворение, посвящённое мне; это был единственный человек, которому тема оказалась близка.

Что тебе ещё рассказать, Оля? Среди того, что я переписывал, — лучше сказать, пытался спасти, — было несколько вещей совсем другого рода, так сказать, на интимные темы. Один мой приятель, отставной профессор и довольно известный в Германии публицист, прислал мне однажды коротенькую заметку об одной скандальной истории, которая произошла в Америке, где-то в провинциальном городке. Учительница в школе, зрелая женщина и

мать семейства, вступила в связь с подростком-учеником и даже родила от него. Дело вскрылось, её лишили работы, семьи, посадили на скамью подсудимых за соращение несовершеннолетнего, чем кончилось, я уже не знаю. Конечно, мне приходилось как врачу иметь дело с похожими ситуациями. Но история как-то врезалась мне в память. Я перенёс действие в Россию и в другое время, придумал сюжет и так далее; трудность была даже не в том, чтобы заново сочинить историю. Главная трудность — как об этом написать. Нужно сказать всё и в то же время не впасть в пошлость. Потому что история эта глубоко человеческая и трагическая. И, само собой, надо избежать сентиментальности. Я придумал повествователя. Это такое дамское общество, где он — единственный мужчина. Он рассказывает о том, что произошло много лет тому назад.

Дорогая Оля, я уже перебрался на третью страницу, пора и честь знать. Сердечно поздравляю тебя и твоих близких с Новым годом. Когда это письмо придёт, не только Новый, но и Старый Новый год будут уже позади. Будь здорова, не забывай.

*Мюнхен, 16 янв. 1999*

Дорогая Оля! Представь себе: мне сегодня стукнул 71 год.

Я сглазил украинскую почту. Мне казалось, что она работает лучше российской. А ты пишешь (хотя твоё письмо от 6 и 9.01 я получил, как видишь, очень быстро), что праздничные письма не сортируются и приходят с большим опозданием. Последний раз я тебе писал накануне Нового года. Может быть, это послание теперь всё-таки уже дошло. Если нет, я могу прислать копию, все письма остаются в компьютере.

Вчера я приехал из Нюрнберга, там был литературный вечер. Я бывал в этом городе не раз, но расстояния неуклонно сокращаются: сигарообразный поезд ICE (что означает Intercity Express) идёт до Нюрнберга полтора часа, сидишь — словно катишься по паркету. В конце месяца мы,

как и в прошлом году, собираемся с Лорой на несколько дней в Венецию, маленький отпуск, а потом, как я уже тебе писал, — это должно быть во второй половине февраля, — она должна будет отправиться в Чикаго пасти внука. Мои хвори пусть тебя не беспокоят, ничего серьёзного. Вот такие дела.

Тютчев... ты знаешь, что он прожил здесь 14 лет. Многие стихи, которые нам казались стихами о русской природе, на самом деле были написаны под впечатлением поездок на Тегернзее, одно из больших баварских озер. Две жены были баварками. Как-то раз я написал небольшой этюд о Тютчеве в Мюнхене, он был напечатан в газете *Frankfurter Allgemeine*, а потом по-русски. Ничего особенно нового там не было, но Тютчев здесь малоизвестен — не оттого ли, что фамилия труднопроизносимая? А знаешь ли ты, сколько знаменитых россиян здесь побывало или проживало. Иван Киреевский овладел основами славянофильства в Мюнхене. Андрей Белый бегал по утрам по дорожкам Английского сада, гигантского мюнхенского парка.

Ну вот, настроение у меня какое-то смутное, надо закругляться. Дорогая Оля, пиши. Авось почта приведёт себя в порядок.

*Мюнхен, 30 апр. 1999*

Дорогая Оля! Вот, наконец, пришло от тебя письмо. С Симферополем нашу здешнюю весну, конечно, не сравнишь, — цветущие персики и всё такое, — но у нас тоже цветёт черёмуха, распустилась японская вишня, вот-вот зажгутся свечи на каштанах, белые и розовые. Я провёл три недели в *Kurklinik* (нечто вроде санатория) в одном курортном городке в Нижней Баварии, ездил ещё в разные места. Лора пробыла около месяца в Чикаго, на этот раз без меня, пасла там внука Яшу. Ему два с половиной года. Каждый раз, когда мы получаем фотографии, видно, как быстро он меняется. Он недурно владеет своим телом, прыгает, лазают, падать не больно, и вообще жизнь прекрасна и удивительна. Говорит он — если это можно назвать говорением — на лю-



бом языке, который слышит вокруг; при Лоре он сразу выучился многим русским словам, произносил их без акцента, — идеально работающий языковой механизм, — но едва ли он будет жить в русской речи; его родными языками останутся, очевидно, немецкий и английский.

Большое спасибо за вырезки. Я обратил внимание на шапку в верхнем правом углу: «В Украине». Это какой-то новый язык, ведь по-русски полагается говорить: на Украине. Или кто-то испугался, что эту страну примут за остров? (На Новой Земле, на Мадагаскаре. Но ведь мы говорим, например: на Камчатке.)

Но это пустяки. Коротенький врез с довольно похабным заголовком, под рубрикой «Их нравы» в Комсомольской газете, — я сразу вспомнил советские времена, — видимо, сообщает о той же самой истории, которую я узнал когда-то от моего приятеля. А вот главная история, в обеих газетах, удивительна, трогательна и, очевидно, более или менее соответствует действительности; более или менее. Парень на фотографии выглядит совсем взрослым, да он и в самом деле уже взрослый. Правда, мне трудно понять, как они оба согласились на эту публичность. Вся история подана в идиллических тонах. Подозреваю, что и в России всё это на самом деле происходило не совсем безоблачно.

Во всяком случае, такой поворот сюжета меня не очень бы заинтересовал. Стихотворение С.И. Липкина я, к сожалению, не могу разыскать, но зато решил тебе послать мой рассказец, раз уж мы коснулись этой темы. Рассказ этот с точки зрения техники написан вполне традиционно. Эпиграф заимствован из баллады Киплинга, предпосланной роману «Свет погас».

Пока это письмо дойдёт, у тебя наступят летние каникулы. Какие планы у вас обоих на лето? У нас — никаких.

Что вообще новенького? Как выглядит ваша квартира? Как ты живёшь и как вообще живут люди в Крыму — не в том, курортно-бутафорском Крыму, где я бывал, а в настоящем.

Ты спрашиваешь, читаю ли я российские газеты. Я вообще не читаю газет. Хотя в своё время довольно много печатался и в немецких, и даже в русских. Иногда только читаю то, что посоветуют.

Будь здорова, Оля!

*Мюнхен, 20 мая 99*

Дорогая Оля! Я рад, что мой рассказик не вызвал у тебя протеста. Он был написан в припадке некоторого вдохновения, когда мне стало казаться, что разные общие вопросы и высокие материи не имеют значения рядом с драматизмом обыкновенного человеческого существования. При этом вымышленная история наложена на Hintergrund, близко воспроизводящий обстановку нашего детства.

Воздадим ещё раз должное украинской почте: твоё письмо от 5 мая пришло уже около недели тому назад. Я тоже всякий раз, когда приходит от тебя письмо, вспоминаю наши университетские времена, я вообще часто вспоминаю университет, и хотя, приезжая в Москву, я всегда туда заходил, перед глазами стоит тот, старый университет с его двумя зданиями на Моховой, а то, что там происходит сейчас, не важно и неинтересно. Представь себе, на нашем факультете, в прихожей, в узком коридоре, в холле, где висело расписание лекций, и следующем, коротеньком коридорчике, в Круглой аудитории, где однажды, помню это как сейчас, Павел Матвеевич Шендяпин сказал своим прекрасным густым голосом: «Не поклоняйтесь никаким авторитетам», — хотя сам был непогрешимым авторитетом, — в наших комнатках для занятий, с подоконниками, на которых можно было сидеть, и окнами, выходившими на Манеж и Кремль, в комнате, где помещалась кафедра античной филологии, — представь себе: там сейчас всюду сидят какие-то тёмные дельцы, какая-то вонючая фирма купила весь этаж и разместилась в нём.

Я был последний раз в Москве полтора года назад и не знаю, когда поеду в следующий раз, поеду ли вообще. Мо-

жет быть, это предрассудок, но не будь я иностранным гражданином, я бы вообще туда не сунулся. Во время моих поездок ко мне никто никогда не придирался. Но у меня такое чувство, что любой милиционер на улице может схватить меня за рукав: поди докажи ему что-нибудь. Всё это похоже на сны, которые я видел в первые годы: как будто я снова в Москве. Я в Москве, стою в толпе где-то на остановке троллейбуса и чувствую, что за мной гонятся, что я в ловушке; и вдруг с величайшим облегчением вспоминаю, что в кармане у меня — охранная грамота. Правда, в то время это был всего лишь путевой паспорт апатрида, в котором, между прочим, стоял штамп: «Годен для всех стран, кроме СССР».

Вероятно, у тебя уже начались каникулы. Я понимаю, что смешно куда-нибудь ехать из Крыма, куда, наоборот, все едут отдыхать, но всё же — есть ли какой-нибудь проект на лето? Как поживают твои домочадцы, внук?

Я пытался разыскать стихотворение Липкина, но так и не нашёл.

Мы живём по-старому, туда-сюда. Лора работает. Литература моя чахнет; пишу какую-то ерунду. Надо бы заниматься совсем другим делом (как сказано у Василия Розанова: «Лучше бы ты, Розанов, булками торговал»), в крайнем случае — писать криминальные романы. Но это дело непростое, требует особой выучки и особого мастерства. Я однажды попробовал, написал такой рассказ, который был даже напечатан и в России, и здесь, но вышла скорее пародия на крими. Пиши мне, милая Оля. Крепко жму твою руку.

*Мюнхен, 22 июня 1999*

Только сейчас, дорогая Оля, написав дату, я вспомнил, что сегодня день начала войны. Я этот воскресный день прекрасно помню, накануне вечером мы собирали барахло, чтобы ехать с утра на дачу. Видимо, дача была в том году снята с большим опозданием. Летом 41 года мне было 13 с половиной лет. Для меня этот день был празд-

ничным: музыка, люди на улицах, что-то необычайно увлекательное началось. Но я помню, что женщины плакали. Мгновенно выстроились очереди за солью и спичками. В выступлении Молотова по радио резануло слух выражение «германские фашистские правители», ведь ещё вчера эти правители были лучшими друзьями. Самое же странное было то, что Великий Ус не только хранил молчание, но вообще не подавал признаков жизни — словно провалился сквозь землю. Третьего июля, когда немцы уже успели захватить огромную территорию, он, наконец, прорезался — и произнёс удивительные слова: «К вам обращаюсь я, друзья мои». Мой отец записался в народное ополчение. Это ополчение, состоявшее из необученных, сугубо штатских людей, вместе с 32-й армией, между Смоленском и Вязьмой, попало в гигантский котёл, как это называлось у немцев, — по-русски окружение, — и погибло почти до последнего человека. Мой отец был одним из немногих, кто уцелел; два месяца блуждал по лесам и деревням, отморозил ноги, но выбрался каким-то чудом.

Твоё письмецо, как обычно, дошло быстро. Но я немного задержался с ответом. Я вижу, что ты недурно владеешь государственным языком страны, где ты живёшь. Украина — благословенная, богатейшая земля, и в то же время какая-то незадачливая: по крайней мере в России её никто не принимал всерьёз. На каком языке ведётся преподавание в университете? На каком языке — русском, украинском или русско-украинском — вообще говорят в Симферополе? Существуют ли крымские татары?

Поздравь Серёжу с дипломом. Вероятно, не было сомнений, что он окончит университете так успешно. Попроси, пожалуйста, Наташу, если она будет в Мюнхене, позвонить мне. И обязательно пришли мне, как ты обещала, свою университетскую фотографию — а может, заодно и «современную»? А я тебе pošлю фотографию нашего внука Яши, о котором трудно сказать, кто он: американец, немец? У него немецкая мать, полуеврейский отец, немецкие бабушка и

дедушка, ещё один дедушка, неродной, — тоже немец (франконец), ещё одна бабушка — русская (это Лора) и, наконец, единственный стопроцентный иудейский дед.

Вообще я немного запутался в твоей многочисленной родне. Нарисуй какую-нибудь такую схему: кто есть кто, кому сколько лет и кто кому кем приходится. У нас было много родственников, когда я был ребёнком. Все собирались, когда у меня был день рождения. Но это был скорее повод; я должен был ложиться спать, а они там сидели за столом в другой комнате, я стоял в ночной рубашке босиком на спинке кровати, держась за дверной косяк и заглядывал туда, и в ушах у меня до сих пор звучит голос моего отца и смех женщин.

Осенью, если всё будет благополучно, мы с Лорой двинем на остров Майорку; вероятно, я съезжу и на ежегодную книжную ярмарку во Франкфурт. Этим, собственно, планы и ограничиваются, а пока перемен нет. Занимался я это время разными мелочами. Сейчас мне приходится писать доклад (чего я отродясь не делал), которым мне предстоит потрясти публику в католическом университете в городке Eichstätt не очень далеко от нас. Вообще же, как сказано в одном старинном романе под названием «Кола Брюньон», в делах застой.

Высоцкого я когда-то один раз слышал *in vivo* и, конечно, много слушал разных записей. У меня был один знакомый, коротко знавший его. Он присутствовал на грандиозных похоронах. Как-то раз мы поместили большую статью о Высоцком в нашем бывшем мюнхенском журнале «Страна и мир». Странно сказать, но я как-то не особенно увлекался Высоцким. Это была культовая фигура и, конечно, незаурядный талант. Может быть, дело отчасти было в том, что блатной налёт, подчас даже сознательная стилизация под уголовный фольклор не вызывали у меня симпатий.

Живу я довольно однообразно, вечером глазею на экран, — немецкое телевидение, как и телевидение во всём мире, погибает, но всё же я слушаю последние известия,

разные дискуссии, смотрю документальные фильмы, иногда ещё кое-что, — не столько читаю, сколько перелистываю разные книжки и слушаю музыку. Иногда мы ездим в оперу или ещё куда-нибудь. Посылаю тебе два небольших сочинения. Будь здорова, Оля. Поклон Яше и всей родне.

*Мюнхен, 30 июля 99*

Дорогая Оля! Спасибо за доброе, славное и очень лестное для меня письмо, за прелестную, юную фотографию. Я стал понемногу разбираться в твоём семействе. Трудно представить себе, что ты стала матроной! У меня такого большого семейного круга нет, в Москве остался мой сводный брат Толя, младше меня на семь лет, который сидит сейчас безвылазно с 93-летней матерью (моей мачехой; моя мать умерла молодой женщиной, когда мне было шесть лет, я её помню. А теперь я вдвое старше её). Толя был женат неудачно, но так и не смог окончательно расстаться с женой. У него двое детей, моих племянников. Старшая дочь живёт в Израиле и готовится родить второго ребёнка. Младший сын в Москве и с великими трудами тащится с курса на курс в институте, который он не любит, — а любит играть на гитаре, сочинять песни и читать философические трактаты. Что касается более отдалённой родни, то она существует, но связи с ней у меня почти никогда не было, тем более, что я сидел в лагере, потом долго жил вне Москвы и т.д.

Старых фотографий у меня, к сожалению, почти нет, некоторые были, вероятно, изъяты при аресте в 49 году, остальные пропали при нашем отъезде, когда жизнь была перерублена. Ни фотографий, ни каких-либо документов нельзя было брать с собой. Вообще это были скверные дни, когда оставалась только одна мысль: скорее вон, лишь бы вон, — а куда, не так важно. На приготовления было дано несколько дней, виза — филькина грамота — представляла собой приказ покинуть страну не позже такого-то числа, все это время ушло на бесконечные бюрократические формальности, беготню по бесчисленным конторам, где чи-

новники и чиновницы, казалось, были озабочены только одним: как можно больше тебя унижить, как можно больше насолить, отомстить, сколько есть сил за то, что ты — изменник социалистической родины, за то, что отваливаешь из самой счастливой страны, а они остаются. Отъезд был похож на смерть, после которой мы очнулись в другом мире. Дела давно минувших дней...

Сказать, что я не «впустил» Владимира Высоцкого в свою душу, я не могу, ведь это была часть нашей жизни. Просто он не был мне так близок, не играл для меня такой важной роли, как для многих моих знакомых. Известная заблатнённость, интонации блатных песен и блатного говорка, вообще то, что он ввёл в своё искусство элементы блатного фольклора, — заслуга художника, а он был им, конечно, в высокой степени, — меня скорее отталкивали, ведь я имел возможность видеть уголовный мир вблизи и знал, чего стоит эта романтика. У Высоцкого было необычайное чутьё и чувство времени. Может быть, поэтому он начал устаревать — или я ошибаюсь? Я помню и некоторые роли, сыгранные им. Он обладал несравненным обаянием мужества, безрассудства и обречённости; перевоплощаться он не мог и, очевидно, не умел.

Перелистал старые номера нашего журнала «Страна и мир», хотел найти для тебя статью о Высоцком. У меня нет полного комплекта: очевидно, этот номер куда-то делся. Статья была написана знатоком и большим почитателем В.В. Но ничего такого особенного, насколько я помню, в ней не было.

Наша жизнь происходит без особых новостей.<sup>1</sup> На этих днях мне пришлось съездить в городок Eichstätt, в Нижней Баварии, по-русски говоря — уездный город; кроме того, резиденция епископа, с собором VIII века, который, правда, позднее перестраивался. В Эйхштетте находится Католический университет, где твой слуга делал доклад на тему о «националистическом и революционном искушении»; вообще-то выступления такого рода не по моей части, но это была просьба одного приятеля, который там профес-

сорствует. У меня было время погулять по красивому городку. После доклада, по немецкому обычаю, долго сидели в Кнеире; ночевал я, как водится, в гостинице и на другой день отправился восвояси.

Кажется, я тебе уже писал, что в октябре, если благополучно вернёмся с островов, я собираюсь поехать на книжную ярмарку во Франкфурт, куда в прошлом году не удалось съездить из-за того, что меня сразил гнусный радикулит. Э-эх, старость! Совершать эти поездки я могу только благодаря тому, что издательство заказывает и оплачивает отель. В дни, когда происходит Buchmesse, самая большая в мире, даже захудалые гостиницы фантастически дороги. А насчёт Майорки... однажды я сочинил небольшую повесть, в которой действие происходит на экзотическом океанском острове; когда-нибудь тебе пришло.

Дорогая Оля, Таврический университет — это звучит замечательно. Удивительно, что все эти слова ещё живут. Удивительно, что не успели как-нибудь переименовать Симферополь, ведь это название — наследство греческих колонистов, эхо античности, которую власть не могла переделать. В том-то и была прелесть нашего отделения, что мы занимались культурой, до которой власть не в силах была дотянуться. Когда я поступал в университет, мне нужно было пройти собеседование вместо экзаменов, так как у меня был диплом отличника. На собеседовании, которое проводил Ухалов, как выяснилось потом, парторг факультета, я не мог ответить на вопрос о повести Бека «Волоколамское шоссе», — я не только её не читал, но и слыхом не слыхал о ней, — и меня зачислили на классическое отделение вместо западного, куда я подавал документы, наугад, разумеется, как и сам университет был выбран наугад. Я думаю, что этот человек совершил благодеяние, потому что лучшего отделения, чем классическое, не было.

Но ты совсем в этот раз не пишешь о твоих университетских делах. Вероятно, учебный год уже закончился. Как проходили экзамены? Есть ли подающие надежды студенты? Какие планы на остаток лета? Остаётся ли у тебя время



что-нибудь читать для души (кроме поэтов). Я получаю изредка письма от Яши Мееровича, с которым виделся, приезжая в Москву. Он преподаёт в университете на кафедре классической филологии (которой заведовал до недавнего времени В.Ярхо, в наше время, если помнишь, он был аспирантом) и в лицее. Кроме того, Яша перевёл недавно огромную, гомеровских размеров эпическую поэму одной кавказской поэтессы. Яша был известным переводчиком национальных поэтов. Живёт он с женой, дочерью и её семейством. Он болен, перенёс инсульт. А я помню, как он, в своей истёртой курточке, легко взбегал по большой лестнице старого здания, где мы часами торчали у балюстрады, между алебастровыми вождями.

*Мюнхен, 1 сент. 99*

Дорогая Оля, твоё письмо успело меня застать: мы собираемся улететь (всего на две недели) 20-го числа. Через неделю заедет на обратном пути из Москвы Юз Алешковский, мой старый товарищ, и мы, возможно, съездим на короткое время в Прагу. На нашей телеге, но за рулём будет сидеть он, — я водить машину так и не научился, меня возит Лора. Точно так же, как всё, что на мне надето, выбрано и куплено ею, всё, что я ем, привезено ею. Вообще я совершенно уверен, что давным давно уже отдал бы концы, сыграл в ящик, накрылся медным тазом, оделся деревянным бушлатом, врезал дуба, откинул лапти, отбросил копыта, протянул ноги, приказал долго жить, отбыл к праотцам, почил в Бозе, переселился в лучший мир, — видишь, как богат наш язык, когда дело идёт о жизни и смерти, — одним словом, давно бы уже загнулся, если бы не она. Но это так, лирическое отступление.

Твоё письмо, как всегда, пролило бальзам на мою душу, — по-немецки это называется Komplimente fischen, есть такое же английское выражение, удить комплименты; приятное занятие, ничего не скажешь. Оказывается, ты помнишь Фаину Моисеевну. Она к тебе заочно очень бла-

говорила. Но ты спрашиваешь о моей родной матери. Она умерла весной 1934 года, 33 лет от роду, мне было шесть лет. Свидетелем её смерти я не был, вообще находился последний месяц или около того у тётки, которая жила близко от нас; как вдруг однажды вошёл отец, у которого всё лицо было залито дождём, так что я чуть было не рассмеялся, но это был не дождь, первый и единственный раз в жизни я видел, что он плачет. Я всё это помню с необыкновенной чёткостью. Судя по всему, моя мать страдала декомпенсированным пороком сердца, к чему я своим появлением на свет, должно быть, приложил руку, если можно так выразиться. Во всяком случае, все годы моего детства она лежала в постели, хотя я смутно помню, как она играла (она окончила Петроградскую консерваторию), а я сидел у её ног и смотрел, как она нажимает на педаль. Кроме того, помню, как она играла мне пьески из Детского альбома Чайковского, «Мой Лизочек», ещё что-то, учила меня произносить букву «л» — я говорил: уошадь, уожка, как мой отец, — или, например, сказала однажды, что нельзя слишком часто моргать глазами, иначе ослепнешь. Странно, но я запомнил очень многое даже из раннего детства. Однажды в дверь позвонила цыганка, я открыл, и моя мама в страхе выбежала, в рубашке, в коридор: считалось, что цыгане крадут детей. Моя мать, от которой я унаследовал близорукость и любовь к музыке, была, по некоторым сведениям, замечательно одарённой женщиной. Я помню её голос, но черты лица забылись. После неё остались кипы нот, я играл ими в детстве, однажды нашёл карандашный портрет Римского-Корсакова, сделанный ею.

С ужасом слышу от тебя об убийственном зное в Симферополе; у нас здесь хоть и бывает жарко, но недолго и не в такой степени. Страна лишена счастья выходить к берегам тёплого Средиземноморья и далековато расположена от Атлантики, всё же и у нас много дождей. Мне кажется, я не мог бы жить ни в Израиле, ни в Нью-Йорке. Да и в Чикаго летом не холодно. Что касается Тавриды в античных мифах, то я сразу стал думать, что бы можно было насобирать по этому поводу. Начать, я думаю, нужно было бы с

топонимов, с названий городов, таких, как Евпатория, Симферополь или Севастополь, и, может быть, не ограничившись собственно мифологией, не оставить без упоминания судьбу депортированных понтийских греков, потомков эллинских колонистов.

Язык, говоришь ты... Это тема особенная. Набоков говорил, что его язык — замороженная клубника. Почти каждый писатель-эмигрант, и большой, и маленький, живёт в иноязычной среде. Оттого он тяготеет к консервации привезённого языка. Волей-неволей он становится пуристом, и его читатели (если у таких писателей вообще находятся читатели) получают от него пищу, так сказать, из банок. Ему кажется, что на родине его родной язык — который там не хранится, как у него, в холодильнике — портится, разлагается, вульгаризируется, опошляется. Так было со старой эмиграцией. Происходит ли то же и с нами? Я написал как-то целую статью о стёбе — языке люмпенизированного общества, она была напечатана в «Октябре» и могла, вероятно, вызвать разве что пожимание плечами; но думаю, что я держался бы тех же взглядов или, лучше сказать, испытывал бы те же чувства, если бы остался «дома». Я сейчас попробую разыскать в старом компьютере другую, давнишнюю статейку, под претенциозным названием «Жабры и лёгкие языка», ей повезло: её много раз публиковали в Германии в газетах, в сборниках.

Дела — так себе. Ждём не дождёмся отпуска. Фотография нашего прославленного внука, которую я тебе послал, должно быть, уже устарела: там время несётся с огромной скоростью. Там слушают немецкие сказки, «Бременских музыкантов» или что-нибудь подобное, читаемое вслух, минут пять, после чего возникает потребность заняться чем-нибудь повеселее. В детском саду перебрались на одну ступеньку выше, глядишь, и наступит время, когда придётся таскаться в школу.

*Мюнхен, 20 окт. 99*

Дорогая Оля, на этот раз письмецо твоё (от 10 сентября) дождалось меня на почте, где я просил складывать

мою корреспонденцию, и, как видишь, дождалось, хотя мы вернулись с Мальорки уже почти две недели назад. Отпуск, к сожалению, не вполне удался, болели гриппом, что совсем уже непристойно на Юге, при температуре воды в море 25 градусов или даже выше; купались, разумеется. Остров довольно большой, мы находились на северо-востоке, среди высоких пиний. Всё прекрасно организовано, современный отель, превосходный пляж, на аэродроме тебя встречают, привозят, отвозят, никаких забот; вообще всё было бы хорошо, если бы не вездесущая омерзительная поп-музыка. Когда-то мы проводили отпуск по-другому, снимали уединённый домик где-нибудь в глуши, в Провансе, в Дании на берегу пролива Каттегат, в Тоскане. После одной большой автомобильной аварии стали меньше ездить. Нынешнего отпуска пришлось дожидаться очень долго. Когда из иллюминатора видишь внизу, посреди голубого моря, едва различимую и медленно приближающуюся землю, испытываешь какой-то безотчётный восторг. Балеарские острова — часть Испании, но фактически стали чем-то вроде экономической колонии Германии, благодаря чему процветают; немецкая речь повсюду и много чаще каталанской, газеты, телевидение, харчи, магазины, страхование, медицина — всё немецкое или приспособленное к вкусам и привычкам немцев. От Мюнхена — меньше двух часов полёта.

В Таврическом университете занятия, вероятно, уже идут полным ходом, и ты занята «под завязку» (не знаю, в ходу ли ещё такое выражение). Что с твоим проектом крымско-греческой мифологии? Как вы отпраздновали свадьбу Серёжи и где поселились молодые?

Я как-то всё ещё не могу придти в форму, но, конечно, вернулся к своим занятиям, что же мне ещё остаётся делать. Ты очень снисходительна к моим писаниям. В следующий раз что-нибудь пришло. С одним американским профессором мы затеяли сочинить книжку, нечто вроде сборника бесед о литературе. Разумеется, нужен грант, для чего был написан огромный проект, долженствующий со-

блазнить деньгодателей. Будь моя воля, я снабдил бы его эпиграфом: «Всякое даяние есть благо; рука дающего да не оскудеет. Рука берущего да не отсохнет!»

На сей раз закругляюсь, моё эпистолярное вдохновение выдохлось — какой-то дурацкий каламбур, — но ты не следуй моему примеру, напиши, как всегда, что-нибудь хорошее.

Всему семейству поклон и привет.

*Мюнхен, 3 января 2000*

Дорогая Оля, кто бы мог подумать, что мы переступим этот порог, кто вообще думал пятьдесят лет назад об этих двух тысячах. В лучшем случае они казались чем-то астрономическим. Пятьдесят лет назад я сидел в спецкорпусе Бутырской тюрьмы, в узкой, шесть шагов в длину, камере, которая проектировалась как одиночная, но теперь, из-за крайнего переполнения посадочных мест, вмещала четырёх, иногда пять человек. Напротив меня сидел на своей койке кинорежиссёр Иван Александрович Бондин, автор фильма «Она сражалась за родину» (или что-то в этом роде), человек, которого арест совершенно раздавил. Перед этим он находился в тюремном психиатрическом институте имени Сербского. Его сменил студент географического факультета по имени Саша, немного старше меня, накануне ареста женившийся. Кроме того, в камере сидели два заслуженных большевика, оба вступили в партию в 18 году, оба были арестованы в 37-м, но остались в живых и были выпущены. Для меня это были люди из какого-то другого века или с другой планеты. К тому же каждый был по крайней мере втрое старше меня. Оба были евреи. Один, доктор Мазо Александр Захарович, был главным врачом ведомственной поликлиники, другой — директором завода, звали его Александр Борисович Туманов, фамилия, которую он придумал себе во время революции. Несчастье было в том, что прежде чем вступить в ленинскую (оба, Мазо и Туманов, называли её «наша партия»), он был чле-

ном еврейской пролетарской партии Поалей-Цион (Рабочий Сиона). «Но мы блокировались с большевиками!» Александр Борисович был человек маленького роста, очень важный, вечно пикировался с доктором и говорил о себе: «Я не рядовой работник. Я крупный политический деятель!» Когда он усаживался поглубже на койке, ноги торчали в воздухе. Закусив чем Бог послал, потирал ладошки и декламировал тюремные стихи: «Я сижу и горько плакаю. Мало ем и много какаю!» На этот раз они, конечно, вряд ли выжили. Вот такие воспоминания.

Как жаль, что твой спецкурс застопорился. Но такое бывает. Когда Шопенгауэр в Берлинском университете объявил свой курс лекций, к нему никто не записался. Но, может быть, у тебя ещё будет случай говорить со студентами о мифологии Крыма. Не каждая страна может похвастаться тем, что на её территории находились греческие колонии. Таврида — это ворота России в античную древность, а древнерусский язык через Византию вступил в непосредственный контакт с эллинистическим миром, чего западные народы были лишены. Впрочем, кому я это рассказываю?

Праздники мы с Лорой встречали тем, что сначала по традиции слушали Рождественскую ораторию Баха в зале, который по рангу соответствует Большому залу консерватории в Москве, но более модерном, потом, через несколько дней, «Волшебного стрелка» в бывшем Королевском, ныне Национальном театре (восстановленном из руин к началу 60-х годов и не столь пышном, как московский Большой театр) и, наконец, там же слушали Девятую Бетховена в первый день Нового года, в самом лучшем составе. Ну, и конечно, пировали, как же иначе. Всё было прекрасно, только вот новости из России были удручающими — да и остаются такими же. Эх! что говорить.

Наша работа с Джоном Глэдом продолжается, этих бесед накопилось уже 50, хватит на целую книгу. Но удастся ли выпустить книгу, неизвестно. Вдобавок трудно представить себе, чтобы такое изделие могло заинтересовать пуб-

лику. Заголовков у этих текстов нет или пока ещё нет. Что касается тем... Литература и, в частности, литература в изгнании; три волны русской литературной эмиграции; место писателя в обществе; и вообще всякая всячина. Сам я тоже последнее время занимался разными вещами, затеял одно сочинение, но оно движется медленно и в неизвестном направлении; написал также довольно большой этюд о заговоре против Гитлера и покушении 20 июля 1944 г. (не знаю, помнишь ли ты это событие), вернее, о людях 20 июля. В общем-то, особо хвалиться нечем. Ты просишь что-нибудь тебе прислать. Посылаю тебе для развлечения коротенький полурассказ. Спасибо тебе, Оля, за новогодние поздравления, от них повеяло таким теплом. От тебя всегда исходило душевное тепло; это особый дар. Кланяйся Яше и всему семейству. Будь здорова.

*Мюнхен, 8 февр. 2000*

Дорогая Оля!

Надеюсь, ты поправилась. Не могу себе представить тебя с «редиккулитом» (как говорили когда-то мои пациенты; а в деревне, где мы работали, женщины говорили: «вступило»). Я немного задержался с ответом, ездил на ПЕН-сборище, которое на этот раз происходило под Берлином, куда мы отправились с одним коллегой, отмахав в общей сложности, туда и обратно, 1300 километров. На обратном пути заехали в Наумбург пообедать и, конечно, поглядеть на великий собор. Если бы понадобилось назвать, допустим, пятнадцать знаменитейших архитектурных сооружений средневековой Европы, то среди них, вместе с готическими храмами Франции и Испании, соборами в Бамберге, Шпейере, Вормсе, с московским Кремлём и церковью Покрова на Нерли, оказался бы и четырёхбашенный собор в Наумбурге. Я был там десять с небольшим лет назад, когда первый раз ездил по ГДР, ещё существовавшей в ту пору. Но границы были уже открыты. В соборе, в высоком полукруглом покое с витражами, который соот-

ветствует тому, что в русских церквях называется заалтарным пространством, стоят высоко на постаментах *primi ecclesiae nostrae fundatores*, двенадцать первооснователей собора, высеченные из камня неизвестным мастером через двести лет после того, как они жили. Собор строился в конце XI столетия. Стоят рядом со своими мужьями Эккехардом и Германом смеющаяся Реглиндис, о которой известно, что она умерла в ранней молодости, и знаменитая на весь мир наумбургская маркграфиня Ута, которая прикрывается краем воротника от плаща, — волшебное соединение горделивой осанки с застенчивостью и кокетством.

Что касается Штраусберга, восточноберлинского предместья, где происходило собрание, то впечатление от него было самое ужасное. Была, между прочим, устроена экскурсия в Штадлиц, где в густом лесу, за стенами и рядами колючей проволоки, в глубокой тайне проживали в специальном поселке наподобие гетто Хонекер, Милке и вся братия. Кроме того, нам показали атомный бункер, гигантский подземный трёхэтажный лабиринт, сто пятьдесят помещений, спален, жилых комнат, кабинетов для совещаний, бесконечные коридоры, нагромождение фантастической техники, фильтры, затворы, прямая связь с Москвой, надписи по-немецки и по-русски, одним словом, хрен знает что. Оттуда они намеревались руководить после «атомного удара» — руководить кем и чем?.. Там же, в бункере, находилось центральное управление всей промышленностью этого фантастического государства.

Ну вот; других новостей, собственно, нет. В начале апреля мы собираемся полететь на две недели в Чикаго; вероятно, побываем и в Сан-Франциско. Я давно уже ничего не получал от Яши и не знаю, как он там. Получал письма от Нины Кацман, но и она что-то давно не пишет. Элю Петруханову как-то раз, очень давно, случайно встретил на улице в Москве. Что с ней, где и как она живёт?

С Бродским я был знаком, бывал у него.

Посылаю вам обоим для развлечения опус о Двадцатом июля — к сожалению, довольно длинный. От Лоры привет. Vale!



*Мюнхен, 13 марта 2000*

Дорогая Оля, выйти на пенсию... м-да. Вероятно, в этом есть большой соблазн. Не вскакивать по утрам, не таскаться на работу, свободно располагать своим временем. Да и сама пенсия, судя по твоим словам, стала не столь мизерной. И всё же не могу себе представить тебя пенсионеркой. Означает ли это, что, уйдя «на покой», ты вовсе лишишься возможности преподавать?

До нашего полёта осталось 20 дней. Я не видел нашего внука почти два года. Само собой, он не сможет меня узнать. Кроме нескольких слов, услышанных от отца (только нескольких, потому что все кругом говорят по-басурмански: дома главным образом по-немецки, снаружи — по-английски), он не знает русского языка. А по-немецки говорить с малышом как-то неохота. Ощущение интимности в большой мере пропадает. Так хотелось бы почитать ему какие-нибудь русские книжки, как когда-то я читал моему сыну.

Я рад, что моё сочинение о Двадцатом июля не вызвало, кажется, у тебя и Яши протеста. Как-никак оно написано не совсем с российской точки зрения. Я занимался этой темой в разное время, когда-то, к 40-летию, подобрал материал для нашего журнала «Страна и мир». Потом однажды сделал часовую передачу для радио «Свобода», с голосами, с музыкой Малера. Пользовался ли я сейчас специальной литературой на русском языке? Увы, нет. Во-первых, она труднодоступна. Во-вторых, у меня было некоторое предубеждение — возможно, не всегда оправданное — против советских или послесоветских исследователей. Разумеется, я не являюсь специалистом историком, и моё произведение, как легко заметить, весьма далеко от науки. Но мне хотелось восстановить живое ощущение этой истории. Эта история меня необыкновенно волновала.

Писать на русском языке, для русского читателя — и не воспользоваться русскими источниками? Это, конечно, безобразие. Я утешал себя тем, что и русские работы о за-

говоре 20 июля по необходимости вторичны. Между тем у меня было и кое-какое преимущество. Я имел возможность прочесть или просмотреть множество материалов, может быть, малодоступных в бывшем Советском Союзе. Самое же главное то, что я живу в стране, где всё это происходило, и могу до некоторой степени взглянуть на историю и её действующих лиц изнутри. Между прочим, я знаком с одной пожилой дамой, баронессой фон Пёльниц (это имя упоминается в переписке Лейбница), которая молодой девушкой была секретарём генерала Штюльпнагеля, того самого, который так успешно действовал в Париже, а потом неудачно пытался убить себя. Я знаком с внуком одного из повешенных, бывшим «лектором» издательства, которое когда-то выпустило мою первую в Германии книжку, и с дочерью Эйгена Герстенмайера, видной фигуры Крейсаского кружка. В Плёцензее, в Берлине, я видел камеру, где приводились в исполнение смертные приговоры, с крюками, ввинченными в потолок.

Это совершенно особенное чувство — когда смотришь на события, так сказать, с другой стороны бинокля. Я помню, как меня поразила доска на деревенском кладбище во Фрейлассинге, на баварской границе, спустя два или три дня после того, как мы впервые пересекли эту границу. Это был длинный список фронтовиков, чаще всего совсем молодых людей, в сущности, мальчишек, и почти всюду после имени и даты смерти стояло: Rußland. Чуть ли половина мужчин этой деревни осталась лежать в России.

Что тебе сказать хорошего. Особых новостей как будто нет. (Я не говорю об удручающих известиях, которые последние месяцы приходили из нашего отечества и, к несчастью, довольно заметно понизили престиж страны.) Чуть ли не целый год, с небольшими перерывами, я занимался вместе с приятелем, американским профессором-славистом, книгой, которую, может быть, удастся выпустить — если получим грант. Шансы, впрочем, невелики. Кажется, я уже писал тебе об этой книжке, теперь она закончена. Это беседы, которые мы вели с ним через океан

с помощью e-mail, на литературные темы — что заведомо делает такое предприятие в смысле публикации малоперспективным.

Может быть, ко времени, когда придёт это письмо, ты уже оставишь работу. Времени будет больше. И, конечно же, семья от этого только выиграет. Что ты читаешь? Есть ли какие-нибудь планы на лето? Я никак не мог решить, что тебе прислать. В моём портфеле с шедеврами негусто. Посылаю два малосерьёзных — можно было бы употребить словечко Зощенко: маловысокохудожественных — рассказика. Будь здорова, Оля. Привет и поклон семейству.

## К М.Д. Малеву<sup>1</sup>

*Мюнхен, 13 июля 1998*

Дорогие! Наконец-то вы дома. Давным-давно, после прервавшегося звонка из Рима, не было от вас вестей. Теперь можно надеяться на более или менее регулярную переписку. Мы снова собираемся в сентябре в Чикаго — и, конечно, жаль, что вам не удалось там связаться с Ильёй. Чикаго, один из красивейших городов, какие я видел, теперь уже, по крайней мере, в пределах down town, мне более или менее знаком. Правда, только в этих границах он и великолепен. Отчасти знакома местность, которую наш сын величает русским гетто, её уж красивой вовсе не назовёшь. А были ли вы в гигантском Аквариуме? В прекрасном и необыкновенно богатом Institute of Art?

Что касается Нью-Йорка, где мы гостили несколько раз, то о нём невозможно отозваться сколько-нибудь кратко и однозначно, невозможно вообще высказаться, не сознавая, что любое наблюдение тотчас может быть опровергнуто. Первое впечатление, например, от Бруклина, было ужасным. Места и достопримечательности, которые ты упоминаешь, Мара, мне, конечно, знакомы. Я думаю, что я не мог бы чувствовать себя привольно в Нью-Йорке, вообще в Америке. Великая страна и величайший город, что и говорить. И вместе с тем удручающий. Я вспоминаю слова, которые я часто слышал от тамошних россиян: в Нью-Йорке надо промучиться год, потом поймёшь, что нигде больше жить невозможно. Но я бы не мог там жить. Я бы

---

<sup>1</sup> Марк Давидович Малев, физик, проживал в Австралии, переписка охватывает 1998–2003 годы.

там умер. Поразительно, — и это чувство повторяется всякий раз, — насколько Америка, при известном сходстве с нашим отечеством, далека и отлична от Европы. В прошлом году мы совершили с Юзом целое путешествие по Штатам, от предместья Чикаго Oak Park к канадской границе и Ниагаре и далее до штата Коннектикут. Несколько раз бывали в Вермонте, в городе Бостоне, одной из столиц российского Забугорья, ещё кое-где; этим, собственно, ограничивается мой опыт пребывания в стране, которую покойный Бродский называл Империей. С большой буквы, заметь.

Между тем наши дети приобрели в кредит квартиру в самом городе и переселились. Иакову, или Джеймсу, или просто Яше — короче, мистеру Файбусовичу jr. — стукнул второй год. Близится вторая годовщина. Человек этот изъясняется на наречии, в котором пока не удаётся распознать ни один из известных нам культурных языков. Можно предположить, что у него будет два родных языка, как ни дико это звучит, — ведь по-немецки родная речь именуется Muttersprache. Как бы то ни было, русский не будет для него родным, если вообще останется маломальски известным. Наш отпрыск повторит судьбу и путь своих далёких предков, и даже не таких уж далёких: ведь они ещё в XVIII веке, как можно догадываться, не имели представления о русском языке.

Лора работает у всё той же больной, полуздравствующей, вопреки всем предсказаниям. Я, как и прежде, время от времени совершаю литературные путешествия. Недавно был в дивном городе Фрейбурге, в университете, который помнит не только Гуссерля и Хайдеггера, но и схоластов XVI века. С новым компьютером я, как видите, кое-как наладил отношения, можно назвать их вооружённым миром. Но в интернет почти не суюсь, отчасти из-за лени и нетерпения ждать, когда соединишься (к этому, говорят, тоже есть противоядие), а более из-за того, что разочаровывает обилие мусора, которым завален, забросан наподобие американских трущоб этот медиум. Я, впрочем, приобрёл нау-

гад CD-ROM «Немецкая литература от Лессинга до Кафки», семьдесят с лишним тысяч страниц. В этой технике есть что-то устрашающее. Представь себе всю эту толпу писателей и поэтов, классиков, романтиков, эстетов, демократов, модернистов, визионеров, и вот им показывают жалкенькую пластинку вроде крышки от банки из-под варенья, кружок размером с оладью, и говорят: «Вот всё, что вы насочиняли».

«Октябрь» тиснул несколько посредственных рассказов и обещал в сентябре обнародовать произведение (небольшой роман), которое, надеюсь, введёт меня в славный круг земляных писателей-деревенщиков: действие происходит в живописной сельской местности. Месяца полтора тому назад я сподобился получить литературную премию города Гейдельберга, состоялась целая церемония. Осенью на ярмарке во Франкфурте будет выставлена книга вашего слуги, эпохальный роман (вам, кажется, уже знакомый) под названием «После нас потоп». Название это, увы, похерено; по-немецки книжка называется «Птицы над Москвой». Считается, что это звучит гораздо оптимистичней, а о том, что птицы налетели, чтобы бомбардировать столицу мира и всего прогрессивного человечества продуктами своей жизнедеятельности, проще говоря, дерьмом, читатель узнает, когда уже будет поздно — книга будет куплена. Правда, я ещё не помню случая, когда бы мои изделия сколько-нибудь успешно раскупались. И можно лишь удивляться тому, что издатели всё ещё печатают их вместо того, чтобы сказать: «Знаешь, батя, хорошего понемножку. Genug!»

Воспользуемся этим изречением, дабы на этот раз закруглиться. Дорогие Мара и Галя, будьте здоровы, пишите.

*Мюнхен, 31 июля 98*

Дорогие Мара и Галя, за окном, за нашим широким, если помните, во всю стену окном то дождь, то солнце. Слава Богу, жуткая жара спала. Я сижу, как всегда, дома. Я

должен вступить за честь Чикаго. Ещё до первого нашего путешествия я читал о знаменитой архитектурной школе Чикаго, и величие этого города, связанное отнюдь не только с семейными чувствами, поразило меня тем сильнее, что вообще-то я ведь весьма предубеждён против Америки. Что касается Institute of Art, то провинциальным его уж никак не назовёшь. Конечно (чего нет в Европе), перед хранителями стояла сложная задача примирить каким-то образом разные принципы экспозиции: сохранить в неразрозненном виде коллекции дарителей (и, само собой, начертать на стенах их славные имена) и вместе с тем не слишком нарушать хронологию и единство национальных школ живописи. При всём том, в отличие от чудовищно богатого Metropolitan, чикагская галерея, по-моему, обладает определённым своеобразием.

Книжный магазин в русском квартале (я не знал, что гетто называется Диван) мне знаком. Правда, только один из двух, о которых ты пишешь, Мара. Вагриус и прочие тогда ещё не украшали столы и полки, которые были завалены и заставлены главным образом сочинениями советских классиков. Когда в первый раз я туда вошёл, то увидел в глубине человека в траченном молью художественном берете, он сидел за телефоном и распределял «билеты на Евтушенко». Какие-то старухи осаждали его, он отвечал: «А ты сиди дома, я же сказал — сиди дома». Потом как-то раз, накануне нашего следующего прилёта, позвонил из штата Коннектикут Юз и сказал, что хочет организовать моё выступление в чикагском магазине, за которое-де хозяин отвалит приличные бабки. Позвонил и сам хозяин. Это оказался тот самый человек в бархатном берете, какой-то бывший режиссёр, «чудом спасшийся от большевиков», как профессор энтомологии на тараканьих бегах в пьесе Булгакова «Бег». В магазине, когда я приехал, висели два больших портрета: Ахматовой и владельца лавки, который тоже оказался писателем и вручил мне свои произведения (я их оставил Илюше, а тот отнёс их самым непочтительным образом на помойку). После выступления владелец

щедро вознаградил меня двадцатью пятью долларами, из которых десять ушло на такси, а его брат всучил мне конверт с какими-то деньгами, которые я должен был кому-то переслать в Германии.

С сочинениями Пелевина я немного знаком; когда-то, когда он ещё не был так известен, сделал о нём радиопередачу. Это писатель с необыкновенно развитой, причудливо-неожиданной фантазией и безошибочным чувством рынка. Мне подарили недавно томик его произведений. В России, насколько я могу судить, это один из самых модных и любимых авторов. Но читать его мне скучно.

Ну вот; что ещё? Завтра начнётся последний месяц лета. Мы с Лорой иногда вылезаем в оперу. Дома я слушаю музыку и перелистываю разные книжки. Занимаюсь своей литературой, что же мне ещё остаётся. Жаль, что вы не заглянули в Европу. А кто такой Эмиль Трахтенберг?

Пишите, дорогие. Целуем вас.

*Мюнхен, 3. 01. 1999*

Дорогие Мара и Галя! Надо приучаться к этим трём девяткам. С новогодними поздравлениями я, видимо, уже опоздал. И всё же пожелаем друг другу, чтобы этот год пролетел не так быстро, чтобы время не сочилось, словно вода между пальцами. И чтобы паркинсонизм так и остался в начальной стадии.

Мы с Лорой встретили Новый год так: она приехала со мной, мы прибыли в дом, где она работает, пациентка была уже уложена и пребывала в обычном для неё промежуточном состоянии между сном и бодрствованием, между жизнью и смертью. Мы недурно поужинали, дождались двенадцати часов, подняли бокалы с вечно юной *veuve Clicquot*. Потом снова ехали по ночному городу, среди хлопанья пиротехнических ракет. Остаётся последний праздничный день — Три Волхва, и вся эта вакханалия закончится.

Штат Иллиной(с), включая город Чикаго, занесло снегом метровой толщины, и даже в Австралии, как я



увидел по телевидению, ни с того ни с сего произошёл снегопад, — неужели это правда? (Кроме того, в Сиднее был устроен какой-то невероятный новогодний фейерверк.) Наши дети живут без перемен, Яше пошёл третий год, и он произносит короткие фразы, главным образом по-немецки. В Мюнхен они, увы, не собираются.

Ну, а что касается нас с Лорой... Работа продолжается, бабуся всё ещё жива. Я сражаюсь с радикулитом, худшее время — утро, после плавания в бассейне зверь постепенно затихает. Пытаюсь что-то делать, о чём-то писать. ПЕН-клуб отвалил мне премию (небольшую). Свой компьютер я, как вы можете заметить, освоил на элементарном уровне, то есть на таком, который не только необходим, но и вполне достаточен для моих занятий. Но сама машина этим, видимо, недовольна и то и дело подсовывает мне разные сюрпризы. Работа с компьютером напоминает сложное лавирование между волчьими ямами, назначение которых — дать по мозгам потребителю.

Безудержная модернизация приводит к тому, что ничто не делается в простоте: любую задачу можно детализировать до бесконечности. Как если бы, прежде чем пойти в магазин за хлебом, ты должен был ответить, как именно хочется тебе идти: а) короткими шажками, б) прыжками, в) ползком, г) танцуя, д) с сигарой в зубах, е) без сигары и так далее. Так как любая операция усложнена, то тебе предлагается дополнительная процедура по упрощению операций, которая сама по себе не менее сложна, чем та, которую она сокращает, а также разные виды помощи, не отличимые от медвежьих услуг.

Маканина я немного читал и однажды познакомился с ним; его последний роман со странным названием без буквы «р» («андеграунд»; всё равно, что сказать: компьютер) как-то меня не вдохновил: я не выношу стёба. Кабакова, мне кажется, я вообще не мог бы осилить. Что ты ещё читаешь?

У нас новость: общеевропейская валюта.

Целуем.

*Мюнхен, 31 марта 1999*

Дорогие Мара и Галя, я изрядно задержался с ответом. Была скверная полоса, я хворал радикулитом, гриппом, перед этим был слегка оперирован по поводу геморроя — болезни бухгалтеров и сочинителей и, наконец, провёл три недели в санатории, где плавал в термальных водах и подвергался разного рода хитроумным процедурам. Лора ездила на полмесяца в Чикаго, надо было пасти внука, так как Сузанне отправилась на курсы усовершенствования в Вашингтон. Между тем настала весна, которая, правда, мало чем отличается от зимы, осени, бабьего лета, просто лета и какие там ещё бывают времена года.

О докторе Лэйнге я по невежеству не слыхал. Зато в своё время мне пришлось тоже довольно много заниматься психиатрией, правда (в отличие от обязательного курса в медицинском институте), книжным образом: я подрабатывал за мизерную плату устными переводами в Центральной медицинской библиотеке для сочинителей диссертаций и одно время читал вслух (т.е. переводил) умопомрачительное количество материалов по психиатрической генетике, которую тогда пытались возродить в Советском Союзе. Давно было дело.

Вообще же, конечно, — увлекательная область, по крайней мере, в теории. Я помню, я одно время был увлечён идеей Ясперса и экзистенциалистской психиатрии о том, что бред душевнобольного (речь шла в первую очередь о шизофрении) — это его способ искать контакта с миром и врач, чтобы в свою очередь суметь вступить в контакт с пациентом, должен научиться «мыслить психопатологически». Встреча, так сказать, на территории противника. Надо сказать, что это довольно рискованный рецепт, если я его правильно понял.

Между прочим, я заметил, что в России распространилось морфологически нелепое словечко «параноидальный». Вероятно, оно было образовано по ложной аналогии с «пирамидальным». На самом деле существуют два разных слова: параноидный (параноидная форма шизофрении) и

паранояльный, то есть характерный для паранои, паранояльный бред. Ещё одна нелепость — «холокост». Полуграмотные журналисты вычитали его из американских газет, не зная, что в русском языке давно существует слово голокауст (всесожжение), пришедшее непосредственно из греческого и сохраняющее его исконное произношение. Вдобавок «холокост» ужасно звучит для русского уха.

Литература моя в последние месяцы зачахла, хоть я и пытался что-то делать. Написал несколько статей по заказу для журнала «Искусство кино», а ещё сочинил рассказ о графе Дракуле. Известен ли в Австралии такой персонаж? «Октябрь» отвалил мне годовую премию, крошечную, разумеется, за роман «Далёкое зрелище лесов», там же и напечатанный. Можешь ли ты читать этот журнал в Интернете? вообще московские журналы?

Сам я читаю, к сожалению, куда меньше, чем перелистываю. Читал толстый том мемуаров Эммы Герштейн (о Льве Гумилёве, Ахматовой, Мандельштаме и Мандельштамхе).

Впервые слышу, чтобы собаки болели эпилепсией.

*Мюнхен, 1. 05. 1999*

Дорогие наши! Сегодня Первое мая. Эти слова в детстве нашем звучали, не правда ли, совсем по-другому, чем теперь. Все дни как бы слились в один, и я помню до последних подробностей этот день, начиная с момента, когда я просыпался от звуков музыки на улице и видел в окне — ведь мы жили, как ты помнишь, на первом этаже — треплющийся край красного флага. В Германии, между прочим, 1 Мая тоже числится государственным праздником Труда, в память о социалистическом и рабочем движении, на улице тишина, всё зелено, распевают птицы. Я ездил недавно в Саксонию-Ангальт, одну из новых восточных земель, на очередное ПЕН-мероприятие, которое происходило в прекрасном замке в лесу. Были устроены на закуску две экскурсии — в Виттенберг и Цербст. Виттенберг город

известный и, к счастью, более или менее сохранившийся. Что касается Цербста, откуда когда-то приехала в Россию будущая Екатерина II, то он производит ужасное впечатление: город, некогда хранивший свой средневековый облик, теперь похож на человека, оставшегося в живых, но у которого срезано лицо. Он ходит, ест, пьёт, даже разговаривает, из каких-то щелей смотрят глаза, — а лица нет. От прекрасного дворца осталась руина: на восстановление нет денег, да и неизвестно, можно ли его вообще восстановить; снести же оставшуюся центральную часть, как были после войны снесены крылья дворца, жалко; так она и стоит. Стоит и собор, наполовину разрушенный, наполовину функционирующий. Теперь я сижу дома, пытаюсь что-то делать, кое-что почитываю. Граф Дракула закончен и оказался, увы, не лучшим из творений прославленного автора. Впрочем, там речь идёт даже не о самом графе, а о некой даме, его пра-, пра- и так далее внучке. Она тоже вампирша, а может, только притворяется, в угоду традиции. Милана Кундеру я читал — несколько книг и статей — и так и не могу понять, хороший ли роман «Невыносимая лёгкость бытия» или это какая-то искусственная словесность, подозрительно напоминающая изделия из синтетических материалов. Зато мне определённо понравилась эссеистическая книга, первая, написанная автором уже не на родном языке, а по-французски, «Преданные завещания», я читал её лет восемь тому назад. «Бессмертие» прочесть не удосужился. А что, кстати, слышно о Мише Голубовском, где он и что он? В Интернет я иногда заглядываю, однажды даже увидел там обломки моих сочинений.

*Мюнхен, 14 июня 99*

Дорогие Мара и Галя, дорогие австралийцы... У нас лето, у вас зима, вы ходите вверх ногами, мы ходим вверх головой, положение, судя по актуальным событиям, не прибавляющее ума; зато каким отдохновением, праздником роскошной старой Европы выглядит парад по случаю дня

рождения королевы, — надо оговориться: вашей королевы, — который телевидение транслирует из Лондона. Вдоль всей площади висят знамёна Содружества, и я вижу среди них австралийский флаг. Именинница, в жёлтом, сидит на помосте с недовольно-подозрительной миной, но это обычное для неё выражение лица, дамская сумочка у её ног, справа зонтик. Погода терпимая. Перед этим объезд войск, за коляской едут верхом четыре принца, в том числе бравая Энн в адмиральской форме и шляпе, похожей на дредноут; впрочем, всё это вы, наверное, тоже видели, и не раз.

Прочитав о том, как вы распределяете среди энтузиастов чудодейственные пилюли (других пилюль, как известно, не бывает), я вспомнил книжку Якова Перельмана «Занимательная математика», которую я получил в подарок на день рождения лет 60 назад. Вероятно, и у тебя, Мара, была такая книга. Там был рассказ под названием «Лавина дешёвых велосипедов» и ещё две притчи на тему о коварных свойствах геометрической прогрессии. В одной говорилось об изобретателе шахмат, который попросил у правителя в награду дать ему столько пшеницы, сколько уместится на доске: на первой клетке одно зёрнышко, на второй два, на третьей четыре, на четвёртой восемь и так далее, — и была сделана попытка подсчитать, сколько это получится, когда дойдут до 64-й клетки. Зерна хватило бы, чтобы покрыть всю земную сушу слоем в несколько сантиметров. Другая история была о римском императоре-скупердяе, который, очевидно, что-то смыслил в математике и наградил своего полководца деньгами, «столько, сколько унесёшь», при условии, что монета каждый день будет удваиваться по весу. В первый день ветеран унёс из дворца денарий, подкидывая его на ладони, во второй день держал монету в кулаке, на четвёртый или пятый день катил её перед собой, на пятый или шестой с великим трудом, помогая себе копьём, докатил громадную монету до порога и свалился.

Но печальней всего, если помнишь, кончилась первая история. Велосипед стоит сто долларов, ты покупаешь его за

10 долларов: платишь фирме 100, а на 90 долларов распределяешь заказы среди друзей; каждый повторяет эту операцию, городишко небольшой, и очень скоро продавцов оказывается больше, чем покупателей, а мошенники тем временем смываются. Так вот, не грозит ли вам что-нибудь в этом роде?

За вырезки из «Известий» спасибо, имена авторов мне, конечно, знакомы. Несчастье (или благословение) журналистики состоит, однако, в том, что написанное сегодня завтра уже не актуально. Или, как сказала Цветаева, завтрашняя газета устарела. Просматривая журналы в Баварской библиотеке, я наткнулся на одну поразительную — по крайней мере, для России — статью в «Новом мире», кажется, в 4-м номере. Она называется «Сорок дней или сорок лет».

У нас особых новостей нет, внук Яша начинает говорить с нами по телефону, но, увы, не по-русски.

*Мюнхен, 5 авг. 99*

Дорогие Мара и Галя! Миша Голубовский прислал (несколько времени тому назад) и мне свои статьи о Ветхом Завете и о покойном Эфраимсоне; я ответил ему тогда же. Чтобы не повторяться, посылаю вам копию моего письма. А.А.Зиновьева я знал в первые времена нашей жизни в Германии, позднее он жил недалеко от нашего нынешнего жилья, но я с ним уже не виделся. Его очень громкая слава оказалась недолговечной. Вместе с тем он был, чуть ли самым плодовитым автором эмиграции (писателем я бы его не назвал, философом он никогда не был). В последние годы он окончательно скурвился. Стал журналистом «Правды» и т.п.

Я помню, как когда-то в Москве Бен Сарнов дал мне почитать «Зияющие высоты», сделавшие Зиновьева мировой знаменитостью. У меня хватило терпения одолеть лишь первые 10–12 страниц. Подозреваю, что, как и в случае с колёсами Солженицына, лишь немногие сумели дочитать рыхлые, хаотические и невероятно многословные

«Высоты» до конца. О других сочинениях и говорить нечего. В мюнхенской Толстовской (русской) библиотеке был устроен по случаю его отъезда на родину прощальный вечер. В «Известиях» появилась довольно язвительная статья под названием «Туда и обратно».

Я помню, как я услышал от Голубовского о тебе, Мара. Около этого времени в «Химии и Жизни» появилась одна женщина, не могу вспомнить её имени, приятная дама маленького роста, работавшая, если не ошибаюсь, в журнале «Эко» (который мы, между прочим, выписывали в годы перестройки для нашего бывшего журнала здесь, в Мюнхене), — и она тоже говорила о тебе с большим почтением. «Мудрый Марк», говорила она. Из этих рассказов следовало, что ты был душой дискуссионного клуба в Городке. Что стало с этим клубом (я его, кажется, уже не застал)? Что вообще слышно о твоих бывших коллегах, тех, кто приходил к вам?

В конце сентября мы с Лорой собираемся полететь на Балкарские острова — первый Лорин отпуск за все последние годы. Это, конечно, не Папуа, но зато ближе. Я веду прежний образ жизни. Последнее время писал какую-то лабуду. Недавно вещал (т.е. делал доклад) в Католическом университете городка Эйхштетт на тему «Националистическое и революционное искушение». Как тебе это нравится?

У наших ребят в Чикаго (где в этом году убийственная — в буквальном смысле слова — жара) шансы получить Green card скорее уменьшаются, чем увеличиваются. Не исключено, что им придётся на время вернуться в Германию. Мы слышим голос внука по телефону.

Разглядывая марки на австралийском конверте, я заметил надпись, сделанную, очевидно, на почте в Канберре: «Hand adressed? Use postcode». Что бы это значило?

*Мюнхен, 27 авг. 99*

Дорогие Галя и Мара,

замечательное выражение «выехала замуж» (в США или куда-либо), — ты его услышал или сам придумал? Вы-

езжает ли кто-нибудь замуж в Австралию? Странное дело: для меня и, вероятно, для Лоры гораздо более реален континент Патрика Уайта («Древо человеческое», The Tree of Man), чем Австралия, где вы обретается. Популярен ли этот писатель там у вас?

Кстати, о книгах... Я иногда заказываю кое-что из России в одной обосновавшейся здесь книготорговой фирме и вчера получил солидно изданный, в переплёте с тиснением двухтомный словарь «Русские писатели, XX век», пособие для учителей и всех «интересующихся». Это поразительная книга. Среди пятисот писателей есть довольно много эмигрантов. Употребляется много церковных речений, все титулы — с большой буквы, употребляются такие слова, как государь и пр. Тем не менее впечатление такое, как будто книга составлена лет 15 или 20 назад. Среди авторов статей несколько одиозных личностей, прочие — вовсе неизвестные люди, и ни одного приличного литературоведа: что они, все разъехались, что ли? Что же касается самих писателей... Сергей Михалков, Георгий Марков, Михаил Алексеев, Пётр Проскурин, какой-нибудь Лебедев-Кумач, Александр Жаров, Анат. Софронов, Ник. Грибачёв, Всеволод Кочетов, Станислав Куняев, даже Проханов — все эти (и, конечно, многие другие) непристойные имена не то чтобы упомянуты, но удостоены длинейших хвалебных статей с перечислением всех их должностей и орденов. Об одном из погибших сказано: «арестован органами правопорядка». О Есенине написано: погиб при невыясненных обстоятельствах. То есть тебе хотят сказать: сообщения о том, что великого русского поэта умертвили евреи, — не знаем, может, и правда. Поразительна бездарность всех без исключения текстов. Советские клише, советский лексикон, манера то и дело ставить в кавычки идеологически неугодные термины и т.п., какая-то удручающая провинциальность суждений и оценок и, разумеется, ханжеский православный национализм. К этому, конечно, надо привыкать, я то и дело слышу разговоры о реставрации.



А так — особых новостей нет. В Мюнхене жарко, последние вздохи лета, которое в этом году вообще-то было дождливым. Мы с Лорой иногда ездили на пригородное озеро купаться, но она, как прежде, работает и дома бывает только два дня в неделю.

Целуем и обнимаем.

*Мюнхен, 1 ноября 99*

Итак, уже первое ноября, ещё два месяца, и... не смущает ли вас этот рубеж, дорогие Мара и Галя? Кстати, я так и не знаю, как решилась проблема с датами в компьютерах, и решилась ли. Надо ли что-нибудь предпринимать? Некоторое время тому назад много говорили о том, что компьютер не распознаёт дату, которая оканчивается на три нуля или не может её воспроизводить, что-то в этом роде, и что это будто бы грозит гибельными неполадками во всех программах. Известно ли тебе, Мара, об этом что-нибудь?

Мы вернулись из двухнедельного отпуска на острове Маллорка уже довольно давно, я задержался с письмом. Всё было очень хорошо, за исключением двух вещей — поп-музыки, вызывающей желание повесить исполнителей за яйца (если таковые имеются), и гриппа, который я подхватил за несколько дней перед отъездом от бывшего у нас проездом из Москвы Юза Алешковского, — сначала я, а потом Лора. Это подпортило долгожданный отпуск. Остров — самый крупный в Балеарском архипелаге и в курортных местах германизирован до такой степени, что можно говорить об экономической колонизации.

Особенных новостей нет. Green card наши дети в Чикаго не получили, неизвестно, получают ли; во всяком случае, бюрократические жернова в Америке вращаются очень медленно, ещё медленней, чем в европейских странах. Так что Сузанне, у которой разрешение на пребывание в Штатах истекает раньше, чем у Ильи, готовится приехать в феврале в Мюнхен, чтобы сначала пройти «интервью» в разных местах предполагаемой работы, а потом посту-

пить на работу сроком — предварительно — на год. Если зелёной карты так и не будет, оба вернутся в Германию. Мальчик, по-видимому, на время этих интервью останется с отцом в Чикаго, и тогда Лоре придётся снова поехать, чтобы присматривать за ним. Ему вот-вот стукнет три года.

Между прочим, телевизор о котором ты пишешь, с экраном размером в половину школьной тетрадки или около того в витрине магазина «Радио» у Колхозной площади, я видел ещё перед войной — хорошо помню, — а однажды даже выступал по телевидению с чтением стихов Маяковского «Кем быть?» Стихи я тоже помню. На всякий случай я держал в руках, так, чтобы не видно было зрителям (зрители, следовательно, всё же были), листки с текстом и бросал их на пол. Мне было лет девять, я каким-то образом оказался среди детей, выступающих по радио. Но это было на этот раз не радио, а именно телевидение, и стоял я не перед микрофоном, а перед таинственным тёмным зеркалом. У диктора Герцога (которого, может быть, ты помнишь), высокого красивого дядьки, были покрашены губы. Хор под управление Кувыкина пел песню.

*Мюнхен, 21 янв. 2000*

Дорогие Мара и Галя! Читая твоё письмо, Мара, я и сам начал путаться; но мне кажется, всё восстанавливается. После перекрёстка, о котором ты упоминаешь, слева, там, где находился Юсуповский сад и дворец (в котором помещалась сельскохозяйственная академия имени Тимирязева), был Малый Харитоньевский переулок, он выходил на Садовое кольцо. Направо от перекрёстка — Большой Харитоньевский, доходивший до Чистопрудного бульвара с трамвайной линией «А», этот трамвай, если ты не забыл, назывался Аннушкой. Минуя перекресток по продолжению Большого Козловского пер. начинался короткий Фурманский переулок. Где был расположен Малый Козловский, не могу вспомнить. Кстати, я где-то читал, что Козловский переулок назван по имени домохозяина Козлова, жившего здесь в XVIII веке. Напротив нашего дома нахо-

дилось чехословацкое посольство; я хорошо помню, как я и ещё несколько детей стояли на мостовой и смотрели, как из машины перед подъездом вылезал офицер в шинели цвета хаки с погонами, которые тогда выглядели весьма экзотически. Мы играли с детьми из посольства. За поворотом, за большой стеной, спускавшейся к улице Кирова (теперь она опять Мясницкая), был сад, и липы в конце мая пахли так, что я и до сих пор вспоминаю наш переулок, когда цветёт большая липа здесь перед нашим домом. Рядом с посольством, как раз напротив наших окон, — мы жили, как ты помнишь, в первом этаже, — когда-то находилась шахта метро. (Станция «Красные ворота», как и следующая за ней «Кировская», входила в первую открытую в 1935 г. линию метро от Сокольников до Парка Культуры и считалась замечательной тем, что была самой глубокой станцией метро после «Кировской» — около 50 метров.) Однажды я видел из окна, как приставная лестница с рабочим поехала вниз, но остановилась, зацепившись за что-то. Помню, как к празднику на шахте вешали огромные буквы: «XVI Октябрь»; мне было, следовательно, пять лет. Позже на этом месте был сквер, где зимой мы кувыркались в снегу. Левее (если стоять лицом к посольству), в бетонном здании несколько конструктивистского пошиба, с длинным балконом вдоль всего дома, находилось какое-то училище, а ещё позже — министерство военноморского флота. Офицеры, никогда не видевшие моря, в блинообразных фуражках с золочёным крабом и капустой, с нелепо висящими кортиками, проходили под нашими окнами. Дом, где жил Папанин, мне хорошо известен, видел я и самого героя. Это лишь немногие подробности; вообще же я помню очень многое из нашей довоенной жизни, детство запомнилось с удивительной чёткостью.

Над всей Германией идёт снег, у нас метель и всё занесено, как в России. Но не холодно. Живём мы так-сяк, по-маленьку. Видимо, в начале апреля отправимся, если будем здоровы, недели на две за океан, кажется, я уже писал об этом.

Твой почерк остался таким же, как был.

Я пользуюсь электронной почтой и грамотой, которую ты называешь Pidgin Russian. Но для длинных текстов прибегаю к attachment, у нас это называется Anlage.

Будем считать, что это письмо посвящено воспоминаниям. Обнимаем и целуем.

*Мюнхен, 23 марта 2000*

Дорогие Мара и Галя, отвечаю Вам с непростительным запозданием: суета, а также мать всех пороков — лень. Мы собираемся 3 апреля лететь к внуку — теперь ему уже три с половиной года — в Чикаго, где должны пробыть до 18 апреля, в промежутке Илюша предлагает нам совершить путешествие в Сан-Франциско, город, который он хорошо знает. В эти недели Сузанне, наша сноха, будет находиться в Мюнхене и ездить в другие города на предмет поиска работы, так как осенью срок разрешения на пребывание в Соединённых Штатах истекает, а Green Card в лучшем случае лишь маячит на бюрократическом горизонте; несколько позже, по-видимому, придётся вернуться в Германию, по крайней мере на некоторое время, и нашему сыну.

Через неделю, всё получилось как-то вместе, я должен буду поехать на три дня в один замок под Бонном, где снова состоится собрание ПЕН-клуба. Можно было бы, конечно, вполне избежать этого, но неудобно отказаться.

Моя кириллица, вероятно, вполне подходит для переписки по способу, о котором ты пишешь, Мара, но я не совсем понял, что значит «подписать на mail.ru». Где подписаться? Приеду, разберусь. Вообще-то я переписываюсь по e-mail с Вашингтоном, книга, которую мы затеяли с Джоном Глэдом, уже почти готова. Но, посылая иногда довольно длинные тексты по-русски, и не только в Америку, я пользовался тем, что у нас здесь называется Anlage, а по-английски attachment: так можно посылать письма на любом языке, хоть по-хеттски.

Ну-с, я тоже, как и ты, не утратил интереса к российским делам, хотя черпаю информацию почти исключи-

тельно из немецких телевизионных передач, дискуссий и т.п. В последние дни, ввиду приближающихся выборов, их было довольно много. Результат выборов, конечно, предопределён. Ничего хорошего я не ожидаю. Я проглядываю время от времени русские литературные журналы; газеты мне читать скучно. Самый слог их таков, что ежеминутно чувствуешь, как далеко ты отошёл — или отстал — от этой базарной речи, не говоря уже о содержании, порой совершенно гротескном. Но я подозреваю, что даже если бы мне пришлось жить в России, я испытывал бы то же самое. Какое-то странное предназначение — быть эмигрантом, внутренним или внешним, независимо даже от политического режима и климата.

Ты познакомился с Мариэттой Чудаковой. Как автора книг, статей, дневниковых записей (недавно опубликованных) я её высоко ценю. Русофильский уклон для меня некоторая неожиданность. Но в России как-то не принято стыдиться национализма.

Насчёт опросов. Гриша Померанц писал мне недавно, что даже среди либералов высок процент лиц, «позитивно» относящихся к возвращению на постамент Железного Феликса. А что ты скажешь о торжественной церемонии установления мемориальной доски в честь Андропова?

*28 мая 2000*

Дорогие Мара и Галя! Вернувшись из Баденвейлера, я застал твоё письмо, Мара. Письмо нас ошарашило. Вот, значит, какие дела... Но твоя информация об эффективности гормональной терапии, может быть, не совсем точна. Опухоль предстательной железы относится к числу гормонально управляемых, и соответствующее лечение практически даёт неопределённо долгий положительный результат. У меня есть два товарища, люди нашего с тобой возраста, одному диагноз был поставлен 14 или 15 лет тому назад, другому — лет пять назад. Оба постоянно принимают гормоны и практически здоровы.

Баденвейлер (там происходило чтение) — курортный городок, где умер Чехов, в местности, называемой Брейсгау, между Шварцвальдом и Нижним Рейном, вдоль которого проходит граница с Францией; юго-западный угол нашего богоспасаемого государства. Привольные, красивые и ухоженные места. Были за это время и другие поездки: в апреле мы с Лорой посетили Чикаго, оттуда полетели вместе с Ильёй и внуком Яшей в Сан-Франциско и совершили путешествие в обширнейший Yosemite National Park, где видели разные чудеса. Осенью, как я уже писал, наша сноха Сузанне вместе с Яшей — ему, между прочим, уже три с половиной года — возвращается на некоторое время в Германию, где она нашла подходящую работу (в Майнце). Илюша, по видимому, всё же получит вождеденную зелёную карту, но когда — хрен знает.

Лора работает по-прежнему, у меня особых новостей, если не считать мелкие хвори, нет. Книга разговоров о литературе и эмиграции, которую мы составили с Джоном Глэдом, готова, но обещанный грант улыбнулся, как когда-то говорили в России. Не ведаю, удастся ли её издать. Я печатаю кое-что время от времени, главным образом в журнале «Октябрь», кое-что в Германии; особо хвастать нечем.

Ты упомянул «некоего Бориса Носика», — я знал его, познакомился с ним однажды в Голицыне. В России он был известен как автор первой русской биографии доктора Альберта Швейцера и переводчик: кажется, переводил Ивлина Во. Потом переселился в Париж и нашёл себя в бульварно-биографическом жанре. Я когда-то печатал его в нашем бывшем журнале «Страна и мир». А вот Ключевский... У меня когда-то было собрание, пять или шесть томов в синих переплётах, но читал я их лишь урывками. В прошлом году я побывал в Цербсте и вспоминал блестящие страницы о Екатерине. Она ждала там пять месяцев, когда двинется в путь свадебный поезд. У Ключевского сказано, что 16-летняя принцесса привез-

ла с собой в Россию в качестве приданого три мешка старых платьев. Но развалины роскошного дворца позволяют предположить, что семья была далеко не бедной.

Я перечитывал мемуары Нины Берберовой (читал их лет двадцать назад). Знаком ли ты с этой книжкой?

*12 августа 2000*

Дорогие Мара и Галя, я связываюсь таким способом с Америкой, изредка с Россией; посмотрим, что получится с Пятым континентом. Сегодня пришло ваше письмо от 7 авг. У нас после месяца дождей наступила прекрасная погода; жарковато. Как и ты, Мара, я стал тяжёл на подъём; тем не менее мы отправляемся через два дня на Всемирную выставку в Ганновер, столицу Нижней Саксонии. Это довольно далеко от нас, по западноевропейским, разумеется, масштабам. Я бывал в этом городе — мысленно, когда занимался Лейбницем, но тогда, то есть в начале XVIII века, в нём было 10 тысяч жителей, не считая местного монарха (вскоре ставшего английским королём) и самого философа. Был там и наяву, когда приехал в Германию. А в сентябре, представь себе, я снова затеял путешествие в Москву, дней на 12, если получится. Говорю так, потому что формальности не упростились, наоборот, и в консульстве по-прежнему стоит густой аромат тайной полиции; да и как могло быть иначе. Эти люди всё так же прячутся; с тобой разговаривают через чёрное стекло. И так далее. Кроме того, мне предстоит ещё несколько поездок, но уже в пределах Германии. В начале октября приедет Сузанне с нашим прославленным внуком.

Лора работает, — не постигаю, как она может справляться с этими жуткими обязанностями. Сколько мужества, выдержки, терпения надо иметь; я бы никогда не мог. Мои литературные дела... что сказать о них? «Октябрь» поместил довольно обширный текст под названием «Десять праведников в Содоме», это история антигитлеровского заговора 20 июля с разными отступлениями. Я печатал

ещё кое-что, здесь и там. Я сочинил повесть, действие которой происходит во время войны, называется «Третье время». Меня как-то сильно увлекла тема абсолютной несовместимости внутренней жизни человека (в данном случае подростка), в сущности, единственно подлинной жизни — с историей, которая эту жизнь обесценивает, если не попросту отменяет. Старая коллизия, разумеется, но, может быть, никогда не бывшая столь жестокой, как в только что минувшем веке. Я читал разные военные материалы и думал о том, что война и победа разрушили весь народ, разгромлены и победители, и побеждённые, и следы разгрома ощутимы по сей день. Написал также несколько разных мелочей. Я пишу и стараюсь не думать, для кого и для чего я это делаю. По сути дела ни для кого и ни для чего.

С романом «Монументальная пропаганда» я знаком и время от времени вижусь с автором. Конечно, я не могу сказать ему о своём впечатлении. Возможно, он о нём догадывается. Это произведение для меня лично не представляет интереса — ни историко-документального, ни тем более литературного и эстетического. Я вообще живу в какой-то совсем другой литературе.

Читаю я, по правде сказать, мало. Чукча не читает, а пишет. Я читал английскую биографию Хорхе Борхеса, только что вышедшую по-немецки, даже написал на неё рецензию, а сейчас читаю другую биографию, третьё из выпущенных одно за другим в последние годы толстенных жизнеописаний Томаса Манна. Кое-что иногда читаем вслух, как встарь, и почти исключительно по-русски. В Интернете проглядываю московские журналы, нахожу иногда кое-что любопытное и небесталанное, но больше как-то скучаю. Это совокупный эффект возраста, географии и внутреннего отчуждения. Дорогие, крепко целуем Вас, надеемся, что Вы более или менее в порядке. Ваши Г. и Л.

*P.S. 18.08.2000*

Дорогие, это то самое письмо, которое я послал вам 12 авг. в виде attachment. По-видимому, вам не удалось его



открыть. Мы только что вернулись из Ганновера. В вашем последнем e-mail есть тоже attachment, и оказалось, что его тоже невозможно открыть. Так что я возвращаюсь к доброй старой почте. Ваш Г.

*Мюнхен, 2 авг. 2000*

Дорогие! Хотя после Ганновера прошло совсем немного времени, выставка стала как-то забываться; такие впечатления не бывают прочными. Но впечатлений было много, и в общем мы не пожалели об этом путешествии. Осмотреть всё на двух огромных территориях, бродя по аллеям, катаясь туда-сюда в специальных автобусах или проплывая сверху в кабинах канатной дороги, конечно, было невозможно. Мы побывали в разных местах и павильонах, выбирая главным образом те, перед которыми не было чересчур долгих очередей (рекорд, по-видимому, побили Нидерланды: перед огромным павильоном, где на каждом этаже был сад, стоял, извиваясь, хвост, напоминавший лучшие времена в России). Были очень удачные павильоны, например, французский, с хорошо продуманной, полной неожиданностей композицией, пронизанной единой идеей движения. Были совершенно бездарные — со своими рекордсменами. Некоторые государства, преимущественно восточноевропейские, располагались не в отдельных павильонах, а в огромных ангароподобных сооружениях, друг подле друга: Россия, Украина (пожалуй, самая бездарная композиция, состоящая из больших рекламнотуристических фотографий и всяческого национального кича, с главным героем — президентом Кучмой), Грузия, Армения, Башкортостан (так теперь это называется), Татарстан и т.д. Тут же некоторые другие, Израиль с нарочито скудной, очень формальной экспозицией. Некоторые очень бедные страны, какая-нибудь Венесуэла, размахнулись явно не по карману. Австралии, Новой Зеландии, а также Соединённых Штатов вообще не было. Зато большой, изукрашенный, с какой-то золотой блямбой на куполообразной крыше, с хорами из резного дерева, храм-

павильон королевства Непал являл весь набор, всю са-крально-балаганную роскошь азиатского кича. Внутри, в центре этого храма помещалась сложная индуистская скульптура с многими конечностями и головами; думаю, не все догадывались, что она изображает: сидячее любовное соитие человеко- и быкоголового бога с раскоряченной многорукой богиней.

О выставке много говорили и говорят в газетах и по телевидению — но главным образом о том, что она обернулась финансовой катастрофой. Убытки исчисляются миллиардами марок, идёт спор, кто будет платить: бунд (т.е. общегосударственная казна) или федеральные земли. Пока что пришлось срочно впрыснуть большую сумму, чтобы дотянуть до 31 октября. Считалось, что это вызвано недостаточным наплывом посетителей, но огромные очереди перед многими павильонами как будто говорят об обратном. Возможно, самая идея всемирных выставок изжила себя. Кроме собственно выставочных павильонов, там ещё много всякого. Какая-то компания одержимых бесом африканцев устрашала публику яростной игрой на барабанах разных калибров (им, впрочем, усердно аплодировали). На другой день они убралась, и я почувствовал огромное облегчение.

Ну вот; что сказать вам ещё нового. Против ожиданий в российском консульстве всё сошло гладко, при втором или третьем визите я даже заметил, что убрали, наконец, чёрное стекло. Я заказал и получил билеты на самолёт и собираюсь, если ничего не случится, отправиться в Москву в понедельник 11 сентября, а вернуться 24-го. К сожалению, еду я solo, Лора не может оставить работу. Конечно, делать там особенно нечего. Всё же я надеюсь повидать Толю (он договорился со знакомыми о квартирке, за которую я уплачу) и разных старых друзей, побывать в редакциях. Теперь это будет последняя поездка. Боюсь, впечатления мои не будут приятными. Теперь эти дураки канонизировали Николая; да мало ли ещё всяческого абсурда.

А о том, что наша сноха с Яшей приезжает в начала октября на неопределённый срок в Германию, я уже вам писал.

Книги из России, и притом довольно дёшево, ниже обычных немецких цен на книги, я выписываю время от времени через одну местную российскую фирму. Последнее, что я получил, — «Записи и выписки» М. Гаспарова, известного филолога и знатока античности. Что касается Торы как кладезя зашифрованной информации о будущем человечества, то это идея не новая, ею увлекались целые поколения адептов Каббалы.

Между прочим, с некоторых пор я веду переписку с Новосибирском. Там существует издательство под названием «Сибирский хронограф», которым руководит Л.С. Янович. Однажды я получил от него письмо с предложением выпустить сборник моих статей или эссе, можно называть как угодно. Я не слишком поверил в их возможности, но они взялись за это дело, и книжка, кажется, почти подготовлена к печати. Редакторско-компьютерной частью там ведает Т.И. Антипова. Знаешь ли ты их?

*Мюнхен, 29 окт. 2000*

Дорогие! Ко дню, когда придёт это письмо, съезд клана Малевых по случаю славной годовщины, вероятно, уже закончится. Присоединяем наши запоздалые поздравления. Я просмотрел моё последнее письмо, там было кое-что о Новосибирске, с которым я вступил в деловую связь; получили ли Вы его? Между тем не только выставка в Ганновере, но и Москва уже давно позади. Наша сноха Сузанне с малышом приехала в Германию, кончился срок разрешения на пребывания и работу в Америке. Раньше я думал, что молодые страны не сумели нарастить бюрократическую коросту. Но, как выяснилось, американская бюрократия ещё ужасней европейской. В отличие от немецкой (а уж куда, казалось бы, дальше?), она ещё и проржавела насквозь. Говорю так со слов сведущих людей. Как бы то ни было, придётся два года провести здесь, а именно, в Майнце, где Сузи нашла подходящую работу, за это время Илья получит вождевленную зелёную карту. Последние два дня вся компания

(Илюша прилетел на несколько дней из Чикаго) провела у нас, несколько часов тому назад они отправились в Майнц.

Ну-с, что сказать о Москве... *Fin de siècle* — это, конечно, весьма смелое сравнение. А вернее сказать, то, что называется пришей кобыле хвост. Я провёл в Москве две недели и находился, можно сказать, в хороших условиях. Меня встретили. Я снимал довольно комфортабельную квартиру. Как и в прежние мои наезды, из Твери приехал Серёжа, пасынок покойного брата Лоры, профессиональный шофёр. Я платил ему. Он возил меня по городу, покупал продукты, готовил еду. Жильё, которое подыскал Толя, находилось очень близко от квартиры Фаины Моисеевны, с которой Толя жил последние годы, так как она находилась в последней стадии сенильного маразма. Через два дня после моего возвращения в Мюнхен она скончалась. Ей было 95 лет.

Я был избавлен от житейских забот, целыми днями мотался по городу. Видел разных людей, бывал в редакциях. Впечатления, которые у меня накопились, — это, конечно, впечатления гостя и сугубо постороннего человека. И от волнения, которое охватило меня в первый мой приезд в 1993 году, после одиннадцати лет эмиграции, ничего уже не осталось. О том, что в Москве продолжается большое строительство (например, воздвигается, частью на эстакадах, третье внутреннее кольцо), вы, наверное, слышали. Но надо побывать в этом городе, чтобы вкусить его ужас. Надо прикоснуться к этому обществу. Общество охвачено лихорадкой криминального приобретательства и в огромном количестве выхаркивает из себя нищих. Почти не видно интеллигентных лиц, не слышно нормальной русской речи. В городе, судя по всему, обращаются астрономические деньги, предпочтительно «зелёные». Город задыхается от выхлопных газов. Машины, по большей части немытые, часто неисправные, часто очень дорогие, шофера, которые, по-видимому, никогда не слышали о правилах уличного движения. Можно ездить по тротуарам или

по встречной полосе. Пузатые и краснорожие инспекторы ГАИ в блинообразных фуражках с орлами собирают дань в свои, по-видимому, бездонные карманы. В городе много свежотремонтированных, отделанных с безвкусным шиком зданий, новеньких, как игрушки, церквей. Улицы и площади обезображены чудовищной рекламой. Город не для жизни.

На Востряковском кладбище, на главной аллее, загородив все надгробья и часть дороги, стоит циклопическое сооружение из мрамора — памятник матери Иосифа Кобзона, эстрадного певца и купномасштабного криминального предпринимателя. На отдельной территории, в стороне и от еврейской, и от русской части погоста, расположен некрополь бандитов. Всё из чёрного мрамора, с высеченными в камне портретами, с большими, во всю плиту, тоже высеченными в мраморе иконами и чудовищными стихами. Усопшие представлены во весь рост и держат в руках, как гетманы с булавами, инсигнии власти, например, ключ от «мерседеса» или телефон хенди. Это хозяева жизни, хотя и умершие, вернее, погибшие от рук наёмных убийц. Территория охраняется, так как можно приехать ночью с грузовиком и слямзить мрамор для других хозяев. И когда смотришь на эти иконы, перед которыми кладут поклоны подозрительные личности, а потом, приехав в центр города, видишь такую же вызывающую роскошь, мрамор и золото внутреннего убранства в только что отгроханном храме Христа Спасителя на Волхонке, — невозможно избавиться от впечатления, что это концы одной и той же цепи.

Обнимаем, целуем.

*Мюнхен, 17 дек. 2000*

Дорогие Мара и Галя! Из газеты «Европа-Центр» (есть такая, выходит в Берлине) я вычитал, что в Сиднее воздвигнута самая высокая рождественская ёлка Южного полушария — 33 метра. На ней висит 33 тысячи лампочек, а у подножья лежат подарки, числом тоже 33 тысячи. По сему случаю поздравляем вас как австралийских патриотов с

этими рекордными достижениями, с ёлкой-эвкалиптом, а в качестве нормальных людей — с подступающими праздниками. Под Новый год мы с Лорой собираемся махнуть в Чикаго, так что Илья тоже поднимет вместе с нами бокал за ваше здоровье.

Последние два дня у нас тут протекли сумбурно: приехал наш внук из Майнца. В остальном, кажется, ничего нового. Гришу Яблонского я, конечно, помню — как и других гостей в вашем доме в Городке, например, человека, носившего титул князя или маркиза (не могу точно вспомнить). Вообще же я часто и с большой теплотой вспоминаю оба мои визита к вам. Кстати, письмо Мише Голубовскому, посланное мною в Америку, вернулось за невозможностью найти адресата (из чего я заключаю, что Миша в Америке ещё недостаточно знаменит), и с тех пор я о нём ничего не знаю.

Из Новосибирска я тоже больше никаких известий не получаю, что происходит с моей книжкой, происходит ли что-нибудь, не знаю.

То, что я продолжаю сочинять свои сочинения, отнюдь не признак особой работоспособности (утром я ещё туда-сюда, но по вечерам катастрофически дряхлею), а просто — что же мне ещё остаётся делать? Без литературы я бы зачах. Москва оставила, о чём я уже писал, тягостное впечатление. Два дня назад Лора купила на вокзале «Литературную газету», которую я давно уже не читаю. На первой странице оказалась пародия на государственный гимн, лучше сказать, пародия на пародию. Посмотри в Интернете, это № 49 от 6–12 декабря.

Вечерами я слушаю музыку, немного читаю. Частью прочитал, частью пролистал только что выпущенный том «Серапионовы братья». Сколько энтузиазма, сколько веры в себя, сколько похвал с разных сторон — а между тем эти тексты сейчас почти невозможно читать. Поразительно, что литература 20-х годов (о тридцатых и говорить нечего) ушла от нас гораздо дальше, чем литература позапрошлого века. Такие дела.

Дорогие, ещё раз сердечно поздравляем вас с Новым годом.

*Мюнхен, 24 февр. 2001*

Дорогие Мара и Галя, почти всю вторую половину месяца я провёл в разъездах, мы с Лорой посетили нашу сноху в Майнце, потом я был под Бонном, вчера вернулся из городка Ландау в Пфальце, где был литературный вечер; это способ немного заработать. Пишу Вам поэтому с некоторым запозданием. Через неделю Сузанне возвращается с мальчиком, ровесником Коли (по-моему, не старше), в Чикаго. Она значительно отяжелела, будем надеяться, роды пройдут благополучно. Это будет наш второй внук. Странно подумать: когда он достигнет нашего возраста, XXI век будет уже на закате. О нашем времени будут вспоминать как о седой и малоприятной древности. Две войны сольются в одну. Сталин и Гитлер останутся в подстрочных примечаниях.

Что касается Яши, первого внука, то его увлечение железной дорогой почти прошло, актуальная тема — пираты. Мы привезли ему пиратский корабль и кое-какую литературу по этому вопросу. Первое время по приезде в Майнц он говорил сам с собой по-английски, сейчас перешёл на немецкий. Он был чрезвычайно удивлён, когда, приехав к нам в гости, встретил на детской площадке мальчика-негра, говорящего не по-английски, а по-немецки. В Америке снова придёт двуязычие. Языки и произношение не путаются, как бывает у взрослых, но происходит моментальное автоматическое переключение в зависимости о того, на каком из двух наречий к нему обращаются. Русского языка наш прославленный отпрыск не знает. Ведёт себя не лучшим образом: в общем-то, неглупый парень, но порой становится почти неуправляем.

Интернет у меня до сих пор как-то плохо функционирует. Иногда я бываю в Stabi (Баварская государственная библиотека) и просматриваю там русские литературные журналы. С Людмилой Улицкой я знаком уже довольно давно, на этих днях она должна снова приехать в Мюнхен, еврейская община устраивает вечер. Мне нравятся её рас-

сказы. Между прочим, она сделалась сейчас самой популярной русской писательницей, оттеснив живого классика женской литературы Петрушевскую. А читал ли ты, Мара, двух самых знаменитых российских писателей, Пелевина и Сорокина?

В Москве вышел сборник моих сочинений, но обычаем высылать авторские экземпляры там давно вывелся. Один приятель обещал мне прислать книжку на память. Лора работает, но по-чёрному, и, боюсь, начнутся неприятности с налоговым ведомством. А так — особых новостей нет. Дорогие, пишите. Крепко Вас целуем.

Ваши

*München, 10. 04. 2001*

Дорогие наши Мара и Галя, у нас событие. Вчера в полдень в Чикаго появился на свет наш второй внук. Роды были опасные — предлежание плаценты, диагностированное ещё прежде, поэтому пришлось прибегнуть к операции. Но всё обошлось, слава Богу, благополучно. Мальчик весит меньше, чем его старший брат: три с небольшим килограмма. Так что наш сын теперь отец двух детей. Жизнь, разумеется, становится ещё сложнее; может быть, уже в мае Сузи вернётся в Майнц с двумя детьми. Во время нашего короткого визита мы познакомились там с женщиной, которая согласилась ей помогать. Сузанне снова будет работать, по крайней мере до истечения срока, необходимого для того, чтобы добыть право на более или менее сносное пособие по безработице. Осенью Илья надеется — но всего лишь надеется — получить вожделенную зелёную карту, это будет означать, что он станет свободен в выборе работы и, может быть, найдёт себе более выгодное место. Но это совсем не значит, что и жена сразу, автоматически станет обладательницей этой самой карты. По правилам бюрократии, ещё более злокачественной, чем европейская, ей надо пробыть за пределами Соединённых Штатов не менее двух лет.

Ты пишешь о Людмиле Улицкой, недавно здесь был её вечер, в котором, кроме неё, как водится, участвовала её



переводчица, а также ещё одна дама, рассказавшая о последнем романе Люси, называется он (если не ошибаюсь) «Случай Кукоцкого». Немецкое заглавие другое: «Путешествие на седьмое небо» или что-то в этом роде. Из него же и было прочитано несколько отрывков. Книга в несколько новом для неё роде, масштабный роман, с экскурсами в генетику и парапсихологию. Собралось невиданное количество народу, были и россияне, успех, в самом деле, очень большой.

В общем-то, живём по-старому, развлечений особых тоже нет, если не считать того, что я или мы оба бываем время от времени в концертах (у меня абонемент, автоматический продлеваемый уже несколько лет). Завтра нацелились идти на «Парсифаля», второй раз, опера очень понравилась Лоре. Занимаюсь я главным образом чепухой, сочинением сочинений; иногда пишу статейки. Один приятель-немец прислал мне, наконец, из Москвы экземпляр книги, выпущенной «Вагриусом», теперь она красуется на полке рядом с другими шедеврами. Чтение? Увы, я больше листаю книги, чем читаю их; беру в библиотеке то, что мне надо для «работы»; или перечитываю давно читанное. Начал ни с того ни с того ни с сего читать Уайльда, «Портрет Дориана Грея», и, как ни странно, с удовольствием. Да, ещё одно: я написал, тоже, в сущности, ни с того ни сего, не понимая толком, какая в этом необходимость, довольно большую статью или этюд под названием «Творческий путь Геббельса». Был такой, если помнишь; и, между прочим, был писателем.

*20 июля 2001*

Дорогие Мара и Галя, я немного задержался с ответом из-за того, что путешествовал: провёл десять дней в Северной Италии, недалеко от Лугано, в бывшей летней резиденции канцлера Аденауэра, ныне принадлежащей фонду Аденауэра. Фонд этот «шефствует», как говорили в нашем отечестве, над ПЕН-клубом, который одарил меня этим

бесплатным коротким отпуском. Вилла находится посреди горного парка, божественная тишина, огромные пинии, кипарисы, розы, бассейн, кругом горы, внизу — озеро Комо, словом, хрен знает что: райский уголок. Хотя мне предоставили двойной номер, Лора, к сожалению, не могла ехать, она держится за своё рабочее место, которое в любой день может лопнуть, так как пациентка буквально дышит на ладан и жива только благодаря тщательному уходу.

Оба наших внука с матерью в Майнце, Сузанне как-то там перебивается, работает, Илья навещает их время от времени, через несколько дней старший (Яша) прибудет на короткое время к бабушкам. С зелёной картой — пока без изменений.

Между тем я снова — завтра — собираюсь в путь, на этот раз в Париж и, конечно, ненадолго. Одному ехать не хочется, да и вообще становишься всё тяжелее на подъём. Я почти разучился говорить по-французски. Лора уговорила меня — и Джон Глэд, который там снял квартиру возле Сен-Жермен-де-Пре, знаменитого перекрёстка наук и искусств, — впрочем, что в Париже не знаменито? Расчитываю пробыть там дней 6–7, это, собственно, зависит от меня. Никаких «дел» у меня там нет.

О Тиме Парксе я, увы, никогда не слыхал, попробую поискать что-нибудь из его произведений. То, что Лени Рифеншталь (она недавно отдала Богу душу) нашла поклонников в России, меня не удивляет, эта одна из гримас тамошней жизни, да и общий «тренд» в нашем отечестве явственно повернулся вправо. Между прочим, о ней есть очень хорошая и весьма ядовитая, теперь уже, правда, не новая статья Susan Sontag под названием «Магический фашизм», есть и русский перевод в сборнике эссе С.Зонтаг, «Мысль как страсть», М. 1997.

Занимался я это время сочинением разных сочинений, кое-что посылал, как прежде, в «Октябрь», но там, похоже, к ним охладели; за последние месяцы напечатан был один короткий текст — русский перевод речи, которую я держал в славном городе Гейдельберге, в зале ратуши, лет пять то-

му назад. (Посылаю вам для развлечения.) У меня есть один скромный проект, но, как всегда, неизвестно, какой издатель может на него клюнуть: я хотел бы составить маленькую антологию поэзии разных эпох и стран — не больше 15 стихотворений, — снабдив их переводами и более или менее дилетантским комментарием.

*Мюнхен, 16 сент. 2001*

Дорогие Мара и Галя, как-то так получилось, что я не писал Вам уже довольно давно. После Италии, через несколько недель, отправился в Париж и прожил там семь дней, кое-где побывал, но главным образом бродил по городу целыми днями. В конце этой недели собираюсь поехать на ПЕН-сборище, это будет довольно долгое автомобильное путешествие с одним приятелем.

Сейчас — все мысли заняты нападением на Америку. Вот-вот, по-видимому, должна состояться ответная акция (или, может быть, целая цепь «акций»). Если в самом деле будут получены доказательства вины Бин-Ладена, о котором только и разговоров, то, конечно, этой суке не поздоровится. Вместе с ним, возможно, погибнет и афганский режим. А в общем — ничего не известно. Ужас, одним словом.

На этом фоне побледнели и новости, связанные с Австралией, — корабль беженцев. Я, хоть и не читаю или почти не читаю газет, но слушаю обыкновенно последние известия по немецкому радио и телевидению; об Австралии редко заходит речь (к счастью), но последние недели перед катастрофой в США ваш благословенный — поистине благословенный — континент был довольно частой темой.

Вообще же существуем мы по-старому. По-прежнему не иссякает поток евреев, полуевреев и околоевреев, прибывающих из России. Я занимался среди прочего своей антологией (она называется «Абсолютное стихотворение») и закончил её. Она оказалась объёмистей, чем я предполагал, — около полусотни поэтов. О том, кто это станет печатать, не имею ни малейшего представления.

О Симашко я практически ничего не знаю. Даже не нашёл его в словарях. Может быть, имея дело с историей и в особенности с исторической беллетристикой — а также с такими авторами, как покойный Лев Гумилёв, — полезно вспомнить слова Себастьяна Гафнера, историка и эссеиста, которого я переводил (ныне тоже покойного): «Только историография создаёт историю. История не есть реальность — но отрасль литературы». Ты пишешь о маздакизме. Между прочим, я в разное время тоже интересовался разными оккультными учениями, например, Каббалой, а также астрологией, кое-что почитывал, для меня они всегда представляли литературный и эстетический интерес. Звездословие, не будучи наукой (ибо в нём нет проблем, есть только практические задачи), представляет собой очень красивое построение, сочетание строго формализованной знаковой системы с туманным содержанием; в этом-то и вся прелесть. Мерцающий смысл астрологического чертежа кружит голову. Вопрос об «истине» в этом случае, конечно, никакого значения не имеет. Для других оккультных и гадательных систем первостепенное значение имеет язык. Таинственная и по видимости строгая терминология описывает нечто неуловимое.

Следовало бы попытаться сформулировать теорию прорицаний, равно приложимую к великим мистическим учениям, к зороастризму, к гностике, к какому-нибудь Нострадаму, — и, скажем, к гаданию на хлебных шариках, которое при мне практиковалось в общих камерах тюрем. Я, между прочим, как-то раз об этом писал (речь идёт о дипломате Майском или его брате, с которым мне случилось короткое время сидеть вместе), вот цитата:

«Если когда-нибудь будет создана Общая Теория Гадания, она должна будет стать отраслью науки о языке. Точность пророчества зависит от неточности языка, которым пользуется предсказатель, идет ли речь о толковании снов, прогнозе погоды или о судьбах нашей планеты в XXI столетии. Другими словами, гадательная терминология должна быть достаточно растяжимой, чтобы преду-

смотреть всё что угодно. Поистине достойно восхищения искусство камерного авгура, полнота информации, которую он выдавал (он остался жив и спустя много лет выпустил свои мемуары). Вы могли узнать, сколько вам влепят, долго ли еще остаётся торчать в тюрьме, далеко ли загонят. Последний вопрос представлял немалый интерес, так как Россия — государство весьма обширное. Жаль, что я не спросил у гадалея, когда околеет Сталин».

*Мюнхен, 24 окт. 2001*

Дорогие! Что это за новое лекарство, начал ли ты его принимать? Вообще-то в этой области, насколько я могу судить, достигнуты большие успехи. Кроме того, биохимические показатели, как курс акций на бирже, могут колебаться: вверх — вниз... Последнее время я вёл довольно сумбурную жизнь: ездил в Эйхштетт (университетский городок в Нижней Баварии), во Франкфурт на книжную ярмарку. Теперь собираюсь в Дюссельдорф, в Дом Гауптмана и университет, где будет чтение. Хочу ещё кое-кого навестить в Эссене и под Кёльном. Помните, как вы приезжали ко мне в больницу в Кёльне? А потом мы посетили в мюнхенской ратуше выставку в честь 250 (кажется) -летия баварского масонства.

Соображения Миши Голубовского о связи исламского фундаментализма и терроризма с демографическим взрывом любопытны, но, как сказал Козьма Прутков, специалист подобен флюсу: он односторонен. Терроризм, даже в тех страшных формах, которые он принял, — это ярость опоздавших. Живя по-прежнему в глубоком средневековье, со своими бурнусами, шейхами, верблюдами, занавешенными женщинами, с традиционно-коррупционной моралью, со своим Кораном, эти люди оказались в современном мире, который соблазняет их тысячами приманок и теснит со всех сторон. Теперь они замахнулись на Америку, а мы знаем, что бывает, если раздражить это государство, мощь которого превосходит всякое воображение. На наших глазах возник новый вид военных действий, мож-

но было бы ввести такой термин: полицейская война. Война в Персидском заливе, Косово, теперь Афганистан. Полицейская акция, разросшаяся до масштабов молниеносной истребительной войны. Террор оплачен сумасшедшими деньгами какого-нибудь Саудовского короля-жулика и другого негодяя, пожелавшего стать вторым Пророком, но счета в банках можно заморозить, а деньги иссякнут, как только иссякнет нефть — или будет вытеснена альтернативными энергоносителями. Уже теперь миром правят экономически могущественные державы — их немного, но чем дальше, тем больше они будут навязывать свои законы всем садящимся в поезд на провинциальных полустанках, всем вступившим в историю с опозданием, и будут внедрять повсеместно свою цивилизацию.

Что касается Гюнтера Грасса и т.п., — тут речь идёт о некотором заученном амплуа. Это, бесспорно, крупный писатель, по крайней мере, начавший как крупный писатель, дело уже давнишнее. Но за все эти десятилетия он наговорил столько глупостей, что мало кто относится к его высказываниям всерьёз.

Можно поставить вопрос иначе. Правда, это уже другая тема. Мы живём в массовом обществе. Это в самом деле новость в истории. Это общество располагает собственными могущественными репрессивными механизмами, притом анонимными. Есть тысяча оснований негодовать против этого общества. Но оно не карает бунтовщиков и еретиков. Оно их интегрирует. Оно обволакивает их. Глядишь, и тот же, уже состарившийся Грасс летает в авиалайнерах, носит современный костюм, наравне со всеми потребляет товары потребления, которые в изобилии поставяляет это общество, и наслаждается безграничной свободой слова. Да только слово это бессильно.

*Мюнхен, 13 дек. 2001*

Дорогие Мара и Галя. Не могу скрыть, что твоё письмо, Мара, нас несколько встревожило. К счастью, современные

химиотерапевтические препараты высокоэффективны, авось всё обойдётся. А я, между прочим, совершенно забыл, к стыду своему, что тебе уже недалеко осталось до 75-летия. Подумать только; чуть позже и мне будет столько же. А ведь я так живо помню наше детство, дом, двор, Большой Козловский переулок — до малейших подробностей. Не помню, писал ли я, что, приезжая в Москву, я заглядывал в наши места. Двор существует, но там всё время шли строительные работы, а ваш подъезд превращён во вход в какое-то кафе. Чистопрудный бульвар сделался грязной свалкой и приютом алкоголиков.

Между Рождеством и Новым годом к нам должен приехать Илюша с семейством, которое по-прежнему обретается в Майнце. Но зато он получил, наконец, долгожданную зелёную карту. Это значит, что осенью Сузанне с детьми сможет вернуться в Чикаго. Что касается нас с Лорой, то в ближайшие месяцы мы, очевидно, не сможем туда прокатиться. У Лоры работа подходит к концу. Мне предстоят две операции — по числу глаз — по поводу глаукомы и катаракты. За последние месяцы я стал как-то скверно видеть, хотя всё ещё, как видишь, сижу за компьютером.

Читаю я, к сожалению, мало, больше перелистываю. Вот безошибочный симптом старости: то, что когда-то увлекало, кажется скучным. Изредка просматриваю в Баварской библиотеке русские литературные журналы. Интернетом почти не пользуюсь, отчасти потому, что не хватает терпения дождаться, когда появится вызываемый «сайт»; а усовершенствованной приставки у меня нет, хотя надо бы купить. Русский литературный интернет переживает, как мне кажется, пубертатный период, то, что мне удавалось видеть, литературная критика и т.п. — для таких же недо-рослей. Или я ошибаюсь?

О Б. Акунине (псевдоним человека с грузинской фамилией) я, конечно, слышал, это сейчас едва ли не самый модный писатель. И, говорят, очень умелый писатель. Опять же не читал. Но у меня вообще как-то нет вкуса —

если не считать некоторых классиков — к детективной литературе. Люся Улицкая получила премию Букера — самую престижную литературную премию в России.

Я писал разные мелочи, в том числе небольшую статью о Бруно Шульце. Когда-то я делал о нём передачу. Известно ли вам это имя?

Дорогие, поздравляем Вас с наступающим Новым годом, а что пожелать — лучше об этом помолчим. Крепко обнимаем вас, целуем.

*Мюнхен, 11 янв. 2002*

Дорогие Мара и Галя, никогда ещё на моей памяти немецкое радио и телевидение не уделяло столько внимания Австралии, — каждый день жуткие сообщения о пожаре, который уже приблизился к Сиднею. К счастью, не так близко от вас. Но, кажется, в последние дни начался дождь.

Я тоже помню и наш, и ваш подъезд, да и всё остальное до мельчайших подробностей. В вашем парадном, сразу при входе внутрь, справа была батарея центрального отопления, а слева, между стеной и тремя ступеньками лестницы, ограждённой короткими перилами, — плоская покатая поверхность, с которой можно было съезжать. В холле, перед основной лестницей (с полутёмным и очень широким, в отличие от нашего подъезда, лестничным пролётом), действительно, находились двери двух квартир первого этажа, причём в первой квартире, налево, где проживала пожилая дама Раиса Козловская, иначе Суслик, с престарелым мужем по прозвищу Старый Сусел, — в хорошую погоду он обыкновенно сидел на табуретке перед подъездом, — жили мы, когда я был ещё совсем маленьким; после смерти моей матери (мне было шесть лет) мы переехали в квартиру № 9 в другом подъезде, вход с Боярского переулка.

И так же подробно я мог бы описать наш переулок, подворотню, двор с пожарными лестницами, в ладонях до сих пор осталось ощущение шероховатых железных перекладин; а главное, живо непередаваемое ощущение тех лет,



ощущение детства, которое каким-то образом сумело отгородить себя от страшной эпохи, подобно тому как мы в своём дворе чувствовали себя защищёнными от террора диких подростков округи. Помню я, конечно, и вашу квартиру, Евгению Исааковну, дядю Анатоля, фотографическое оборудование и снимок в рамке на стене: оба молодые и щеголеватые, где-то на природе, тётя Женя в белом и, кажется, с белым кружевным зонтиком, дядя Анатолий в соломенной шляпе-канотье. Помню комнату, где ты жил с мамой, и длинный, как тогда казалось, коридор, по которому ты бежал, — был слышен топот, я и другие гости стояли на лестнице, перед дверью, почему-то обитой железом и выкрашенной в кирпичную краску, это были дни рождения, дверь открывалась, и ты спрашивал: а где подарок?

Мы живём по-старому, хотя зрение моё ухудшается чуть ли не с каждым днём. Лорина работа кончилась, но всё ещё приходится ездить каждый день в больницу, куда угодила её пациентка), это означает определённые перемены в нашей финансовой ситуации.

О Бруно Шульце — посылаю мою статейку.

Что сказал онколог?

Крепко обнимаем и целуем,

Ваши

*Мюнхен, 21 апр. 2002*

Дорогие, давно не писал Вам. Как Вы там, есть ли медицинские новости? Продолжается ли химиотерапия? Мне пришлось заниматься глазами: глаукома и катаракта. Последние месяцы я как-то очень быстро стал терять зрение, перестал различать надписи на улицах и в метро, буквы на клавиатуре прибора, за которым сейчас восседаю, и так далее. Всё было как в тумане, обычное следствие катаракты. Мне сделали операцию на обоих глазах, в два приёма, и теперь я вижу значительно лучше. Некоторые неприятности имеют место, но в целом, кажется, дело идёт на поправку. Трое очков, которые у меня есть, больше не годятся, надо

приобретать новые. Других новостей особенных нет, время от времени происходит нашествие внуков, изредка мы с Лорой выползаем в концерт, зрелищные мероприятия сейчас невозможны. Лора выражает настойчивое желание поехать на две недели в Москву (и в Тверь). У меня эти планы большого воодушевления не вызывают, но, конечно, я поеду с ней. Всего за эти годы я побывал в столице нашего отечества ни много ни мало — пять раз. Последняя поездка, больше двух лет тому назад, оставила удручающее впечатление. И это несмотря на хорошие, даже привилегированные условия, в которых я жил: отдельная квартира, шофёр и пр. Друзей становится всё меньше, одни отделились, другие переселились в лучший мир. Я по-прежнему просматриваю литературные журналы, теперь главным образом в интернете; кстати, и с техникой начались неполадки, всё сразу. Пришлось, например, покупать новое печатающее устройство. Что ещё сказать Вам хорошего? Я слушаю музыку. Пытаюсь что-то сочинять. Кое-какие сочинения изредка появляются в русских журналах по обе стороны бугра. Вышла (как ни странно) книжка, составленная из электронных писем, которыми я обменивался с Джоном Глэдом, профессором-славистом, живущим в Вашингтоне. Называется «Допрос с пристрастием». Может быть, вы помните книгу Ст. Цвейга о Магеллане, бестселлер времён нашего отрочества; рассказ о том, как флотилия пересекла Атлантику, как добрались до Южной Америки, зимовали в устье Параны, потом двинулись дальше на юг, вошли в пролив, долгие недели, а то и месяцы, блуждали между скал, и вдруг — Тихий океан. Замечательно то, что электронное письмо достигает адресата по ту сторону океана меньше чем за минуту, — а не содержание нашей с Глэдом переписки.

Крепко, крепко вас обнимаем.

*Мюнхен, 8 мая 2002*

Дорогие, перечитав своё предыдущее послание, я вижу, что оно в самом деле написано бессвязно. О Цвейге

(«Магеллан») я упомянул единственно потому, что мне запомнилось среди прочего одно место, кажется, в начале книги, где он пишет о своём путешествии через океан и пытается представить себе, что могли чувствовать моряки в XVI веке, пересекая Атлантику. И вот теперь электронное письмо совершает этот путь за несколько секунд.

Триста километров (до Сиднея) — это недалеко? Австралийские дистанции, похоже на Америку. У нас 300 км — это немного больше половины расстояния от Мюнхена до Гамбурга.

Как я уже писал, мы собрались лететь в противоположном направлении. При этом оказалось, что добывание визы осталось такой же муторной процедурой, как и прежде, и даже стало ещё сложнее: приглашение от родственника, например, от моего брата Толи, оформляется в течение одного или полутора месяцев, так как проходит проверку в КГБ, то есть в нынешней «службе безопасности». Как же можно обойтись без этой конторы. Не считая, само собой, ещё 1–1,5 месяцев, пока дойдёт письмо из Москвы: посылать вызов можно только в оригинале. И вдруг выяснилась другая возможность — туристическая виза, якобы оформляемая за две недели. Посмотрим. Рассчитываем пробыть в Москве и Твери с 25 мая по 9 июня. Очков у меня всё ещё нет, должно пройти два месяца после второй операции, чтобы зрение стабилизировалось, глаза чешутся, иногда слезятся, но вижу я через два искусственных хрусталика, приваренных с помощью лазера, в общем несравненно лучше, чем раньше.

Не «хавер», а «хазер» (хавер — товарищ). Фразу Бялика я как-то раз процитировал в одной книжке и с тех пор пользовался в патриотических кругах репутацией русофоба.

Посылаю Вам нашу с Дж. Глэдом книжку. Целуем вас, очень надеемся на новую химиотерапию. Тут в самом деле достигнуты большие успехи.

*Мюнхен, 27 июня 2002*

Дорогие Мара и Галя, мы благополучно вернулись во-свояси, уже более двух недель тому назад, но я всё ещё не мог собраться отписать Вам. Надеюсь, что у вас за это время серьёзных изменений не произошло.

Мои впечатления от Москвы не очень свежие, я был там последний раз два года тому назад. Лора — другое дело: она не была в России больше десяти лет. На другой день после прилёта мы отправились в Тверь, которая во времена нашей жизни и учёбы называлась именем Калинина. Памятник дедушке, удивительно бездарный, так и стоит в сквере перед Путевым дворцом Екатерины, напротив, через трамвайную линию — бывшая наша *alma mater*, медицинский институт; в остальном город изменился, и даже — во многих местах — до неузнаваемости. Но это — как смена растительности: дёрн остаётся всё тем же. Через пять дней вернулись в Москву. Остановились в благоустроенной квартире одного старого друга, ныне покойного.

Город-гипертоник, переполненный людьми, машинами, рекламами, город, где ворочаются огромные деньги, кипит предпринимательство, плотность транспорта на улицах такова, что, кажется, ещё два, три года, самое большее пять лет, и наступит коллапс; прибавьте к этому невозможное, хулиганское движение: у каждого четвёртого водителя, оказавшись он у нас здесь, были бы немедленно отобраны права. Катализаторов нет, как нет и ограничений скорости, множество замызганных и давно не отремонтированных автомобилей и такое же множество дорогих «иномарок» с новыми хозяевами жизни. Переходить улицу, даже там, где полагается, опасно. Как-то раз, выехав на Ленинский проспект, — он всё так же называется, хотя, например, Пушкинская переименована в Дмитровку, улица Герцена в Большую Никитскую, больше нет улиц Огарёва, Станкевича, всё, связанное с памятью об университете, исчезло, бывший студенческий клуб и всё левое крыло так называемого, со времён пожара 1812 года, Нового здания на

Моховой захвачены церковью, высится золотой крест и под ним надпись: «Свет Христов просвещает всех», с ятями и твёрдыми знаками, — так вот, выехав на Ленинский проспект, прямо перед домом, где мы поселились, увидели на проезжей части убитую женщину, хотя движение в этот час не было насыщенным (или именно поэтому). Город не для людей, не для детей, не для стариков и, кажется, вообще не для жизни. Срочно строится третье внутреннее кольцо, часть уже готова. Но не знаю, решит ли оно проблему.

Очень много новых или отремонтированных, перестроенных или подновлённых старых зданий, некоторые очень красивы, господствующий архитектурный, орнаментальный и церковный стиль — кич. Отовсюду виден огромный золотой купол храма Христа Спасителя, там этот стиль доведён до предела, и вообще очень много золота: кресты, купола, всё сверкает на солнце, какая-то православная Мекка. Дивная красота Кремля.

Были в нескольких театрах, в том числе в Большом на грандиозной премьере «Хованщины». В музеях входная плата для иностранцев в десять раз выше, чем для «своих». Был я и в разных редакциях. И, конечно, виделся с Толей, с Мишей Езерским и другими.

Постепенно прихожу в себя, занимаюсь литературой — что мне ещё остаётся?

## К Борису Дубину<sup>1</sup>

22.04.03

Дорогой Борис Владимирович, большое Вам спасибо за письмо. То, что статья Ваша вернулась, скорее всего объясняется тем, что Вы послали её Б.Хазанову, тогда как моё почтовое и паспортное имя — Файбусович (Dr. G.Faibussoitsch). «Борис Хазанов» — это псевдоним, вдобавок придуманный не мною, но присохший ко мне с самиздатских времён. Я никуда не переезжал, мой адрес прежний: Erkweg 8, 81927 München, Deutschland (телефон 089 / 93 61 61, телефакс 089 / 93 04 057).

Как и прежде, я слежу за Вашими публикациями, последнее, что удалось прочесть, — это беседа с Н. Игруновой в «Дружбе народов», чрезвычайно интересная, и Ваша с Л.Гудковым статья «"Эпическое" литературоведение» в «Отечественных записках», где мне лично особенно близким и важным показалось рассуждение об истории в первой главе. Вообще же всё, что выходит из-под Вашего пера (не только по части социологии), захватывает, провоцирует мысль, вызывает желание продолжить тему, так что в моём лице Вы приобрели не только почитателя — об этом нечего и говорить, — но и «первого читателя»: я сообщаю о Ваших работах другим, те читают и т.д.

Я буду Вам благодарен, если Вы пришлёте мне и вернувшуюся назад статью, и то, о чём Вы пишете. Правда, поворотливость российской почты оставляет желать лучшего, но можно воспользоваться и интернетом, точнее,

---

<sup>1</sup> Борис Владимирович Дубин — филолог, поэт, переводчик западно-европейской литературы, социолог.

attachment'ом. Хотя мой компьютер одержим русофобией, можно его обмануть: в приложении проходят тексты, напечатанные кириллицей.

Моя статейка долго лежала в «Октябре», автору, как водится, не сообщают, дошёл ли материал, пойдёт ли он, автор потерял терпение, а тут ещё подоспели другие публикации на ту же тему, и я решил послать статью в другой журнал — «Знамя». При этом я воспользовался случаем и переделал её. Меня в «Знамени», кажется, не очень любят, но тут я получил ответ от важного человека — К. Степаняна о том, что статью подготовили к печати. Получилось неловко; надеюсь всё же, что редактор примет во внимание, что это другой вариант. И название другое. Решаюсь послать Вам этот новый вариант (см. второе приложение). Хотя мысли в общем-то те же.

Там, кстати, славное имя Б.Акунина вовсе не упомянуто. Я и не сомневался в том, что этот писатель отнюдь не принадлежит к числу Ваших любимцев. Собственно, я не возражаю против Ваших — очень корректных — возражений. О чём говорить — примеров, когда серьёзные писатели не гнушались теми или иными частными достижениями тривиальной литературы, более чем достаточно; точно так же, как есть немало доказательств тому, что серьёзная и даже великая литература каким-то образом пробивает себе дорогу в этих джунглях. Но мне казалось, что слишком уж назойливо нам твердят со всех сторон о необходимости брататься. Главное — это то, что мы живём в совершенно новом, прежде не известном обществе. Не мне Вам рассказывать, что это за общество и как оно называется: массовое общество. В его нынешнем облике оно сформировалось (я говорю о европейском Западе) всего лишь каких-нибудь полвека назад. Коммерциализация «литературного дела» достигла масштабов, какие не снились даже ещё нашим отцам. Опять же кому я это рассказываю. Но мне хотелось сказать ещё и другое. Противостояние высокой и низкой литературы — при всех попытках «сближения», при том, что существует немало высокоталантливых авторов, занимающих промежуточную полосу, сумевших, так

сказать, и рыбку съесть, и... (так было всегда), — противостояние это сохраняется. Отсюда необходимость вегетировать (и даже «процветать») на обочине.

Крепко жму Вашу руку, дорогой и уважаемый Борис Владимирович.

Ваш ГФ.

*03.07.04*

Дорогой Борис Владимирович, спасибо за статью о Вальзере. Я прочёл Ваш перевод сразу и пожалел лишь о том, что статья такая коротенькая. Роберт Вальзер и здесь остаётся загадочной фигурой. Однажды я видел большой документальный фильм о нём, где, конечно, фигурировал и Зелиг. Впечатление, что это совсем не тот случай, что у Гёльдерлина. Вальзер был замкнут, неразговорчив, но не казался больным.

Спасибо и за телефоны, за Ваши хлопоты. Мне удалось связаться с редакцией, правда, не с самим Яновичем, но с его помощником. Обещал прислать книжку. Сообщил я и телефон моего брата Анатолия в Москве (286-33-61).

Всё как-то сразу: Вагриус выпустил мой «русско-немецкий» роман под названием «К северу от будущего» (цитата из Целана).

Крепко жму Вашу руку.

Ваш ГФ

*04.07.04*

Дорогой Борис Владимирович, я получил Октавио Паса, странный и чарующий текст, большое спасибо. О художнике Дадде вообще слышу впервые. Вероятно, переводить, начиная с названия, было очень непросто. Вы нашли удивительные слова. Я вспоминаю, что тоже когда-то, 20 лет тому назад, переводил Паса для нашего бывшего журнала «Страна и мир», но это было совсем другое дело: две статьи, полужэссе, полупублицистика, да ещё к тому же перевод с перевода (немецкого, кажется).



Моя «автобиография» появилась в сборнике В.Батшева без моего ведома (так мы живём). Он перепечатал её со старой публикации в «Октябре». К тому же это не автобиография, а что-то вроде литературной автобиографии (тогдашней), — большая разница.

Буду очень благодарен, если Вы и впредь сможете присылать Ваши публикации. Жму руку. Ваш ГФ.

21.07.04

Дорогой Борис Владимирович, я тут сижу, можно сказать, отгороженный наглухо, и Ваш отклик мне очень дорог. С университетом связано ведь не только хорошее, и всё же он остался для меня каким-то потонувшим отечеством. О Джеффри Хилле я, к несчастью, даже не слышал, но мысль о том, что глубь памяти каким-то образом соотносится с глубинами языка, мне очень близка; над ней надо ещё подумать. Как-то упустил сообщить Вам, что второй этюд о Вальзере я с благодарностью получил и «прочёл с удовольствием», как имел обыкновение выражаться наш последний император. Может, пришлёте ещё что-нибудь из Ваших работ, не обязательно самых последних?

Крепко жму руку, Ваш ГФ.

P.S. Вы когда-то много занимались Борхесом (и много сделали). Я вспомнил, что однажды написал пародию на Борхеса; посылаю Вам для развлечения.

25.02.05

Дорогой Борис Владимирович, статья, действительно, написана в необычном жанре, — даже не столько традиционный диалог, сколько свободный обмен впечатлениями. Очень интересно, — тем более что я не только не видел никогда работ Величковича, но и вообще не слышал о нём. Значит, и высказываться о нём не могу. Но уже предисловие к Вашей с Юлией статье

заставило меня снова задуматься, по крайней мере, над одной интересовавшей меня проблеме, или как там её называть. Собственно, это большая проблема нашего времени.

*«...как — средствами живописи — остаться человеком и не только сохранить человека в себе и в мире, но и оставить его центральным действующим лицом исторической драмы? Или иначе: как сохранить и продлить живопись, устранив или хотя бы смягчив — волей и инструментами художника — отчужденную и безопасную в ее произвольном, а то и намеренном, пестуемом эстетизме позицию невовлеченного созерцателя, будь он самим художником или одним из его зрителей (пошатнуть, сдвинуть, смутить привычную зрительскую установку, готовность смотреть и только смотреть — ничего себе задача для художника!)?»*

Само собой, каждый формулирует это по-своему. Для меня (применительно к литературе, но, конечно, и не оставляя без внимания живопись) вопрос стоит так. Можно ли, допустимо ли пытаться передать хаос средствами самого хаоса? Или, ещё более драстически: пытаться запечатлеть кровавый хаос и абсурд истории, перенеся хаос и бессмыслицу в книгу или на полотно?

Всегда Ваш ГФ.

26.02.05

Дорогой Борис Владимирович, не собираетесь ли Вы часом в Париж, на ярмарку — правда, не невест, а книг, — так называемый Салон книги, который в этом году будет посвящён нашему отечеству. Он открывается, если не ошибаюсь, 18 марта. Но я должен буду поехать туда раньше, как Остап Бендер впереди автопробега, и уеду 12-го.

На Ваш вопрос, как я существую, что ответить? Поменьше. Занимаюсь по-прежнему литературой, что же мне ещё остаётся делать, изредка выступаю с чтениями или чем-нибудь в этом роде. В Париж я ездил последние годы каждую весну или лето, жил в одной и той же маленькой

гостинице на Монмартре, сидел там перед компьютером, бродил по городу. И всё время думал о том, как поздно все мы проложили туда дорожку. Однажды купил, среди других книжек, толстый том *Oeuvres* Чорана, известный Вам, на который даже сочинил довольно поверхностную рецензию. В значительной степени благодаря Вам (и ещё, может быть, Вами же переведённой статье только что умершей С. Зонтаг) я поддался мрачным чарам этого писателя.

Крепко жму Вашу руку.

Ваш ГФ.

P.S. Забыл спросить. Мои друзья здесь очень увлечены последней книгой (сборником статей) Л.Гудкова «Негативная идентичность». Я как-то не решился к нему обратиться, да и не знаю его адреса. Боюсь, это покажется слишком наглой просьбой, но — не мог бы он прислать мне эту книгу?

08.07.05

Дорогой Борис Владимирович,

не знаю, как благодарить Вас за книги. Они пришли вчера. Я тщетно здесь охотился за «Негативной идентичностью», и вот, наконец, книга у меня. Спасибо автору и, конечно, Вам. Что касается замечательно изданного «Пространства другими словами», то этот подарок явился особенно кстати: моя жена больна, находится в клинике, и книга эта, поверьте, для меня большое утешение. Кстати, совсем недавно в Баварской академии изящных искусств (есть такая) был доклад о взаимоотношениях Аполлинера и Дж. де Кирико, в котором много говорилось о том самом профиле Аполлинера, где отмечено место (левый висок), куда потом врезался осколок шрапнели.

Крепко жму руку, ещё раз спасибо.

Всегда Ваш ГФ.

11.07.05

Дорогой Борис Владимирович, дела, конечно, скверные: у Лоры (моей жены) обнаружена злокачественная опухоль, в четверг её оперировали — как я надеюсь, более или менее успешно; всё же прогноз остаётся неясным. У нас был проект поехать осенью в Москву — тогда мы могли бы увидеться, — но сейчас это становится сомнительным. Если Вы соберётесь в Берлин, сообщите; может, и я туда выберусь.

«Дружбу народов» я регулярно просматриваю в интернете, но, видимо, номер с Вашей рецензией ещё не вышел. Исправьте, пожалуйста, грубую ошибку в «Абс. стихотворении»: виновником гибели Мандельштама был, конечно, не Стенич, а Ставский.

Я, как всегда, слежу за Вашими публикациями, стараюсь не пропустить ни одной. Если можно, пришлите что-нибудь новенькое из Вашего или, проще, сообщите, где это напечатано. Нужны ли Вам какие-нибудь книжки или альбомы, которые в Москве трудно достать, а здесь можно заказать?

Крепко жму руку,  
Ваш ГФ.

19.03.06

Дорогой Борис Владимирович,

Вы пишете, не издать ли сборник моих эссе или «эссеев», — мысль, конечно, для автора увлекательная, но не представляю себе, как это сделать. Какой издатель в России возьмётся выпустить книжку, которая явно не обещает прибыли и даже вряд ли окупит типографские расходы. Платить же самому для меня дорого, разве только принять часть расходов. Вы великодушно предложили своё содействие — опять же не знаю — неудобно навязывать Вам лишние хлопоты. Я-то ведь хорошо представляю се-

бе, что значит толкаться в двери издательств и вступать в переговоры с важными господами, даже если они снисходят до разговора.

Крепко жму Вашу руку,  
Ваш ГФ.

*25.03.06*

Дорогой Борис Владимирович,

только что прочёл Ваше сообщение и ответил, но боюсь, что дойдёт в нечитабельном виде. Сердечно благодарю Вас за хлопоты. Я должен буду уехать на четыре дня но постараюсь сделать незамедлительно всё, что Вы пишете касательно Ивана Лимбаха, и отошлю И.Г. Кравцовой. Буду, если можно, держать Вас в курсе дела. Ещё раз большое спасибо!

Ваш ГФ.

*01.04.06*

Дорогой Борис Владимирович,

получил Ваше письмецо, хорошо, что книжка, какая ни есть, дошла.

И.Г. Кравцова сразу откликнулась, просила прислать ей примерный план книги и несколько текстов для ознакомления. Что я и сделал.

План этот, если дело пойдёт, можно, конечно, и пересмотреть, кое-что выкинуть или что-то убавить. Всё же решаюсь послать его Вам, так сказать, для сведения.

Я побоялся написать Ирине Геннадиевне, что несколько этюдов вошли в киевскую книжку, но я собираюсь их отчасти переписать (как и некоторые другие), вдобавок книжка «Следствие по делу...» вышла крохотным тиражом и в Москве, насколько мне известно, не распространяется. Как Вы думаете?

Ещё раз большое Вам спасибо!  
Ваш всегда ГФ.

## К Владиславе Ждановой<sup>1</sup>

09.01.2004

Дорогая Влада, я читаю и перечитываю Ваше письмо, замечательно интересное — и начертанное на ужасной латинице. Может быть, Вы попробуете писать, как я, пользуясь attachment'ом?

«Вытеснённость в себя» — это сказано очень точно. За двадцать один год жизни в Германии у меня было время задуматься о том, что, собственно, значит быть эмигрантом. Я хорошо помню, что, когда реально встал вопрос о бегстве (а мы все как бы созрели для этого — одни медленно, другие быстро), меня ужасала перспектива оказаться в нерусской языковой среде. И это при том, что у меня было важное преимущество перед другими: я знал немецкий язык. Правда, мало кто думал в то время о том, чтобы поселиться в Германии, а уж для еврея это представлялось каким-то чудовищным нонсенсом. Но как раз то, о чём Вы говорите, — государственный патриотизм, — отвращало меня, среди других соображений, от Израиля.

Как бы то ни было, если бы понадобилось формулировать конституирующие признаки эмигрантства, я бы назвал этот: необходимость провести всю остальную жизнь в среде, где говорят не на родном языке. С этой точки зрения «вытесненность в себя» представляет собой род защитного механизма, вроде палатки в пустыне или раковины, где отсиживается улитка. К великому облегчению изгнанника, всё равно — добровольного, не совсем добровольного или вовсе недобровольного, — оказывается, что он не один та-

---

<sup>1</sup> Жданова Владислава Валерьевна, филолог, русист.

кой, и раковину можно раздвинуть до размеров небольшого гетто. Всё это, конечно, Вам известно не хуже, чем мне.

Мне кажется, я имею возможность сравнивать Четвёртую волну с той, к которой принадлежу. Тут-то и видны родовые черты, которые, может быть, делают вопрос: эмигранты или не-эмигранты? — недискуссионным. Меня вообще поражало какое-то неизбывное постоянство этой судьбы, вопреки смене веков и даже цивилизаций, — не зря же я цитировал Овидия. «Ни одного человека, кто умеет сказать хотя бы словечко по-латыни!» Если же говорить о близком к нам времени — поразительная похожесть документов нашей и немецкой, 30-х годов, эмиграции. И сегодня всё повторяется: сходные черты эмигрантского жаргона, такое же искушение стать злокачественным патриотом покинутой родины (о чём Вы пишете), всё то же желание сбиться в кучу лицом друг к другу, спиной к «ним».

Вырванность из живого контекста (Ваши слова)? Тут лично я, пожалуй, был счастливей Вас. Скорее я испытал чувство огромного освобождения. В Москве же, куда я тоже ездил несколько раз, первый раз через одиннадцать лет после отъезда, я, напротив, чувствую себя скованным и в конце концов отваливаю, глубоко удручённый. А ведь я вырос в Москве. Но это уже другая песня.

Мы с Вами Kommilitonen: я тоже до лагеря учился на филологическом факультете МГУ, на классическом отделении, это было ужасно давно. В Бремене я бывал (виделся с Гариком и Гасаном Гусейновым), в Гейдельберге однажды получил литературную премию, даже с некоторой помпой; вообще могу сказать, что за эти годы изъездил всю страну, на всех видах транспорта, кроме гужевого.

Как складывается моя жизнь? Это довольно путаная тема. Соберусь с мыслями и опишу Вам.

Джон Глэд — мой старый приятель, лучше сказать, друг. Живёт в Вашингтоне, где, кстати, я у него недавно гостил. Он славист, полиглот, переводчик русских писателей, профессорствовал в Мерилендском университете и в других местах. Человек он одарённый и забавно-

своеобразный. В своё время он снял несколько фильмов — бесед с корифеями разных волн литературной эмиграции, выпустил интересную книгу — «Беседы в изгнании». Там у него Алёша Цветков, в ответ на стандартный вопрос: что заставило вас покинуть Россию? — произнёс замечательную фразу: *Отсутствие необходимости продолжать оставаться дальше*. Подумайте над ней; она как будто выворачивает всю проблему наизнанку.

Крепко жму Вашу руку, дорогая Влада, надеюсь — до следующего раза. Не хандрите. Ваш ГФ.

07.2.2004

Дорогая Влада, я уж думал, что больше не услышу о Вас. Как я понимаю, жизнь у Вас нелёгкая — и личная, и профессиональная. Я думаю и всегда думал, что так называемая личная жизнь (советское выражение?) и есть, собственно, главная, если не единственно важная, реальная и подлинная жизнь. А ведь мне казалось — тогда, в Майнце, — что Вы счастливая молодая женщина, с лёгкой походкой. Очень рад Вашему письму.

Видели ли Вы в Бремене, в этом прелестном старом районе, который называется Schnur, мемориальную доску, где написано, что на этом месте найдены кости «того самого осла», чем и доказывается правдивость истории о музыкантах. Это, между прочим, при том, что Stadtmusikanten, как Вы помните, так и не добрались до города.

Брошенный дом в Риге — почему? Разве Вы не вольны туда вернуться? Но Гарик — человек мудрый. Я тоже, например, не мог бы снова зажить в Москве, даже если бы нашлось где жить и было на что жить.

А вот Париж... Когда-то я бывал в Париже, однажды гостил у Синявских, но эти визиты не в счёт. По-настоящему я почувствовал этот город недавно, когда ездил туда три последних года подряд и жил в маленькой гостинице по несколько недель. И оказалось, что по Парижу, по Левому берегу, по Монмартру, по садику на острове



Сен-Луи, по набережным и мостам через Сену — скучаешь. Может быть, поеду весной или осенью снова — не знаю, удастся ли.

Мои дела? Занимаюсь литературой, и вечно повторяется одно и то же, так что это уже почти физиология: утром как будто что-то получается, начинаешь верить в себя; вечером вспоминаешь о том, что так увлекало утром, и не понимаешь, что в этом такого, и все замыслы и «свершения» выглядят какой-то чужью. В минувшем году я закончил (несколько раз переделывал) роман по названию «К северу о будущем» — это цитата из Пауля Целана; возможно, Вам попадалось стихотворение *In den Flüssen nördlich der Zukunft*. Написал одну повесть, где умирающий вспоминает свою жизнь и разговаривает с людьми, которые не то посещают больного, не то привиделись ему. Там есть одна важная для меня тема «над-сознания». Ещё одну повесть, тоже Ich-Erzählung, но от имени немца, старого пианиста-дилетанта, в прошлом офицера, у которого в России во время войны произошла одна история, и как это через много лет неожиданно отозвалось. Подправлял некоторые старые вещи. Написал несколько рассказов и рецензий; я пишу и посылаю в Москву рецензии-рассуждения о новых немецких и французских книжках, мой брат получает там какие-то скудные гонорары. Ещё написал рецензию на вышедшую только книгу известного критика Натальи Ивановой «Скрытый сюжет», которую (книжку) эта дама мне подарила на ярмарке во Франкфурте. Рецензия была отвергнута.

Вопрос о двух литературах, вроде бы давно закрытый, для меня отнюдь не закрыт: я, хоть и пишу по-русски, чувствую себя совершенно отторгнутым от литературы в России, точнее, от той части русской литературы, которая существует в самой России.

Вы спрашиваете о литературной жизни — очевидно, русской — в Мюнхене. Здесь есть несколько литературных кружков, один из них я изредка посещаю. Любопытная вещь: первая послереволюционная эмиграция называла

себя последней. Старики вымирают, дети натурализуются. Но пришла война, и с ней вторая эмиграция. Она тоже считала себя лишённой будущего. Прошло ещё несколько десятилетий, явилась третья волна (к которой я принадлежу), потом советская власть рухнула, и снова, теперь уже как будто с полным основанием, заговорили о том, что самое понятие эмиграции лишилось смысла. Ан нет: возникла новая эмигрантская литература.

Небольшие тексты Мих. Безродного я как-то раз читал в журнале «Крещатик» (есть такой, но не в Киеве, а в Германии), они показались мне претенциозными, и ничего другого я уже не стал читать — может быть, напрасно.

Дорогая Влада, держитесь. Пишите о чём хотите, мне интересно всё, что касается Вашей жизни, работы и мысли. Не можете ли Вы прислать Ваш доклад о «русско-немецкой коммуникации»?

Жму руку.

Ваш ГФ.

12.02.04

Дорогая Влада, в словах питерского иконописца показалось мне, по правде говоря, что-то не того; послышался отзвук чего-то заимствованного. Страдание в такой же мере обогащает человека, как и калечит. Это, конечно, долгая и скользкая тема, но любимая мысль Достоевского сейчас, оглядываясь на минувший век, звучит, по-моему, чуть ли не насмешкой.

Мою рецензию на книгу Н. Ивановой отвергли, так как, по правилам журнала «Знамя», рецензии на сочинения собственных сотрудников они не помещают. Это вполне резонно. Но вообще-то меня в этом журнале, как мне кажется, не очень любят.

А вот недавно я случайно прочитал (в православно ориентированном журнале «Континент») такой отзыв о своей прозе: «В повести “Третье время” (“Дружба народов”, № 5) Б.Х. описывает пробуждение эротических влечений у

подростка. Дело происходит во время войны в поселке, где практически нет мужчин, зато молодых, исполненных томления женщин более чем достаточно. Подросток романтически влюбляется в одну, но первый сексуальный опыт переживает, разумеется, с другой — после чего пытается совершить самоубийство. Текст донельзя литературный, вычурный и переусложненный отвлеченными умствованиями, якобы принадлежащими тому же герою, в гораздо более зрелом возрасте пытающемуся осмыслить эпизод своего грехопадения».

Насчёт немецкой поэзии... Года два тому назад я составил, безо всякого повода и без надежды опубликовать, поэтический сборник, он назывался «Абсолютное стихотворение. Маленькая антология европейской поэзии». Не более и не менее. Это были стихи, почему-либо важные для составителя. Открывалась эта антология Пушкиным («Из Пиндемонти»), а далее следовали поэты в хронологическом порядке, античные, средневековые и далее до нашего времени, западные и русские, всего около 50 имён, если не ошибаюсь. Каждый поэт представлен одним произведением, если это иностранец, то приведён подлинник и подстрочный прозаический перевод, над переводами трудился я сам, и, кроме того, каждому стихотворению было предпослано краткое вступление — не академическое, само собой. Так вот, был там и Пауль Целан, но не то стихотворение, сравнительно мало известное, о котором я прошлый раз упомянул, а знаменитая «Фуга смерти».

Целан, как Вы знаете, поэт весьма трудный. В одной речи он сказал: «Я нахожусь на другом уровне пространства и времени, нежели мой читатель; он может понять меня лишь “на расстоянии”, ухватить меня непосредственно он не может: каждый раз он хватается за решётку, что стоит между нами».

Попробуйте перевести:

In den Flüssen nördlich der Zukunft  
werf ' ich das Netz aus, das du

zögernd beschwerst  
mit von Steinen geschriebenen  
Schatten.

«На реках к северу от будущего я забрасываю сеть, и, медля, ты загружаешь её тенями, что написали камни».

Перевод, конечно, неуклюжий, далеко не передающий всех оттенков смысла, не говоря уже о красоте и лаконизме стиха. Но что, собственно, означает это стихотворение? Я придумал для себя такое толкование:

Тебя нет, ты живёшь в памяти, на дне рек, уносящих к полярному океану наше мёртвое, несбывшееся будущее. Туда, на холодный север, я отправляюсь, чтобы встретиться с прошлым, встретиться с тобой; туда забрасываю невод, мою поэзию. И вытягиваю — даже не камни, а тени, которые отбрасывают камни, тени окаменевшего будущего, бывшего будущего.

«Тень», Schatten (одно из ключевых слов Целана) ассоциируется с зыбкостью и темнотой, с царством мёртвых, но, как сказано в другом стихотворении: Wahr spricht, wer Schatten spricht. Кто говорит тенями, глаголет истину. Можно перевести иначе (памятуя о том, что Wahrspruch — это вердикт): кто говорит тенями, выносит приговор.

Это отвечало — в какой-то мере — замыслу и содержанию романа.

Жму Вашу руку, будьте здоровы и мужественны.  
Ваш ГФ.

29.07.04

Дорогая Влада,

мне приходилось иметь дело с немецкими славистами разных поколений, но их суждения о России (как и высказывания разных других людей — друзей, знакомых) не всегда вызывали у меня реакцию, подобную Вашей. Взгляд со стороны — немецкий взгляд на Россию — может быть стра-

нен, даже смешон. Но он вовсе не обязательно равнозначен непониманию. Я старался представить себе тот образ страны, который определяет эти высказывания. Ведь и мы тоже полусознательно руководствуемся в наших представлениях о Германии неким стереотипом — обобщённым образом страны, адекватность которого может быть поставлена под сомнение.

Не знаю, удалось ли мне вполне понять моих собеседников, но я всё же сообразил, что существует, например, немецкий Чехов и он отличается от русского Чехова, хоть и ничем не хуже. Что тут странного? Чехов принадлежит всему миру. Существует немецкая Россия, отнюдь не совпадающая с нашей, так же как существует мало похожая на Германию русская Германия. Самое это слово «Германия», не правда ли, воспринимается иначе, говорит нам нечто иное, нежели немецкое Deutschland или французское Allemagne. Словно это не одна и та же страна. Когда двадцать с лишним лет назад я первый раз был в Münchener Kammerspiele и увидел «Вишнёвый сад» в постановке покойного Эрнста Вендта, я был вначале ошарашен, мне показалось, что это какая-то невероятная, невысказанная Россия. Я скосил глаза на публику и увидел, что люди, как зачарованные, не спускают глаз со сцены. Для них это было искусство, исполненное высшей правды. Когда-то я видел в Москве, с хорошим составом актёров, пьесу Гауптмана «Перед заходом солнца» (менее популярную здесь, чем в России), и вот теперь я думаю, какой дичью, вероятно, показался бы этот спектакль немецкому зрителю.

Я не раз слышал от наших людей, которые говорили о немцах: они ничего не понимают! Куда им... Они не в состоянии понять Достоевского, и так далее. При этом оказывалось, что говорящий со своей стороны не только не понимает, но и не хочет понять немцев, а главное, не отдаёт себе отчёта в том, что усвоенный им образ или стереотип другой страны — в данном случае образ Германии — ничуть не ближе к действительности, чем образ или стереотип России у его оппонентов.

Ну вот, Вы славно потрудились и теперь, вероятно, предвкушаете отдых в теплых краях. Какие у Вас дальнейшие планы? Что подельывает Ваша диссертация? Что читаете?

Я занимаюсь, как и прежде, литературой, меня одолевает страх, что когда-нибудь я не смогу писать. В Москве вышли две моих книжки.

Жму Вашу руку, дорогая Влада, пишите.

Ваш ГФ.

## К Г.С. Померанцу<sup>1</sup>

16 янв. 2004

Дорогие Гриша и Зина! Сегодня получил, после долгого перерыва, Ваше письмо от 13 декабря. Оно шло немного больше месяца, но и на том спасибо. Когда-то я сидел в общей камере с 62-летним художником московского Еврейского театра Израилем Герцевичем Кушнером, он говорил, что его посадили (арестовали на улице, заманив в машину) за то, что он будто бы сказал, что в стране с «такими сортирами» социализм не построишь. С сортирами, может, и получилось бы, но с такой почтой, как выяснилось, в самом деле, социализм построить невозможно, — и, может быть, к лучшему. Что же касается построения капитализма, то и тут пока что можно, по-видимому, говорить о моделях XVI—XVII веков. Это хищнический, анархический и беспринципный капитализм тёмных выскочек, нацеленный на сиюминутную прибыль любой ценой. Поэтому можно только удивляться тому, что время от времени ещё появляются приличные телевизионные передачи (об одной из них Вы пишете), издаются более или менее серьёзные книги и пр.

Вы упомянули С.Я.Левит. Мне легко представить себе её положение: нет спонсоров, не существует меценатов, нет денег для выпуска книг. Единственное, что меня удручает, это несокрушимое молчание — и после того, как эта контора выразила желание издать книгу моих статей и этюдов о Германии, так что я потратил уйму времени на подготовку

---

<sup>1</sup> Григорий Соломонович Померанц — писатель, литературовед, мемуарист, историк, философ.

текстов, и на сугубо вежливый запрос, не заинтересует ли их наша с Вами переписка. Но не отвечать на письма — в России обычное дело. С вами будут общаться только в том случае, если от вас ожидают пользы; вам будут писать и расточать комплименты, если в вас нуждаются. Вообще же говоря, мы ведь в конце концов привыкли к тому, что вежливость в нашем отечестве обычно воспринимается как знак подобострастия.

Что сказать Вам нового. Время от времени я получаю косвенные известия о Вас через Блюменкранцев. К тому времени, когда это письмо доберётся до Москвы, — а мои послания идут ещё медленнее, чем Ваши, — всякие новости устареют.

Я продолжаю это письмо через несколько дней, так как случилась неприятность: я угодил в больницу из-за довольно обильного кровотечения из варикозных вен. На чём же мы остановились? На новостях. Я, как Вы, вероятно, догадываетесь, занимаюсь всё тем же: литературой. Закончил свой «русско-немецкий роман», написал ещё одну повесть на близкую тему (она даже написана от лица бывшего офицера вермахта), написал разные другие вещи. Время от времени сочиняю полуэтюды-полурецензии на новые немецкие и французские книги для «Знамени», некоторые из них, хоть и со скрипом, публикуются. Вряд ли, конечно, эти вещи могут уж очень заинтересовать редакцию, не говоря о читателях. Сейчас немного занимаюсь Луи Селином — помните ли Вы такого?

Вы упомянули «Сад отражений». Конечно, никаких возражений нет против того, чтобы Вы упомянули или процитировали этот рассказик. Интересно только: в какой связи? Какое это имеет отношение к эмигрантам и т.д. А ещё интересней мне было бы прочесть Вашу статью об эмиграции; буду очень благодарен, если пришлёте.

В Вашем рассказе об Иерусалиме есть замечательное словцо: митрополитбюро.

Крепко обнимаю Вас, дорогие.



15.02.04

Сегодня — так быстро! — получил Ваше письмо, дорогой Гриша, большое и интересное. Неужели тот, кто читает письма (если читает), внял моим сетованиям на медленную работу почты? Начну с конца. Моё паспортное имя, контаминация греческого с древнееврейским, было, вероятно, придумано моей рано умершей матерью. Моего деда по отцу звали Грейнем, о нём известно, что он был ремесленник в городке Новозыбков нынешней Брянской области, был бедным человеком и умер сорока лет с небольшим, оставив жену и четырёх детей без средств. Известно также, что он считался знатоком Торы и Талмуда и не симпатизировал большевикам. Моя рыжая (в прошлом) щетина, вероятно, тоже его наследство. Что же касается блаженного Иеронима, переводчика Библии на латынь и, кстати, умершего в Вифлееме, то причём он тут, непонятно. Как бы то ни было, «Героним» осталось именем, которое существует только в бумагах; меня всегда звали Гена или Геня — как Вам будет угодно.

Теперь от Иеронима к Селину. Мы с Вами читали «Путешествие на край ночи» в одном и том же советском издании 1935 года и приблизительно в одном возрасте. Мне было 17 лет, я был рабочим на почтамте; книжку дал мне прочесть мой дядя, у которого была богатая библиотека, оставшаяся после того, как исчез его отец. (Женé всё время отвечали, что он где-то работает, она умерла в 50-х годах, всё ещё надеясь, что он жив, тогда как он был расстрелян вскоре после ареста в 1938 году.) Позже я интересовался Селином от времени до времени, но, конечно, никогда им не увлекался. Помню, мне однажды захотелось почитать его по-французски, оказалось, что я плохо понимаю аргю; тем не менее я понял, что это на свой лад выдающийся стилист. Однажды, это было уже в Германии, я видел по телевидению большой французский документальный фильм о Селине, это было тяжёлое зрелище. Нынешняя рецензия получилась случайно: я увидел в магазине книжку о нём. (Посылаю Вам эту статейку для развлечения.)

Мне понравилась Ваша попытка сблизить Селина с забывенным Венечкой Ерофеевым, такая параллель мне не приходила в голову.

(Любопытно, что Вам запомнилась фраза о том, что американцы любят, как птицы. В романе Гр. Грина «Тихий американец» есть такое место: «Любить аннамитку — это все равно, что любить птицу: они чирикают и поют у вас на подушке».)

Весы, где на одной чашке энтузиазм, а на другой цинизм, — прекрасно сказано. У Селина, впрочем, цинизм — это продукт отчаяния; другой вопрос, откуда оно взялось. Можно сослаться на опыт мировой войны, опыт врача, который видит изнанку жизни, и опыт работы в колониях. Но, кажется, мало кто или даже вовсе никто из писавших о Селине не принимал во внимание медицинскую сторону дела: он был ярко патологической личностью, клиническим психопатом (не психотиком).

Вы ошибаетесь, думая, что «Записки Гадкого утёнка» мне не понравились. И первое, и второе издание я читал с напряжённым интересом. То, что я не во всём мог вполне согласиться с автором, ничего не меняет. Рецензии, которые я печатаю (если их печатают) в России, отчасти в Америке, обыкновенно посвящены иностранным, не в России вышедшим книгам; правда, недавно я сочинил статью-рецензию о переписке Чуковского с дочерью и статью о книге критика Нат. Ивановой «Скрытый сюжет», полученной мною в подарок от автора на ярмарке во Франкфурте (эту рецензию «Знамя» отвергло).

Так или иначе, я охотно написал бы об «Утёнке». Беда в том, что редакторы за немногими исключениями не отвечают, получен ли текст и каково их решение; связь с Москвой — это почти всегда улица с односторонним движением. Мне приходит в голову, что причина, возможно, кроется в географии: Россия — очень далёкая страна. Не зря сказал классик: три года скачи, нидокуда не доскачешь. Может быть, Вы что-нибудь подскажите: где можно было бы напечатать развёрнутую рецензию, кто мог бы её взять. Напишите мне.

«Третье время», о котором Вы упомянули, долго лежало сначала в «Октябре», потом в «Дружбе народов», куда я его даже не послал, а принёс, потом появилась в «Дружбе» новая редакторша, которая решила опубликовать это сочинение. О нём я случайно увидел в библиографическом отделе журнала «Континент» (который я читаю очень редко) следующий отзыв:

«В повести “Третье время” он (т.е. Б.Х.) описывает пробуждение эротических влечений у подростка. Дело происходит во время войны в поселке, где практически нет мужчин, зато молодых, исполненных томления женщин более чем достаточно. Подросток романтически влюбляется в одну, но первый сексуальный опыт переживает, разумеется, с другой — после чего пытается совершить самоубийство. Текст донельзя литературный, вычурный и переусложненный отвлеченными умствованиями, якобы принадлежащими тому же герою, в гораздо более зрелом возрасте пытающемуся осмыслить эпизод своего грехопадения».

Некое приветствие от берегов отчизны дальней.  
Сердечно обнимаю Вас и Зину.

15.02.04

Дорогой Гриша, я послал Вам письмо, но представилась возможность воспользоваться электронной почтой. Я не прочь написать что-нибудь вроде отзыва на второе издание «Утёнка». Но, чтобы это напечатать, нужно прежде всего иметь знакомство. Не порекомендуете ли Вы мне кого-нибудь, кто хотя бы прочёл рецензию, а может, и напечатал бы? Обычно никто на письма не отвечает. Ваш Г.

04.03.04

Дорогой Гриша! В четвёртый раз пытаюсь переслать Вам это письмо, которое почему-то возвращается. Я бы хотел сначала дать Вам прочесть мою короткую и, возможно,

во многом уязвимую рецензию; сообщите, могу ли я переслать Вам её этим же способом. Если всё же Вы не будете возражать против публикации, дайте знать, кому её можно предложить, — или, может быть, передадите сами. Дело в том, что без знакомства, как я уже Вам писал, в России делать нечего: рецензию не только не напечатают, но и не прочтут. Рассчитывать на ответ, какой бы то ни было, тоже не приходится. Миша Блюменкранц сказал мне, что Вы упомянули «Вестник Европы». Но за весь прошлый год был выпущен только один номер. Не зачах ли журнал? Ваше письмо я ещё не получил, оно придёт, дай Бог, если через месяц. Кроме того, рецензия, даже если её примут, будет лежать в редакции много месяцев из-за очень долгого издательского цикла. Поэтому ответьте мне как-нибудь не по обычной почте.

Обнимаю Вас и Зину, Ваш Г.

24.11.04

Дорогой Гриша,

как я рад получить от Вас весточку и «Сны земли» с тронувшей меня надписью. Книга издана очень хорошо, в красивой обложке и на приличной бумаге. Культурный и содержательный редакционный комментарий. Вчера я до глубокой ночи читал, перелистывал, вспоминал наши старые времена. Когда-то мы с Лорой читали эту книгу в Москве, а приехав в Мюнхен, я познакомился с Сергеем Пироговым, который готовил её для издания в Париже, составлял примечания, и мы выверяли кое-какие фактические сведения. Тогда же я написал краткое предисловие и теперь вижу его с каким-то ностальгическим чувством. Как давно это было! И как изменилось многое. Но мне всегда казалось — кажется и теперь, — что «Сны земли», особенно главы об Ире Муравьёвой и Анатолии Бахтыреве, принадлежат к лучшему из написанного Вами. Для меня оба этих образа, воссозданных, а лучше сказать, созданных Вами, давно стали живыми людьми и даже персонализированными символами эпохи, при том что я никогда их не видел.

Вы пишете мне о возможности издать нашу переписку. Прошлый раз, в письме от 11 марта, которое Вы, по видимому, получили, я говорил об этом. Есть известные трудности (большая часть писем хранится в Бременском русском архиве, Ваши письма написаны от руки и не датированы, набирать на компьютере для меня сложное дело, требуется дополнительное финансирование, перепечатывать письма на пишущей машинке невозможно, так как машинок давно не существует), но дело не только и даже не столько в них. Дело в том, что я не верю никаким обещаниям С.Я. Левит. В своё время она предложила мне издать сборник этюдов о Германии (или о Германии и России), я имел глупость отнестись к этому предложению всерьёз, готовил этот сборник, выверял тексты и т.д. Всё ушло в песок, с тех пор я никогда не получал от редактора никаких сообщений. Я не обиделся бы, если бы меня хотя бы коротко известили, что книжку почему-либо не удаётся опубликовать. Но презрительное отношение московских издателей к авторам, особенно к тем, кто живёт далеко и в которых видят просителей, — не новость. Чем вежливей вы обращаетесь к издателю, тем больше там уверены, что делают вам одолжение. Забудем об этом.

То, что Вам предстоит переселение, для меня неожиданность. Переселение — куда? Время от времени я встречаю Ваши публикации в журналах, слава Богу, Вы по-прежнему на коне.

Я собираюсь через две недели ехать в Прованс и надеюсь вернуться в середине сентября. Почта работает всё так же плохо, к этому времени письмо, вероятно, всё ещё будет лежать на Международном почтамте или где там. Занимаюсь я, как и прежде, литературой, вышел мой роман «К северу от будущего», выпущен также небольшой сборник статей под названием «Ветер изгнания». Хорошо, что я не послал рецензию на «Гадкого утёнка» в «Знамя», там подряд зарубили три моих рецензии.

Крепко, от всего сердца обнимаю Вас и Зину.

18.06.05

Дорогие Гриша и Зина! Моё последнее письмо к Вам было послано, если верить компьютеру, в конце августа прошлого года, — как быстро летит время, и вместе с тем как давно это было. Правда, я регулярно слышу о Вас от Милы и Миши Блюменкранцев. Несколько дней назад я вернулся из Франции и нашёл в ящике подарок — Вашу совместную книгу «В тени Вавилонской башни». И, как встарь, до поздней ночи читал и перелистывал. Большое спасибо! Кстати, хорошая немецкая репродукция Троицы Рублёва, воспроизведённой на обложке, давно висит в моей комнате, она и сейчас у меня перед глазами.

Я ездил (уже второй раз) по приглашению одного парижского издательства, сначала прилетел в Ниццу и совершил что-то вроде литературного турне по Провансу, потом прибыл в Марсель, оттуда в Париж. На этом официальная часть закончилась, я провёл ещё две с небольшим недели в Париже, в гостинице на Монмартре, где уже останавливался не раз. Посетил, среди прочих мест и знакомцев, старого приятеля Сёму Мирского и был в гостях у М.В.Розановой. Она постарела, как мы все, но в общем всё та же. Встречался в Ницце и в Париже с Рене Герра́, видел его богатейшую коллекцию — целый музей картин, книг, писем, автографов, всевозможных реликвий первой русской послереволюционной эмиграции. Был, между прочим (ездил с переводчицей моей книжки и её мужем), в Илье-Комбре близ Шартра — обратите внимание на второе название: *Combray*, единственное географическое наименование, изобретённое писателем для вымышленного городка и ставшее официальным. Там можно увидеть всё, о чём говорится у Пруста.

В общем-то больших новостей, слава Богу, до сих пор не было. В Москве вышло несколько моих книжек, о которых Вы, очевидно, знаете. В Москве же с помпой отмечался День победы, в этом праздновании не обошлось, как мне кажется, без неприятных, даже отталкивающих мотивов.

Но независимо от всего этого я последние годы то и дело почему-то обращался к тем временам, хоть и не был на войне, и пытался взглянуть на всю эту эпоху не одним, а двумя глазами. Кое-что публиковал. Но это долгая тема.

Сообщите мне, пожалуйста, можно ли писать Вам по электронной почте, ведь обычная несколько не усовершенствовалась. Мой электронный адрес на всякий случай: borischasanow@t-online.de

Очень хочется получить от Вас — так или сяк — весточку.

Сердечно обнимаю Вас.

Ваш Г.

23.08.05

Как приятно, дорогой Гриша, получить, после долгого перерыва, весточку от Вас. Письмо от 8 августа пришло сегодня, — можно сказать, довольно быстро. Хвори хворями, но Вы всё так же на коне, сужу по Вашим публикациям и рассказам Миши и Милы. Моя жизнь, как Вы знаете, круто переменялась. Поездки и прочие дела отменены. Всё же я стараюсь по-прежнему заниматься литературой и даже пробую подвести, на свой лад и в меру моих возможностей и кругозора, кое-какие итоги столетия, в котором нас угрозило родиться. Мы ведь с Зиной почти ровесники (мне 77 с половиной). Но если попытаться — что всегда рискованно — дать обобщающую оценку этому веку, то она у меня получится, вероятно, мрачнее, чем у Вас. Медленный, но неуклонный сдвиг настроений в России, отмечаемый почти всеми, тоже как-то не внушает оптимизма.

По-видимому, Вы всё ещё на даче. Удаётся ли там что-нибудь сделать, написать? Какое впечатление произвёл на Вас последний выпуск «Второй навигации»? Чем вообще Вы сейчас заняты? Очень хотелось бы получить от Вас более обстоятельный отчёт.

Сердечно обнимаю Вас и Зину.

Ваш Г.

18.12.05

Дорогой Гриша, дорогая Зина,

вот уже и Новый год на носу, это будет наше двадцать третье Рождество в Германии. Сегодня последний Адвент, против обыкновения за окнами настоящая зима, белый туманный день, воскресная тишина. Несколько времени назад я получил от Вас долгожданное письмо, но посылать сейчас ответ по обычной почте, видимо, нет смысла, в эти недели почта перегружена. Я надеюсь, что у Вас всё более или менее в порядке.

Мои мысли сейчас где-то далеко, я всё больше живу в воспоминаниях. Загляните в «Исповедь» Августина, если она у Вас есть (я, к сожалению, могу здесь пользоваться только латинским текстом), в знаменитую XI книгу, там говорится в гл. 14, что «настоящее, если бы оно всегда оставалось настоящим и никогда не переходило в прошлое, было бы не временем, а вечностью». Вот в такой псевдовечности и живёшь. Пытаюсь по-прежнему заниматься своей литературой, но лишь урывками. Мы тут с Мишей Блюменкранцем понемногу (главным образом по телефону) обсуждаем предстоящий очередной выпуск «Второй навигации», он подобрал хорошую картинку для обложки — «Мадонну с ребёнком» Эгона Шиле; теперь нужно для хомута подыскивать лошадь: требуются материалы о религии в современном мире. Тема во многих отношениях скользкая. Не предложите ли Вы что-нибудь своего?

Сердечно обнимаю Вас и поздравляю с праздниками.

Ваш Г.



## К Нине Кацман<sup>1</sup>

22.10.04

Дорогая Нина, твоё письмо, твой отклик на мою книжку произвели на меня большое впечатление. Я очень польщён твоей похвалой. Всё же догадываюсь, что ты была ко мне очень снисходительна. Как бы то ни было, лучшего читателя не может быть.

Недоразумение, о котором ты пишешь, связано, видимо, с тем, что редактор «Вагриуса» Елена Шубина ещё раньше предложила мне составить короткий список лиц, которым издательство могло бы бесплатно передать или переслать экземпляр романа. Я, естественно, назвал тебя. Но у меня не было уверенности, что моя просьба будет выполнена. Конечно, я буду очень рад, если ты сумеешь послать свободный экземпляр Гале Полонской (у меня нет её адреса) и передашь ей большой привет.

Что сказать о книге. По просьбе редактора я написал к ней послесловие от автора. Но тебе и так ясен «автобиографический» фон. Ставлю это слово в кавычки, так как роман всё же очень далёк от того, чтобы можно было называть его автобиографией. Существует правило: и собственная жизнь автора, и жизнь других людей может быть только материалом. Не больше и не меньше. Материалом — для чего? Для литературы, которая диктует сочинителю свои законы и конечные цели которой, как говорил Блок об искусстве, нам неизвестны. Фоном, кулисами в данном случае, действительно, служит нечто реально существовавшее: наш

---

<sup>1</sup> Нина Лазаревна Кацман — профессор классической филологии, педагог-методист.

университет на Моховой; что же касается «актёров», то они играют пьесу, которая представляет собой гибрид воспоминаний, домыслов и беспардонной фантазии.

Память избирательна, и не всегда понятно, отчего иногда забывается важное, а неважное, какая-нибудь незначительная мелочь, застревает в памяти. При этом разные люди запоминают разные вещи. Профессор Кокиев читал историю Древнего Востока, читал очень скучно, я довольно часто пропускал его лекции. Не помню, видел ли его Яша Меерович в тюрьме, рассказывал ли об этом, когда мы с Яшей, уже в начале марта, встретились в общей камере после окончания так называемого следствия. Но сам я, действительно, видел Кокиева, незадолго до этого, в день объявления приговора. Тюремь были переполнены, Особое совещание — заочное судилище — работало, как конвейер. Было собрано в большую, битком набитую камеру множество людей, самых разных, осуждённых этой таинственной комиссией в один и тот же день. Каждого вызывали, какой-то человек за столом, плюгавого вида, в мундире без погон, зачитывал срок и давал подписать бумажку о том, что приговор объявлен. После этого возвращались в камеру, но лишь те, кто получил не больше 10 лет, остальных отсортировывали в другое место. Я вернулся, кто-то услышал, что я студент университета, и сказал: а вот тут сидит ваш профессор. Я подошёл, это был Кокиев, у него был совершенно убитый вид. Я сказал ему, что сдавал у него зачёт. Он поднял голову и спросил: а сколько Вы получили на этом экзамене?

О войне. Может быть, ты права, и возникает впечатление известной односторонности. Война сама по себе — лишь пролог к роману, но для меня была важна мысль о том, что молодёжь нашего поколения, даже те из нас, кто не успел побывать на фронте, — были ранены войной, хоть и не отдавали себе в этом отчёта, несли на себе её клеймо и в конце концов, как и выжившие фронтовики, остались у разбитого корыта.

Здесь, в Германии, я в разное время довольно много читал о войне, видел множество документальных фильмов,

встречался с бывшими солдатами вермахта. У меня есть друзья, участники или современники военных лет, с которыми я много и достаточно откровенно разговаривал о войне. Вообще я мог бы многое рассказать об этом. Нечего и говорить о том, что немцы меньше всего склонны возвеличивать эту войну или оправдывать агрессию против СССР. Наоборот. Поэтому, например, трагедия корабля «Вильгельм Густлофф» здесь до самого недавнего времени оставалось запретной темой, говорить о которой было не принято. Точно так же, как не говорили о том, что творилось в последние месяцы войны, когда Красная Армия вступила на территорию Германии. Считалось, что массовые изнасилования, грабежи, погромы и т.д. — это заслуженная кара.

Можешь мне поверить, я вовсе не собирался обелить кого-нибудь или что-нибудь. Слава Богу, обо всём, что натворили в России, здесь не забывают. Недели не проходит, чтобы телевидение, радио и газеты не напоминали об истреблении евреев и обо всём прочем. Но я привык и к тому, что здесь мало-помалу поняли: коллективная вина — это злокачественный миф. Вина может быть только личной. Говоря о массовой или всеобщей виновности, мы снимаем ответственность с конкретных преступников. Ответственность несёт человек, конкретные люди, а не народ. «Наша» победа, наша национальная гордость, подвиг народа или, напротив, преступление народа — от всех этих фраз меня с души воротит. Как воротит и от мифологизации войны, всё ещё владеющей сознанием людей в России. Мне тяжело смотреть на чудовищный памятник Жукову. Мне кажется, это какое-то надругательство над жертвами. Я думаю, что я научился смотреть на события прошлого не одним, а двумя глазами. Почему я пишу о том, что победа в войне с Германией была одновременно и поражением? Об этом немного говорится в послесловии.

Цена, которую заплатили за победу над Германией, не уступала цене, которую заплатила Германия за свою агрессию. Советское государство одержало победу, а народ остался с переломанным позвоночником. Обратной стороной великой победы оказался разгром, война обернулась

поражением, потому что жертвы, принесённые ради победы, были непомерны и далеко не везде и не всегда были необходимы. Точнее, они были необходимы по понятиям советского режима и его вождя, не признававшего другой тактики. Военачальники не щадили солдат. Американцы, даже немцы по возможности бережно относились к так называемой живой силе. Советские командиры, от высших до низших, знали: невыполнение приказа свыше грозит трибуналом, а за жертвы никто не спросит. Выигрыш должен быть достигнут любой ценой. Человеческая жизнь ничего не стоит, потому что людские ресурсы России неисчерпаемы. Они, однако, оказались почти исчерпаны.

Неисчислимое множество молодых солдат погибло в последние дни войны в Берлине только потому, что город, заведомо обречённый, лишённый подвоза и задыхающийся в дыму пожаров, нужно было взять непременно к 1 мая. Нужно было доложить вождю и величайшему полководцу всех времён и народов (буквально так же называл себя Адольф: *Größter Feldherr aller Zeiten*), что знамя победы водружено над рейхстагом. Почему именно над рейхстагом? Опустевшая руина, бывший парламент, который в гитлеровском государстве не играл никакой роли, почему он должен был выглядеть как конечный пункт, как цель и символ победы, почему не подлинное сердце нацистского режима — помпезная Имперская канцелярия, почему не Бранденбургские ворота?

Победа оказалась поражением и потому, что её непосредственным результатом было новое ужесточение режима. Ждали реформ, надеялись на что-то новое, всё было забыто: жуткие 30-е годы, паническое отступление первых месяцев войны — результат неподготовленности и беспардонной довоенной лжи, миллионы сдавшихся в плен, чудовищная жестокость партизан, все политические и стратегические ошибки вождя и верховного командования — всё забыто. Казалось, начнётся новая жизнь. Ничего подобного. Все ожидания были напрасны. Ни о каких реформах не могло быть и речи. Вождь известил свой народ о том, что капиталистическое окружение сохраняется, — это

была условная формула, сигнал к возобновлению террора. Тотальная пропаганда превзошла все прежние достижения, воспевание вождя, истерический культ приняли характер какого-то массового безумия. Эх, о чём говорить, — ты всё это знаешь не хуже меня.

Между прочим, я тут как-то размахнулся на ещё одну повесть о войне. Называется «Ксения» и напечатана в только что вышедшем «немецком» номере журнала «Звезда», 2004, № 9. Повествователь — бывший офицер штаба 6-й армии, окружённой под Сталинградом. Но это, конечно, не политическая история, а история любви.

Письмо получилось довольно сумбурным. Дорогая Нина, ещё раз большое, большое тебе спасибо. Читаю и перечитываю твоё письмо.

Жму руку, твой старый друг Г.

*26.10.04*

Дорогая Нина, я даже не знал о том, что у тебя были в университете неприятности по комсомольской линии, целое дело и так далее. И мне бы очень хотелось узнать подробности. Петра Юшина я не знал. Нашу Тамару Виноградову помню, однажды, через много лет, случайно встретил её в Москве. Похоже, что она сделала карьеру (в отличие от Ивана Скляра, у которого так ничего и не получилось; но Ваня не был злокачественной личностью). Ты упомянула Лину Абкину. Я сохранил о ней, вопреки всему, тёплое воспоминание. Кажется, её жизнь сложилась трагически. Расскажи мне, если можешь, немного о ней.

Я поражаюсь, как многого мы, то есть я, Яша, да и все мы, не знали. Университет, который так много значил и значит в моей жизни, кишел стукачами. Но так называемых активистов, по крайней мере некоторых, я помню. Помню историю с Яковом Билинкисом. (Ты спрашивала, кто такой Былинкин.) Билинкис был знаменитостью, носился по факультету, был какой-то важной комсомольской (или даже партийной?) шишкой, бывший партизан. Потом вдруг его не стало видно, распространился слух, что он

придумал себе боевую биографию. То, что написано в романе о Былинкине, — в значительной мере вымысел. Но я действительно увидел его однажды, после всех этих дел: он шёл, крадучись, вдоль стенки; потом стало известно, что ему удалось зацепиться на заочном отделении. Много лет спустя я купил в Ленинграде томик Грибоедова и вижу: «Вступительная статья доктора филологических наук Я.Билинкиса». Его уже не в живых.

Другая тема. В годы перестройки сюда наезжали писатели из России. Однажды в Мюнхенском университете Людвиг-Максимилиана выступал перед студентами Солоухин. Он говорил о борьбе советских писателей за сохранение памятников старины, об уничтожении памятников, протянул руку к окну и сказал: «Представьте себе, что в этом городе уничтожены все церкви!» Ему в голову не пришло, что так оно и было. Я говорю это к тому, что цена, которую заплатила Россия, была, как ты пишешь, больше и страшней; это и так, и не так. Смешно, конечно, меряться бедами и потерями, да это и не по моей части. Но о том, каковы были потери России, о масштабе этих потерь, теперь в России, по крайней мере, знают. О том, что случилось с другими странами, знают плохо, а главное, это мало кого интересует. Эта отгороженность от чужих бед, может быть, и понятная, отсюда глядя, кажется странной. Людские потери СССР, как ты знаешь, долгое время скрывались, фальсифицировались, вполне надёжных цифр нет до сих пор. Во всяком случае, абсолютные потери больше, чем у всех других участников войны. По относительным же потерям Советский Союз занимает третье место после Польши, потерявшей треть населения, и Германии, где погибла четверть мужчин и — от бомбардировок — огромное множество населения в тылу. Не было ни одного сколько-нибудь крупного города, который не был бы разрушен, порой на 70, 80 или 90 процентов. От Кёльна ничего не осталось, посреди руин стоял только уцелевший огромный собор. Дрезден погиб в одну ночь. Почти полностью погиб Берлин. Вся центральная часть Мюнхена представляла собой сплошные развалины и так далее. Всё это в общем-то хорошо известно.

Конечно, в определённом смысле — ты совершенно права — разгром Германии, как это ни дико звучит, обернулся не то чтобы победой, но обновлением, какого никто не мог себе это представить: Германии было уготовано прозябание в качестве третьестепенного государства, а вместо этого обрубленная Федеративная республика стала вместе с Японией (тоже побеждённой, и даже ещё ужасней) второй страной в мире по экономической мощи. Советский Союз, в свою очередь, стал второй — опять же после США — мировой державой, но этим достижением мы не могли гордиться. И мысль моего сочинения (если можно говорить о «мысли», ведь невозможно превратить роман в трактат) как раз и была та, что победа — кто же в ней сомневается? — одновременно была и поражением. В частности, поражением для следующего поколения. В общем, мы с тобой, мне кажется, думаем об одном и том же и мало в чём расходимся.

А вот то, что студенты читают с тобой Тацита, это замечательно!

Завтра я собираюсь лететь в Америку (не к сыну, а в Миддлтаунский университет в Новой Англии), надеюсь вернуться 7 ноября.

Будь здорова, дорогая Нина.

Твой старый друг ГФ.

*23.01.05*

Дорогая Нина! Я читаю и перечитываю твоё письмо, должен признаться, с большим волнением. Сразу возникает столько мыслей, что всего за один раз не напишешь. Целая жизнь встаёт перед глазами. Я думаю о том, каким недорослем я был в те времена (да и Яша, конечно), несмотря на то, что мы были всё-таки уже не дети: я, вероятно, всего лишь на несколько месяцев моложе тебя, Яша ненамного моложе меня. Родился я в Ленинграде, вырос в Москве, жили, как все, в коммунальной квартире (у Красных Ворот). Моя мать была пианисткой, она умерла, когда мне

было 6 лет, меня воспитывал мой отец. Он женился вторично, когда мне стукнуло уже 12, потом была война, была эвакуация, откуда мы вернулись в 44 году, в 16 лет я работал, не столько ради зарплаты, сколько ради рабочей карточки, рабочим-сортировщиком на газетно-журнальном почтамте на улице Кирова, бывшей (и нынешней) Мясницкой. Словом, вроде бы уже был знаком с «жизнью». И, однако, жил в каких-то облаках. Я совершенно не знал о том, что ты приехала издалека, ничего не знал и об этом комсомольском «деле» (*res tua*). Может быть, оттого, что я не был, как ни удивительно, комсомольцем, следовательно, не посещал собраний.

Я окончил школу на два года раньше, чем полагалось, не учился в первом классе, а за десятый класс просто сдал экзамены, было это уже в сельской школе в селе Красный Бор на Каме, куда в июле 41 года нас эвакуировали — мою мачеху, меня и моего младшего (сводного) брата Толю, и в этой школе, очень неплохой, в те военные годы вообще ни о каком комсомоле не было речи. Так что я не вступил в эти славные ряды отнюдь не из протеста или чего-либо в этом роде, а просто так получилось. Правда, в том, что касалось нашего великого вождя и всего остального, я был твоим единомышленником. Со мной происходило примерно то же: вначале, когда мне было лет 15, рухнул Ус. А Ленин рассыпался несколько позже. Вдобавок я пришёл к заключению (и считал это своим открытием), что в нашей стране существует фашистский строй. Я знал немецкий язык, и мне, конечно, не могло не броситься в глаза крайне подозрительное сходство терминологии, нашей и немецкой: вождь — *Führer*, и так далее. Мне кажется, я не столько ненавидел вождя, сколько смеялся над ним и над Кратким курсом, а заодно и над всем великим учением. Я помню, что следователь зачитывал мне показание Лены Вахромеевой, где говорилось: «Ф. и М. издевались, называя тов. Сталина по-латыни „наш отец“». Это было правдой. Говорилось также, что мы оба — космополиты. (Показание это никакой роли не сыграло, там было достаточно других преступлений.)



Я помню, как ты появилась на классическом отделении, в группе, которую мы с Яшей называли «француженки». («Душа француженок алкает» — это сочинил Яша, романтически влюблённый в Инну Евсееву. Как всё это помнится!) Вспоминаю ещё, как однажды мы должны были зайти к тебе по какому-то делу — или за тобой, — но не вошли в дом, а стояли под окнами; было это на улице Герцена, очень близко от университета, по левую руку, если идти к Консерватории. Или я ошибаюсь?

Что касается Тамары Виноградовой, то она, по-моему, тоже появилась у нас не сразу, на моей памяти — позже, чем появилась ты (видимо, это ошибка), примерно в одно время с Ваней Скляр. Или я снова что-то путаю? В отличие от Виноградовой, Скляр не был злокачественной фигурой, хотя ещё меньше, чем Тамара, был пригоден для аспирантуры и даже просто для учёбы в университете.

Кстати, в вашей группе — нет, пожалуй, в третьей, вместе с Юрой Шульцем, — училась ещё одна девочка, Нина Радзкая, раньше всех, кажется, вышедшая замуж. На улице Фрунзе, которая теперь, если не ошибаюсь, опять называется Знаменской, недалеко от университета, жила моя двоюродная сестра. Я часто бывал у них. В комнате висела фотография девочек-одноклассниц, и среди них были Нина Радзкая и Лена Вахромеева.

Гнусное время — а вспоминаешь о нём с нежностью. И ещё кстати (или некстати): что случилось с Линой Абкиной? Должен сказать, что я о ней вспоминаю с тёплым чувством. Напиши, если можно, и о других: об Ире Авербах и Ире Дембо, о Рите Пасечниковой, об Инне — как её здоровье?

Ты спрашиваешь, почему нас арестовали, а тебя — нет. Ты могла бы с полным основанием повторить слова Брехта: *Zufällig bin ich verschont. Wenn mein Glück aussetzt, bin ich verloren.* «Я уцелел случайно. Если мою удачу заметят, я пропал».

Наша с Яшей предыстория была проста, она в общих чертах тебе известна: у нас был общий товарищ, Сёма Виленский (который учился во Львове, потом перевёлся в Москву), он был арестован, после этого мы познакомились

и сблизился с его товарищем детства Севой Колесниковым, который был студентом закрытого Военного института иностранных языков и (о чём никто не знал) сыном «сотрудника». Он был посажен к нам, как это, по-видимому, часто делалось, когда прожектор рыскал в окружении арестованного. Сева посадил сперва Сёму, потом нас.

А вот что касается великого вождя и учителя, тут история, если судить по известиям, приходящим из России, отнюдь не закончена. В начале 2003 года, в виду близящегося 50-летия его смерти, редакторша либеральной (по крайней мере, в то время) газеты «Московские новости» попросила у меня статью о нём. Я написал, статья не была напечатана. Правда, кое-что на эту тему и в этом роде я уже писал в другом месте. Всё же — раз уж зашла речь об Усе — посылаю тебе эту статейку для развлечения.

На этом пока закругляюсь, дорогая Нина. В Москву я пока не собираюсь, но, может быть, если будем здоровы, мы приедем в конце лета или осенью, — всё, конечно, ещё вилами на воде писано. Очень жду от тебя писем. Жму руку, твой старый товарищ ГФ.

10.02.05

Дорогая Нина, снова с увлечением и азартом прочёл твой ответ. Статейка, о которой идёт речь, была написана по специальному поводу (годовщина смерти Сталина) и посвящена, собственно, только самому Усу и его роли в войне, коснуться же других тем и «сторон» я не мог, даже если бы сумел. Фраза о тоске рабов по державным сапогам, насколько я могу судить, имела в виду рост симпатий к Сталину и сталинизму, опубликованные в России Л.Гудковым и Б.Дубиним результаты массовых опросов, демонстрации и так далее, — всё это хорошо известно, — но отнюдь не подразумевала весь народ в целом. Известно мне, разумеется, и противодействие, какое вызывают в самой России это поклонение сапогам и попытки возродить сталинизм. Вообще же я никогда не пишу о «народе» и, по правде говоря, плохо понимаю, что означает это слово.

Я, между прочим, хорошо помню, как я оказался в один из дней, когда стало известно о смерти вождя, на ближайшей от нашего лагпункта остановке, — это была последняя, самая северная станция лагерной железной дороги; позднее, когда я был расконвоирован, я был даже одно время «комендантом» этой станции, т. е., попросту говоря, железнодорожным рабочим, — помню, как на путях стоял состав товарных вагонов, так называемых теплушек для заключённых, хотя ехать в них было холодно. В узком верхнем окошке показалась физиономия какого-то сопляка-чернушника и заорала: «Ус подход!»

Как бы там ни было, думаю (как и ты), что в основном и главном мы с тобой едины в наших оценках прошлого, да, пожалуй, и нынешнего.

Но вот сегодня утром по баварскому радио я услышал поистине страшную вещь. Безумная Северная Корея объявила себя атомной державой, последствия этого факта трудно предвидеть. В лучшем случае это означает, что ублюдочный режим, переплюнувший в некоторых отношениях сталинский режим, который его насадил, сможет безнаказанно шантажировать соседей, если не просто ринуться на богатый и процветающий Юг, а там и ещё на кого-нибудь.

Моё пребывание в Париже (куда из Москвы, по случаю того, что нынешний Salon du livre посвящается нашему отечеству, должна нагрянуть целая орда писателей) на этот раз будет коротким, с 8 по 12 марта. Книжка, о которой ты спрашиваешь, — текст переведён, я его вычитал, книгу собираются выпустить к началу марта, — весьма неновое сочинение, повесть или мини-роман под названием «Час короля». Написано ещё в Москве, ходило в самиздате, затем было издано в Израиле, у меня нашли книжку (небольшой сборник прозы) при первом обыске, это был единственный экземпляр, который кто-то привёз из Тель-Авива. Меня, естественно, тягали, некий полковник старался меня убедить, что автор — это я. Дела давно минувших дней. Она была переведена на немецкий и итальянский, позднее

много раз публиковалась и в России. Я порылся в шкафу и нашёл небольшой томик, куда входит эта повесть. Посылаю тебе (обычной почтой) для развлечения.

Вместе с «Часом» там находится ещё один небольшой роман «Антивремя», который тоже был сочинён в Москве, конфискован, рукописи признаны экспертами Главлита (закон есть закон!) антисоветскими, в Германии роман был написан заново и вначале издан покойным Виктором Перельманом в Нью-Йорке. (Я даже не отказал себе в удовольствии послать книгу в Москву некоему высокому чину, руководившему обыском и изъятием бумаг, с дарственной надписью. Вероятно, этот дяденька по имени Юрий Смирнов, который был начальником отдела Московской прокуратуры — филиала КГБ — успешно функционирует по сей день. Надеюсь, он был тронут.) Роман, как и известный тебе «К северу...», — об университете, сюжет, как всегда, выдуман, и всё же, я надеюсь, ты найдёшь там что-то отдалённо похожее на наши времена. Мне кажется, это были самые главные времена моей жизни.

Дорогая Нина, ты почти ничего не пишешь о своей работе. Сильно ли ты загружена? Как выглядят твои ученики, кто они, чем живут, чем интересуются? Происходит ли преподавание языков так, как это было у нас, или что-нибудь изменилось? Как будет отмечаться юбилей Московского университета? Возродился ли Татьянин день? Словом, уйма вопросов. Всем нашим сердечный привет, и, конечно, самые лучшие пожелания тебе.

Жму руку, твой старый друг ГФ.

11.04.05

Дорогая Нина,

умер Юра Шульц — новость, которая меня как-то странно поразила, хотя все мы, как говорится, ходим под Богом. Ты пишешь о своём отношении к нему после того, как узнала и т.д. В мой первый короткий приезд в Москву через 11 лет после эмиграции, я отправился, по предложе-

нию Бена Сарнова, на несколько дней в Переделкино, в дом писателей, где когда-то был один раз в гостях у приятеля, — с тех пор там многое переменялось. И вот, случилось так, что, вылезая из машины перед подъездом главного здания, я вдруг увидел Юру: он как раз в это время там находился. Такое удивительное совпадение. Мы приветствовали друг друга коротко. В следующие дни я встречал его у подъезда, по-видимому, он хотел со мной поговорить, но мне как-то не захотелось. Мы здоровались, и я проходил мимо. Он это понял. Потом я уехал.

Но я должен сказать, что и тогда, и ещё больше теперь, я не питал и не питаю к нему вражды и, может быть, напрасно не захотел поговорить с ним. Что было, то было. После моего возвращения из лагеря — это было оттепельное время — кто-то надоумил нас, меня и Яшу, попытаться встретиться с так называемыми свидетелями, попросить их официально отказаться от их показаний. И мы по глупости решили попробовать. Тут всё приходится ставить в кавычки. Показания были получены в глубокой тайне за десять дней до ареста, нужны были для оформления дела, в котором реальной роли не играли. По тогдашним правилам, арестованному полагалось после окончания следствия ознакомиться с делом, разумеется, со «следственным», а не с оперативным, на это давалось несколько минут, всё же я успел увидеть показания «свидетелей», довольно нелепые. Это то, что мне известно, но, конечно, полностью вся подоплёка дела осталась для меня неясной. Как бы то ни было, я именно это и хотел сказать Юре Шульцу, отправляясь к нему (Яша встретился с Линой Абкиной): что его показания на исход дела никак не повлияли, судьба арестованных была решена заранее, основанием были не свидетельские показания, а доносы осведомителя. В том, что с нами произошло, он не виноват. Я знал, что Шульц преподаёт латинский язык во 2-м медицинском институте, и отправился на кафедру. На лестнице мне повстречалась Таня Мерцалова, она отшатнулась от меня, как от привидения. Но заведующего, то есть Юру, я не застал. Поехал к нему домой, помню, что в Черёмушки нужно было тогда ехать на трамвае.

Дома его тоже не оказалось, он жил с матерью, которая, кажется, заподозрила во мне нежеланного гостя. Тем не менее я дождался его, он предложил выйти прогуляться, и я изложил свою просьбу. Он сказал, что подумает. Через неделю мы встретились снова, он ответил, что звонил следователю и тот посоветовал не писать никаких опровержений. Собственно, вот и всё; этого следовало ожидать. Я почувствовал тогда какое-то отвращение, но, повторяю: дело прошлое, никакого злости на Юру — и уж тем более на Лину — я не испытываю, пожалуй, не испытывал и тогда. Жалел только, что занялся этим. А сейчас жалею, что уклонился от разговора с Юрой в Переделкине.

Я очень хорошо помню наш первый курс, мы часто бывали тогда вместе втроём: Яша, Юра Шульц и я. Оба они писали стихи, мы дурачились. Но Юра был участник войны, и разница возраста, в сущности, очень небольшая, тогда очень чувствовалась. Как-то раз он сказал вскользь, что его отец эстонец. Подозреваю, что отец был немцем, и это должно было осложнить жизнь Юры, если не поселить в нём страх на многие годы. И на этом страхе в МГБ могли легко сыграть. Я не сомневаюсь, что показания были даны под угрозой — прямой или косвенной. Что касается отказа выполнить нашу просьбу, через много лет, то я могу лишь сказать, что просьба-то сама по себе была совершенно дурацкой.

В марте я ездил ненадолго в Париж по приглашению одного французского издательства, которое выпустило к весенней книжной ярмарке (Salon du livre) мою старинную, известную тебе повесть «Час короля» в виде довольно изящной книжки. Это было накануне ярмарки, которая в этом году была посвящена России, прибыла целая когорта отечественных писателей, полуписателей, издателей и полуиздателей; но на самом «салоне» я не был. Почти сразу же по моём возвращении мы с Лорой отправились в Чикаго. У внуков должны были начаться каникулы, сперва в школе, потом в детском саду, и моей жене Лоре предстояло пасти их дома. У нас был грипп, от кото-

рого я до сих пор не вполне оправился, это осложнило наше и без того утомительное путешествие. Всё же я посмотрел в чикагской опере (наш сын заготовил билеты) «Кольцо Нибелунга» — впервые подряд все четыре оперы в течение одной недели. Я вернулся в минувший понедельник, Лора ещё там.

От моего брата Толи я получил сообщение, что одна моя заваливавшаяся книжица, антология европейской поэзии, составленная лет пять тому назад из стихов, которые я люблю, неожиданно вышла в свет. Там есть и Сапфо, и Гораций, и всякое разное. Называется «Абсолютное стихотворение». У меня этой книжки нет, но если тебе интересно, позвони Толе (тел. в Москве 686-33-61). У него, наверное, есть экземпляры, он тебе даст.

Что за доклад ты собираешься делать в Петербурге, на какую тему?

Vale atque salve!

Твой старый товарищ ГФ.

12.04.05

Дорогая Нина, письмо твоё от 28 февраля с отзывом об «Антивремени», очень лестном для меня, я получил и сейчас перечитал. Роман этот, насколько помню, до второго обыска в 1980 году существовал в виде груды листков, исписанных мелким и, должно быть, неразборчивым, они прочесть его не могли, но руководствовались небольшим количеством, 19 страниц, текста, отпечатанного на машинке. Я вёл бюрократическую войну, в конце концов мне даже вернули — случай совершенно необычный — пишущую машинку и некоторые бумаги, но не роман. О нём я получил извещение, что он направлен для экспертизы в Главлит, признан антисоветским и арестован. Каков прогресс законности — ничего подобного нельзя было себе представить в 1949 году. То, что я потом написал, частью ещё в Москве, хоть и воспроизводило многое по памяти, но было, в сущности, уже другим произведением.

Ты пишешь о Саллюстии, о Тите Ливии, завидую тебе. Кстати, в «Ab Urbe condita» есть поразительная страница, рассказ о переправе армии Ганнибала через Рону, как заманивали слонов на плоты и пр., — я это место запомнил ещё с университетских времён и как-то раз читал вслух, в русском переводе, Юзу Алешковскому.

Пиши мне о своих делах — как проходят твои дни, с кем видишься.

Крепко жму руку, твой друг Г.

06.09.05

Дорогая Нина, только что мастер поправил мне компьютер, который был не в порядке, отчего я не мог тебе ответить. Конечно, я очень благодарен тебе за отклик на мою антологию. Она была составлена довольно давно, я уже махнул рукой на возможность её напечатать, как вдруг она вышла. Отбор стихотворений, само собой, очень субъективный, ты могла заметить, что многих великих поэтов там вовсе нет, другие представлены не самыми знаменитыми стихами. Я выбрал вещи, которые были для меня важны, поэтов, сыгравших важную роль в моей жизни, чаще всего в юности. Кроме того, не хотелось, чтобы книжка была чересчур велика.

Не могу себе представить Инну такой, какой ты её сейчас видишь. Вообще я гораздо отчётливей, убедительней, прочнее вижу всех нас не такими, какими мы теперь увидели друг друга, а какими мы были тогда, «в те баснословные года». Память обладает огромной силой сопротивления и не желает ничего знать о новой действительности.

К несчастью, у меня тоже плохие новости. Моя жена Лора — я старше её на десять лет — тяжело больна. У неё обнаружена злокачественная опухоль (гинекологическая), она была оперирована и сейчас получает химиотерапевтическое лечение, весьма тяжёлое. Вся жизнь изменилась.

В остальном — что ещё сказать. Вышли почти одновременно две моих книжки: одна в Харькове, под названием



«Следствие по делу о причине», другая в Москве — «Пока с безмолвной девой». Это цитата из Горация, *Serm. III, 30*: «...*dum Capitolium scandet cum tacita virgine pontifex*».

Как ты? Не забывай, очень прошу — пиши. Твой старый (в обоих смыслах) друг ГФ.

18.09.05

Да, Нина, уходят все, один за другим. Сколько нас ещё осталось? Первой была Оля Радоева, в самом начале, кажется, на втором курсе. Инна, которую мы с Яшей называли за глаза феей (это была, как ты знаешь, его многолетняя, долго скрываемая любовь), имела немалый успех; эти горящие, как свечи, глаза! Я знал её лишь поверхностно. У меня стоят на полке «Памятники средневековой латинской литературы X–XII веков», одна из немногих уцелевших моих книг, там есть два текста Иоанна Солсберийского, предисловие и перевод И.П. Стрельниковой. Подозреваю, что эта работа выполнена не без посторонней помощи.

И вот я сейчас пытаюсь вспомнить, кто же ещё. Скляр и Виноградова остались навсегда чуждыми, они и не принадлежали к нашему, тогда уже тесному кругу. Известны ли тебе подробности об Ире Дембо? О Лине Абкиной-Лазаревой ты писала, но мне бы хотелось узнать подробнее — если тебе что-нибудь известно, — что с ней случилось, при каких обстоятельствах она умерла. Что бы там ни произошло, я храню о ней добрую память. Умерла (вскоре после того, как я приезжал в первый раз) Лена Исаева, она училась в нашей группе. Умерла в Симферополе Оля Петрова. Жива ли Женя Гранова? Знаешь ли ты что-нибудь о Нине Радзской и Лене Вахрамеевой? Обе учились в школе в одном классе с моей двоюродной сестрой, которая жила с родителями совсем близко от университета, на улице Фрунзе (Знаменской), и всякий раз, когда я приходил в гости, я видел на стене, в группе девочек, лица Радзской и Вахрамеевой. Лена, которая сообщила следователю (а может быть, подписала под его диктовку), что М. и Ф. — ев-

рейские националисты, кажется, позже заболела психически. К «следствию», впрочем, её показания ничего не прибавили. Что с ней стало? Удивительно, что, вопреки всяким притеснениям, среди нас было столько евреев. Некий полковник Шумаков, начальник 5-го следственного отдела на Лубянке, к которому принадлежали наши следователи-лейтенанты, люди вполне дремучие, был сам, вероятно, ненамного цивилизованней. Однажды он со вкусом оповестил меня о том, что все евреи — агенты Трумэна. Должно быть, и он давно вкушает мир на каком-нибудь из московских погостов.

Я хотел ещё спросить — это не относится к университету. У тебя был товарищ, Лёня Поливанов, очень преданный тебе, как мне казалось. Яша знал его лучше, чем я. Что с ним, где он?

Дорогая Нина, пиши. Твой друг ГФ.

16.10.05

Дорогая Нина! Спасибо за тёплый отзыв о «Безмолвной деве» и всём сборнике. То, что некоторые или даже многие вещи тебе понравились, как-то очень утешает: незачем говорить, что твоё мнение, твой отзыв значит для меня очень много. Насчёт «грудей» и ненормативных словес (всё же, по-моему, несчастных) — ты, вероятно, права, хотя мне казалось, что вынужденное употребление этой лексики, её необходимость оправданы в каждом отдельном случае — надеюсь, их немного — внутренней логикой рассказа. Это вообще любопытная проблема. Не в том дело, что «так теперь надо писать», что значит надо? — мне то как раз не однажды приходилось слышать упрёки в старомодности моего языка. Но, чтобы быть убедительным, выдуманный полуфантастический сюжет требует реализма деталей, и тут оказывается, что, если мы хотим писать о России, о русской жизни, дозированное введение не вполне пристойных выражений порой оказывается неизбежным.

Именно дозированное. Я помню, как-то давно я поместил в тогдашней «Литературной газете» (теперь она превратилась в нечто непотребное) статейку под названием «Экология мата», где говорилось о необходимости охранять мат, этот особый, чрезвычайно экспрессивный и колоритный пласт языка. В сегодняшнем разговорном языке происходит инфляция матерных словечек, которые навднили повседневную речь и не только утратили эмфазу, лишились своей неподражаемой выразительности, но попросту выродились в ничего не значащие слова-паразиты вроде классического «цс-кать» (так сказать) или новейших «типа», «как бы» и пр.

Хочу ещё сказать касательно «подростковой озабоченности сексуальными проблемами». Меня всегда интересовали маргинальные группы — люди в том возрасте, который отчуждает от «взрослого» общества. Это старики, дети и особенно подростки. Ничто так ярко не выражает катастрофу взросления, биологического и социального созревания, как именно эта самая подростковая и юношеская озабоченность. В этом чрезвычайно трудном возрасте это Brennpunkt личности. Особенно когда дело происходит — о чём я, кажется, уже много раз писал — в репрессивном обществе, где пол находится под тотальным запретом. Таким и было советское общество. На эту тему можно было бы говорить долго и много.

Между прочим (это уже другая тема), я на днях прочёл в интернете статью, которая напомнила мне наш маленький спор об отношении к войне и победе. Ты писала мне о том, что есть вещи, священные для каждого россиянина, и на них нельзя посягать. В последнем, 10-м, номере «Дружбы народов» помещена статья Игоря Яковенко (я поинтересовался, кто это: оказалось, очень известный человек, генеральный секретарь Союза журналистов России, и относительно молодой, 1951 года рождения), где критика представлений о национальных ценностях, о победе в Отечественной войне и т.д. гораздо радикальнее той, которую я себе позволил. Любопытная публикация; посмотри её на досуге.

Крепко жму руку. Твой друг Г.

23.10.05

В нашей небольшой дискуссии, вероятно, каждый по-своему прав, да и больших расхождений между нами я не вижу, дорогая Нина. Книга журналиста Би-Би-Си, историка и кинодокументалиста Лоренса Риса (Laurence Rees) «Война Гитлера на Востоке», где всего, о чём ты говоришь, более чем достаточно, ставшая широко известной и в самом деле одна из лучших на эту тему, как и его документальная серия о войне, обошедшая экраны мира, могли бы служить свидетельством того, что роль и участие Советского Союза в этой войне не так уж неизвестны, не так уж игнорируются в Западной Европе. Можно сослаться и на многочисленные, сделанные на Западе документальные телефильмы, которые мне приходилось здесь видеть. Есть ещё одно обстоятельство, о нём пишет, основываясь на собственном опыте, в предисловии к этой книге Ян Кершо (Ian Kershaw), тоже весьма громкое имя, историк войны и биограф Гитлера. До самого последнего времени собирать материалы, создавать правдивые документации о Восточном фронте и о жизни в СССР в военные и послевоенные годы было очень трудно, так как страна была закрыта, всякая, даже относительно безобидная информация засекречена, за иностранными журналистами устроена весьма хитроумная слежка и т.д., а официальные сведения, статистика, мемуары генералов, кинофильмы и прочее не заслуживали доверия. Много и сейчас приходится выцарапывать с трудом, многое остаётся под спудом. Много ли мы знаем о современном Китае?

Но я не жил в Англии, был всего один раз в Лондоне, поэтому не буду спорить. Скажу только, что равнодушие англичан к России, мнимое или действительное, для нас не оправдание. Широко тиражируемое в России утверждение, будто «Запад» нас не любит, радуется неудачам России, желает ей только зла, — ложь. Вообще же — если говорить «вообще» — я считаю себя русским писателем, а долг и участь писателя, как я думаю, состоит в том, чтобы не под-

даваться очарованию злокачественных фантомов, как бы они ни назывались: Нация, Держава, Государство, противостоят, насколько хватает сил, своему времени и не ввязываться в политику. Но ведь и ты со мной почти согласна, не так ли?

Ты спрашиваешь, почему я упомянул о Лёне Поливанове. Просто потому, что вспомнил о нём в связи с тобой. Я видел его с тобой и, хотя я его совершенно не знал, почему-то запомнил. Ты обещала о нём рассказать.

Я нашёл второй экземпляр книги, о которой прошлый раз упоминал, посылаю тебе по почте. А заодно и ещё одну, на которую набрёл, роясь в шкафу. Знаю, что времени для чтения у тебя немного; поставь их на полку.

Будь здорова. Жму руку, Г.

06.11.05

Дорогая Нина, я немного застрял с ответом. Само собой, я сразу же отписал Гале Полонской, как только получил от неё книгу, оба тома. Правда, на её бандероли стоял, кажется, другой адрес. Но письмо не вернулось, следовательно, было доставлено адресату. Особых новостей у нас тут нет, живём — хлеб жуём. Лора (моя жена) готовится к курсу лучевой терапии, 30 ежедневных облучений, нелёгкое испытание.

Я прочёл о Лёне Поливанове с большим интересом. Нет, — если судить по твоему письму, он не был странным человеком, он был своеобразным и, вероятно, очень интересным мальчиком. И, конечно, совершенно непохоже, чтобы он был «подослан» к тебе или что-нибудь в этом роде. Провокаторы — я сужу не только по нашему опыту — вели себя иначе. Слова «работаю в этой системе» могли означать, если они вообще что-либо значили, что-нибудь совсем неожиданное. Жаль, что ты потеряла с ним связь.

На сей раз пишу кратко, не бери с меня пример. Ты обещала прислать твой *Liber Latinus primus*. Жму руку, твой старый друг ГФ.

10.11.05

Дорогая Нина, твоё письмо меня очень тронуло, спасибо тебе. Конечно, всё это теперь вещи уже довольно старые. Например, «Чудотворец» был написан по заказу одного известного немецкого кинорежиссёра, Петера Лилиенталя, который собирался сделать фильм на эти темы, написал сценарий, а мне предложил сочинить что-нибудь альтернативное, новеллу или повесть, чтобы потом соединить два варианта. Из проекта ничего не вышло: несмотря на громкое имя, Петер не смог добыть денег. «Интервью», помещённое в конце «Потопа», — не совсем «с самим собой»: роман печатался в журнале «Октябрь», редакция придумала сопроводить его ответами автора на вопросы редактора. Намациана (Наманциана) я, конечно, целиком не читал, узнал об этой поэме из одной статьи И. Голенищева-Кутузова, потом разыскал оригинал и справлялся в литературе. Рассказ «Побег» я придумал, прочитав книжку Гофмана, швейцарского химика, который открыл LSD и ставил эксперименты (вдвоём с Эрнстом Юнгером) на самом себе: меня интересовала проблема преодоления своего «я», выхода из собственной личности. В «Нагльфаре» отчасти описан — но, конечно, мифологизирован — дом в Боярском переулке, где прошло моё детство. Но он не был разбомблён, да и весь сюжет, все действующие лица выдуманы.

Гале я написал (как уже сообщил тебе), но не знаю, дошёл ли мой ответ.

Крепко жму руку, ещё раз спасибо. Valeas! Твой Г.

14.11.05

Дорогая Нина, я задумался над твоими словами о том, что холодное (или якобы холодное) мастерство Горация привлекает тебя куда меньше, чем эмоциональность и непосредственность Катулла (так ли я понял?). У меня сохранился — можно сказать, уцелел чудом — тоненький Гораций от тех наших времён, из серии «Римские классики» в жёлто-

коричневой бумажной обложке, книжка, купленная в 47 году. В коротком и очень хорошем предисловии М.М. Покровского (мы его, к несчастью, уже не застали) упоминается, между прочим, о том, что Гёте не жаловал Горация, находил его холодным. (Вероятно, в разговорах с Эккерманом.)

Конечно, когда я сочинял оба рассказа («Сад» и «Пока с безмолвной девой»), я отчасти думал и о себе. Но также — если не иметь в виду увлечение чистым «художеством», которое в конце концов, хочешь не хочешь, подчиняет себе всё, — о нынешней ситуации в литературе.

Приезжая в Москву, я слышал или, лучше сказать, обонял вонючий язык, и не только на улицах. Что касается современной публицистики и художественной прозы, то её языковая инвалидность бросается в глаза: это захлестнувшая литературу вычурность, манерность, дурновкусие, тягостное, до мучительной зевоты, многословие. О том, что литература — это ремесло, которому, как всякому ремеслу, надо учиться, и что первым правилом литературного ремесла является точное, выверенное словоупотребление, как будто даже не подозревают. Утвердились неграмотные речения, неверное употребление иностранных терминов; об орфографии, пунктуации нечего и говорить. Повидимому, многие пишущие не отдадут себе отчёт в существовании различных и не допускающих беспорядочного смешения лексических слоёв, не чувствуют разницы между речью нормативной и архаической, архаической и простонародной, простонародной и грубой, грубой и нецензурной. Всё это хорошо известно, об этом пишут лингвисты и социологи в России.

Первое время этот жаргон мог выглядеть как протест против ханжеского пуризма советской литературы. Можно было с успехом пародировать советский язык. Но потом что-то изменилось, передразнивание надоело, исчерпало себя. Появилось новое поколение послесоветских писателей. Макаронический язык, стёб, стал литературной модой, сперва это было стилизаторство, средство характеристики литературных героев. Потом, незаметно для самих пишу-

щих, языковой салат, смешение вульгаризмов с поспешно нахватанными американизмами, уродливый синтаксис и т.п. перестал ощущаться как литературная экзотика (напоминающая Петрония), а сделался квазинормативным. Он стал языком особого, вновь народившегося социального слоя — люмпен-интеллигенции.

Конечно, тут сразу можно возразить. Во-первых, сказанное слишком напоминает старческое брюзжание. Во-вторых, язык обладает способностью к самоочищению (наподобие известного феномена самоочищения рек). От диковинно-ублюдочного наречия 20-х годов ничего или почти ничего не осталось. В-третьих, более общее соображение: великие культурные языки романской Европы произошли не из золотой и серебряной латыни, а из грязного языка римских трущоб и лупанаров, из того самого, отвратительного и пахучего жаргона, на котором изъясняются гости Тримальхиона, из испорченного латинского языка провинций. Короче, из вульгарной латыни. (Я когда-то, между прочим, посещал факультатив по вульгарной латыни покойного и любимого Андрея Николаевича Дынникова. К сожалению, мои записи пропали.)

Наконец, каким бы ни был этот новый русский язык, это язык живой, гибкий при всей своей скудости, реальный, на котором худо-бедно изъясняются миллионы людей. Язык, который не хранится в холодильнике и поэтому легко портится, дурно пахнет.

Вероятно, будет некоторым самообольщением, если я скажу, что чувствую себя жителем острова, который стремительно опускается на дно. Разумеется, на смену умирающей культуре идёт другая, но ей потребуются ещё много лет, чтобы созреть. А главное — мы живём в совершенно новом обществе, в эпоху засилия и даже тотальной власти средств массовой информации (лучше сказать, массовой дезинформации), прежде всего телевидения. Всё это изменило, если не отменило, прежние, естественные законы эволюции языка, и мы ещё не знаем, во что это выльется.



Странная, а в общем-то замечательная идея — история классического отделения. Но я думаю, что нужно было бы написать, пока всё это не потонуло окончательно, о наших славных стариках, о С.А.Радциге, А.Н.Попове, П.М.Шендяпине, Ф.А.Петровском, Ж.С.Покровской, обо всех других.

Конечно, дорогая Нина, было бы нелепостью перепечатывать моё письмо к Гале Полонской и посылать из Москвы почтой; я-то ведь думал, что ты переписываешься с ней, как мы с тобой, по e-mail. Ни в коем случае не надо это делать. Авось, моё послание дойдёт и так.

Крепко жму руку. Твой старый друг Г.

30.11.05

Sodalis et amica mea Nina, не огорчайся. Вероятно, случайно погашенный текст угодил в «мусорную корзину», где и сохраняется, — есть такая опция. Со мной такие истории бывали. Насчёт буквы w — нелепость, конечно. Вспомним, однако, что и v у древних не существовало.

Спасибо тебе за дружеский и очень лестный для меня отзыв. Я ведь не зря уснастил роман цитатой из поэмы Наманциана: «обливаюсь слезами». Я тоже любил этот город, мне казалось, что нигде больше вообще жить невозможно. Что касается переключки с беснованием кретинов на окраине Парижа, такая мысль мне в голову не приходила, но, вообще говоря, мы, вероятно, снова, как в последние века Рима, присутствуем при восстании мировой окраины.

Конечно, никаких возражений против того, что ты дала мой адрес В. Файеру, нет. Правда, он пока не давал о себе знать. Ты писала, что он собирает материалы по истории классического отделения. Пишет ли он какую-нибудь работу на эту тему? Какова вообще нынешняя ситуация на нашем отделении? Вероятно, в Москве появились гимназии с преподаванием древних языков; приходит ли молодёжь в университет, уже имея некоторую основу? Здесь латынь (много реже греческий) учат в средней школе, но знания почти у всех в конечном счёте оказываются мизерными: это

главным образом латинские пословицы, крылатые словечки и т.п. Одна моя приятельница, выросшая в Баварии и Мюнхене, хорошо образованный человек и литератор, с трудом могла понять, что означает надпись на фронто́не оперного театра: *Apollini musisque redditum*. (Бывшая королевская Опера, как и почти весь центр города, погибла под бомбами и была восстановлена в 60-х годах.)

Кстати, однажды был такой случай. В первые годы после крушения СССР приезжали делегации писателей и т.п. В мюнхенском университете (который окончил мой сын) выступал покойный Солоухин. Он рассказывал о том, как русские писатели борются за сохранение памятников старины, погубленных большевиками. Показал на окно: «Представьте себе, что в этом красивом городе уничтожены все церкви». Ему это представлялось невозможным. И он даже не догадывался, что находится в городе, где в самом деле ещё не так давно все церкви лежали в развалинах.

30.12.05

Дорогая Нина, у нас гостил наш сын (прилетел из Чикаго на четыре дня поглядеть на нас с Лорой), из-за этого пишу тебе с опозданием. Меня твоя книжка — без преувеличения — восхитила, вот уж не думал, что мы доживём до времён, когда появится такая красивая, прекрасно иллюстрированная, обдуманно и изобретательно составленная, увлекательная даже для взрослого книга о латинском языке, одновременно вводящая ребёнка в античную историю, географию и культуру. Да и тираж 3 тыс. по нынешним меркам немалый. Всё это в наше время было бы просто немыслимо. Радциг должен был взрослым людям рассказывать о том, что это за повозка стоит на кровле фронтона Большого театра. Для студентов других отделений скудный курс латыни на первом курсе был какой-то навязанной им повинностью. Молодым людям, собиравшимся изучать русский язык и отечественную литературу на русском отделении, в голову не приходило, что латынь может иметь какое-то отношение к их штудиям.

Между прочим, я сразу же прочёл методическое послесловие к твоей книжке и почувствовал, какой серьёзный педагогический опыт стоит за ним.

Когда мы поступили в университет, я помню, взял впервые в руки учебник А.Н. Попова и П.М. Шендяпина «Латинский язык» и прочёл короткое предисловие авторов. Там говорилось: «Мы по-прежнему настаиваем на раннем изучении перфекта по сравнению с имперфектом». Прочёл с каким-то изумлением: только что кончилась война, такие события, а тут — настаиваем на изучении перфекта. И вот этот самый перфект, и греческий аорист, и всё прочее незаметно стали оттеснять войну.

Я даже не знал, что ты была ученым секретарем Совета по высшему филологическому образованию. Вообще я нахожу в твоём письме много интересного и для меня совершенно неожиданного. Кстати, кто преподаёт сейчас на нашем классическом отделении и где оно размещается?

Особых новостей у меня нет, занимаюсь отрывками литературой, и по-прежнему мы с Лорой каждый день ездим в клинику на сеансы облучения.

Жму твою руку, дорогая Нина. Твой старый товарищ Г.

17.06.06

Amica cara Nina!

Мы с Лорой вернулись позавчера (поэтому пишу тебе с опозданием) из онкологического санатория в курортном городке Аулендорф, на холмах бывшего Вюртембергского королевства, пробыли там три недели, а потом ещё съездили на несколько дней к друзьям в Альгой возле Боденского озера, это крайний юг Баварии, граница с Австрией и Швейцарией; я бывал там не раз.

Надеюсь, у тебя всё благополучно. Если ты ещё не собралась в отпуск, напиши, что у тебя нового. Наши дела без особых перемен. Лора чувствует себя пока что более или менее благополучно, мы даже ездили в последние месяцы в Венецию и в Вену. Но я суеверен и боюсь загадывать на будущее. Литература? Сочинял кое-какие рассказы и другие

мелочи, кое-что появлялось в журналах, но главной была работа, в которую я ввязался уже довольно давно, — нечто вроде романа. Действие, как почти всегда, происходит в нашем отечестве (но не только), начинается в 30-х годах, заканчивается в начале нового века. К этому сочинению, которое называется «Вчерашняя вечность», я приспособил эпитафию из «Исповеди» Августина, XI, 14: «...praesens autem si semper esset praesens nec in praeteritum transiret, non iam esset tempus, sed aeternitas».

Дорогая Нина, будь здорова, пиши.

Твой старый — в обоих смыслах — товарищ

ГФ.

22.09.06

Nina carissima,

тебе можно позавидовать. Я всегда мечтал побывать в Соединённом королевстве, особенно же в Шотландии. Но за все эти годы мы с Лорой только однажды посетили на несколько дней Лондон.

Я тоже только что приехал (почему и пишу тебе с запозданием), прожил две недели в Париже, в маленьком отеле на Монмартре, где бывал уже не раз, там меня знают. Особых дел не было, бродил по музеям и просто по городу, виделся с одной дамой из издательства и моей переводчицей, был у неё в Шартре, ещё был, теперь уже во второй раз, в Issy-les-Moulineaux под Парижем у Рене Герра, профессора русской литературы и замечательного человека, собирателя русских картин, книг, документов послереволюционной эмиграции; ездили вместе с ним в замок Рамбуйе.

Пытался я и закончить роман, о котором ты спрашиваешь, но смог просмотреть и подправить всего лишь около трети вчерне законченного текста. Когда-то, когда я корпел, сидя в той же гостинице, над другим сочинением под названием «К северу от будущего», я сочинил маленький полурассказик, он может дать представление об этих занятиях. Посылаю тебе для развлечения.

Лора чувствует себя более или менее неплохо, но не без проблем. В понедельник (сегодня пятница) мы должны отправиться на контрольное исследование, я со страхом думаю об этом. В Чикаго младший внук, его зовут Беньямин (или Бенчик), пошёл в первый, подготовительный класс British school, где учится и старший, Яша.

Нина, дорогая, пиши.  
Твой старый товарищ  
ГФ

08.11.06

Дорогая Нина,  
я получил, одновременно с твоим письмом, письмо от В.В. Файера, сегодня дважды ответил ему, и оба раза письмо возвратилось: якобы неправильный адрес. Хотя это был тот же самый адрес отправителя из Москвы: librarius@narod.ru. Не понимаю, в чём дело.

Посылаю тебе моё письмо к Володе Файеру (два приложения), передай ему, если можно.

Мне, конечно, было очень интересно прочесть его сайты, увидеть фотографии. Прочёл среди прочего и список твоих работ, ты молодчина! Узнал о смерти Исаия Нахова.

Нас всех осталось теперь уже совсем немного.

Вскоре после моего возвращения из Парижа, при очередном обследовании у Лоры были обнаружены метастазы в лёгких. Конечно, никогда нельзя было исключить такую возможность, и всё же это было как удар с неба. Теперь она проходит новый курс химиотерапии. Такие новости.

Других вроде бы нет. Ты спрашиваешь о романе, он в общем-то закончен, но сказать, что он меня удовлетворил, я не могу. Иногда мне кажется, что это просто провал. Я его просматриваю на досуге, кое-что подправляю, но спасти вещь невозможно. Если ты хочешь взглянуть на это издание, я могу тебе прислать.

Напиши, как это сделать: по электронной почте (около 270 компьютерных страниц) или обычной почтой.

Крепко жму руку, amica mea carissima, пиши.  
Твой старый товарищ Г.

03.01.07

Nina carissima,

как приятно увидеть — услышать — благородную латынь, лучший язык в мире. Спасибо тебе за поздравление, за добрые слова. Я отвечаю с некоторым опозданием, но хочу и тебя сердечно поздравить с наступившим Новым годом. Пусть он будет хотя бы не хуже предыдущего.

Живём мы по-прежнему, но нельзя сказать, чтобы всё обстояло благополучно. Осенью у Лоры были обнаружены мелкие метастазы в лёгких, снова начато химиотерапевтическое лечение, достаточно изнурительное, которое продолжалось почти до самого Нового года. Теперь, после небольшого перерыва, предстоит новое обследование. У нас гостили внуки, два мальчика, Яша и Бенъямин, десяти и шести лет. Теперь уже оба учатся в школе, в Чикаго, старший весьма успешно, младший с грехом пополам. Я пытаюсь урывками заниматься литературой, читаю, слушаю музыку, — что ещё? Собственно, ничего.

Вероятно, ты снова занята по горло. Всё же хочется узнать о твоих делах, трудах, новостях. Всегда очень рад твоим письмам. Крепко жму руку. Твой старый товарищ ГФ.

30.04.07

Amica cara Nina, давненько ничего не слышу от тебя. Как ты поживаешь, как чувствуешь себя, как работается? Видишь ли ты кого-нибудь из наших. Напиши хотя бы коротко; хотелось бы, конечно, а поподробней. Мне особенно хвастать нечем. Хотя я по-прежнему кропаю свою литературу, но у Лоры новый рецидив, и снова, уже в третий раз, пришлось начать химиотерапию. В этом году у нас очень ранняя весна, сейчас лето. Мы побывали в феврале на Мальорке, это было прекрасно, но мы ещё не знали об ухудшении.

Крепко жму руку. Твой теперь уже совсем старый товарищ Г.

## К Елене Шубиной<sup>1</sup>

10.09.04

Дорогая Лена! Я написал послесловие (10 стр.) и посылаю его. Я посмотрел свой экземпляр романа — кажется, я всё-таки что-то немного немного исправлял в нем снова, уже после того, как послал Вам. Поэтому на всякий случай посылаю снова весь текст. Если там внесены какие-то поправки, то очень незначительные, и Вам, я думаю, не стоит тратить время на новую сверку. Просто воспользуйтесь этим новым (последним!) экземпляром, а прежний выкиньте. В начале книги — оглавление (содержание), мне бы хотелось, чтобы оно стояло именно вначале, так как оглавление — это тоже своего рода текст. Он может немного подбодрить читателя. В конце — послесловие автора.

Насчёт того, нужны ли номера глав. Я думаю, нужны. Их функция — скреплять текст, придавать ему дополнительное единство. Давайте оставим.

Если Вам кажется, что глав (цифр) слишком много, можно — если хотите — разделить текст на две части: часть первая (гл. 1–29) и часть вторая (начиная с главы 30, «Марик Пож. решил...»).

Обязательно сохраните подзаголовок (русско-нем. роман).

Картинку (или картинки) я подыщу в самое ближайшее время.

Ваш Г.

---

<sup>1</sup> Елена Даниловна Шубина, редактор, сотрудница различных издательств.

06.10.04

Дорогая Лена, извините, ещё одна мелочь. Не сердитесь на меня за мою рассеянность: я заметил, что в послесловии, которое я Вам послал, один абзац повторяет то, что сказано в начале романа.

Это 13-й абзац «Послесловия автора», стр. 196 сверху, со слов: «Спасательные суда смогли выловить...» и до слов: «усыновил матрос катера».

Этот абзац надо просто выкинуть.

Ещё раз — excuse me!

Ваш Г.

03.11.04

Сегодня послал письмо, дорогая Лена, но забыл написать о Юзе. Русское отделение (или как оно там называется) Миддлтаунского университета, где работает Ира, решил устроить конференцию по случаю 75-летия писателя Юза Алешковского, были приглашены три докладчика: Андрей Битов, Ольга Шамборант и Ваш слуга. Принять всё кодро сразу было затруднительно, поэтому гг. лекторы приезжали по очереди. Так что я других не застал. Тема лекции: «Послесюветская русская литература». Взгляд и нечто. Бурные аплодисменты. После лекции банкет в местном японском ресторане, на котором я присутствовал, но ничего не вкушал. Юза я застал погружённого в хозяйственную деятельность. Колет и пилит дрова, безжалостно распилил длинный стол, стоявший посреди луга и за которым мы пировали в первый мой приезд; растапливается печка; я тоже принял во всём этом посильное участие. В первой половине дня Юз пишет роман, о котором таинственно говорил уже давно. Читал мне отдельные абзацы. В общем, он в хорошей форме. Само собой, угощал разными прекрасными вещами. К нему приезжали телевизионщики, если не ошибаюсь, из России. От Юза пламенный привет. Ира, кстати,



как раз в эти дни штудировала книгу той тётки, забыл как её, бывшей жены, которую (книгу) Вы мне давали читать, о Тарковском. Воротившись из Америки, пришлось почти сразу ехать в монастырь Банц недалеко от Бамберга и Эрлангена, но не для того, чтобы замаливать грехи, а на очередное ПЕН-сборище. В былые годы устраивались интересные экскурсии, доклады. В этот раз было скучно. Вот Вам краткий отчёт. Засим обнимаем Вас.

30.12.04

Дорогая Лена, послезавтра Новый год, сердечно поздравляем Вас. Будьте здоровы, удачливы, красивы и нас не забывайте. Лора сейчас не работает, мы наслаждаемся этими каникулами. Предаёмся разным увеселениям. Вчера, например, посетили Старую пинакотеку, я смотрел в который раз на «Видение св. Бернарда» Перуджино и вспоминал, как мы с Вами стояли перед этой картиной. Но сейчас у нас снег, тишина, улицы безлюдны, хоть и рабочий день. Ещё кое-куда ходили, ели-пили.

Лора интересовалась слухами о письме Евг. Рейна и других именитых стихотворцев великому туркменскому поэту и отцу всех туркмен. Это оказалось правдой, хоть и трудно было поверить.

Как я уже говорил Вам, я занимался последние недели тем, что просматривал и поправлял некоторые из текстов, которые хотел бы включить в книгу, думал и о содержании в целом. Мне хотелось бы знать, чтобы составить окончательный план, каким может или должен быть объём. Что надо выкинуть, что можно сохранить. Конечно, я всё время что-то пытаюсь сочинять, но очень может быть, что эта книжка завершающая, и выбрасывать хочется поменьше. Но тут Вы должны сказать своё слово.

Крепко обнимаем Вас, дорогая Лена, и ждём Вас к себе — когда и насколько захотите. Погуляем, поездим, выпьем, закусим, сходим куда-нибудь, поговорим о чём-нибудь хорошем.

Ваши Л. и Г.

21.01.05

Дорогая Лена, почти весь январь был ни то, ни сё, ни зима, ни лето. Вчера вечером и всю ночь свистел и шумел свирепый тёплый ветер, утром диктор Баварского радио с некоторым недоумением сообщил, что, как ни странно, больших разрушений не было. Бури и потопы повторяются регулярно, как набеги леопардов. Есть такая индийская притча о леопардах, которые периодически разносят храм, разбивают утварь и прочее, и это превращается в конце концов в часть обряда.

Сегодня — жидкое солнышко, слякоть, всё как будто стихло. Я надеюсь, что и Ваше самочувствие, физическое и душевное, улучшилось. Если бы Вы были у нас, мы бы этой депрессии не допустили.

Я пересмотрел весь свой опус. Кое-что правил, кое-что выкидывал, изменил план (содержание) и написал новое предисловие. Всего получилось 480 компьютерных страниц, но так как каждое произведение — рассказ или повесть — начинается с новой страницы, то на пустоты приходится, по приблизительному подсчёту, 30 стр. Итого, следовательно, 450.

Так что выбросьте старые дискеты. Мне бы хотелось показать Вам этот новый вариант, но не знаю, как это сделать. Переслать Вам текст до интернету (целиком или частями)? Выслать дискету?

Не собирается ли Вагриус командировать Вас в марте в Париж, где очередной весенний Салон книги в этом году будет посвящён России?

Мы с Лорой, как всегда, сердечно обнимаем Вас.

Ваш Г.

11.03.05

Дорогая Лена, в Париже не зима, но и не весна, холодно, зябко и чаще всего пасмурно. Это обычная погода в марте. Правда, прогноз благоприятный, ожидается потепление. Всё же запаситесь каким-нибудь толстым пуло-

вером, сногшибательным, но ведь Вам всё идёт. Кроме того, как Вы, наверное, знаете, во Франции в помещениях обычно несколько прохладней, чем у нас здесь или в России. В какой гостинице Вас поместят? Едете ли Вы ещё с кем-нибудь из издательства или соло? Вероятно, всё время будет занято, но попытайтесь всё-таки немного выкроить, чтобы побродить по Парижу, вдохнуть воздух этого города. Эх, жаль, что мы разминулись. Так хотелось бы повидаться. Сходите в музей Клюни (Cluny), это на бульваре Сен-Жермен, там же и станция метро Cluny — La Sorbonne, 10 линия. Это небольшой музей средневекового искусства, на развалинах бывшего аббатства, там находится знаменитая Дама с единорогом, может быть, Вы об этих гобеленах слышали, а может, и видели. Сходите, не пожалеете.

В этот раз я жил в гостинице Monge, на улице Монж в Латинском квартале, недалеко от Пантеона, места мне более или менее знакомые. Сидел на обедах с книготорговцами, литературными критиками и т.д. и купался в лучах славы. Ездил в Шартр, бродил по местам, которые я люблю. Моя книжка выпущена небольшим издательством Вивиан Ами (Viviane Aми), которое издавало, среди прочей литературы, Гайто Газданова и «кавалерист-девицу» Надежду Дурову (наверное, помните). У них будет стенд на ярмарке. Может, зайдёте к ним. Там будет владелица издательства мадам Ами, парень по имени Фредерик Мартен и молодая женщина Жюли Галант. Порусски, к сожалению, не говорят, но, может быть, встретите там и мою переводчицу — Вашу тёзку, Елену Бальзамо, она русская.

Дорогая Лена, мы Вас сердечно обнимаем. Лора Вам позвонит.

Ваш всегда Г.

18.05.05

Дорогая Лена, Вы всё время путешествуете, а мы сидим дома. Правда, Лора работает по субботам, воскресень-

ям и праздникам (только что прошла католическая Пятидесятница, по-русски — Троица и Духов день), тогда я сижу один. Но, кажется, Вы уже должны были вернуться из Владимира. Какие впечатления? Я там побывал один раз, это было до нашей эры.

25-го, как я Вам уже писал, я собираюсь отбыть во Францию, сперва буду в Ницце и Провансе, а потом, уже за свой счёт, в Париже. Рассчитываю вернуться в Мюнхен 13 июня. Я остановлюсь в маленькой гостинице, где меня знают, Hôtel des Arts (отель дез-Ар) на Монмартре, ул. Толозе 5, телефон 01 46 06 30 52, комната 40. Пишу это на всякий случай: вдруг Вы надумаете приехать в Париж.

И ещё одно: Вы писали, что хотели бы летом или осенью отправиться к морю. Море морем, но ведь мы Вас тоже ждём у нас. В смысле погоды лучшее время — август и сентябрь. Съездим в Альпы, ещё куда-нибудь.

В Ваше отсутствие я получил от Людмилы Ивановой вёрстку книги, вычитал всё заново, отослал 1 мая все поправки и просил подтвердить получение. Но ответа не получил. Означает ли это, что с корректурой согласны или наоборот? Поправок получилось довольно много, отчасти из-за того, что некоторые тексты были набраны в старой редакции (Вы мне об этом писали), но было и много других. Все места, где находятся исправления, я пометил голубым цветом, поправки внутри этих исправлений — красным. Вообще объяснил всё подробно, с указанием страниц, абзацев, строк. Просил восстановить курсив всюду, где он был в моём тексте. В редких случаях это могут быть целые абзацы. Просил также обратить особое внимание на иноязычные включения. Будет нехорошо, если они появятся с искажениями (к сожалению, это бывает очень часто). Во французских фразах важны надстрочные знаки ударений: чёрточка вправо или влево (так наз. острое или тупое ударение), крышечка (облечённое ударение). В немецких — две точки над гласными «о», «а» или «и» (умлаут). Всё это оговорено в правке.

И, наконец, просил уважить каприз автора: на стр. 277 имеется музыкальный эпиграф — две нотных строки из сонаты Бетховена. Он достаточно чётко напечатаны в рукописи, я перепечатал ещё раз, их легко воспроизвести.

Независимо от всего этого — Лена! Напишите, как Вы и что Вы.

Не хандрите, хандра губит молодость.

Обнимаем и ждём Вас.

Ваши Г. и Л.

18.09.05

Дорогая Лена, как я понимаю, Вы ведёте напряжённую светскую жизнь. Это требует определённых усилий и знаний. Например, по части изысканной кухни. Со стыдом должен признаться, что я, например, понятия не имею о том, что такое рыба сибас, запечённая в соли, да ещё с чесночным соусом. Суп-крем из крабов — что-то такое слышал, впечатляет, но не едал. Мы тут живём проще — лично я по части гастрономии остался русским патриотом (или русско-еврейским). Предпочитаю всему на свете картошку, да ещё, пожалуй, блины под водку с разными необходимыми дополнениями, как-то: икоркой, селёдкой, etc. Кстати, вчера мы с Лорой сотворили блины, правда, небольшого формата, по типу оладий, так как классические полнотражные блины, к сожалению, имеют нехорошую привычку приставать к сковороде.

Тридцать проданных экземпляров моих сочинений — вот поистине сенсационная новость. Авось продадите ещё тридцать, и я войду в первую сотню наиболее перспективных авторов. Когда-то Томас Манн подарил своему сыну и тоже писателю Клаусу свою книжку с надписью: дорогому Клаусу Манну от его многообещающего отца.

Дела наши — что Вам сказать? Лора на ногах, занимается домашними делами, даже плавает в бассейне. Но химиотерапию переносит тяжело. Нам предстоит в начале октября ещё одно, последнее вливанье, но летопись на

этом не кончается: после этого надо пройти курс облучений — тоже не сахар. Сегодня в Германии выборы, и мы торжественно прошествовали на избирательный участок, размещённый, как всегда, в гимназии близко от дома.

Кто такая Майя Пешкова, понятия не имею. Эхо Москвы досюда не доносится. У Эйтана особых новостей нет, о Вас мы часто говорим, предположение, что он Вас забыл, есть не что иное как ложный провокационный слух. Совсем даже наоборот. Что касается Володи Войновича (который звонил недавно), то о проекте женитьбы мы с Лорой ничего не слышали. А было бы, говоря серьёзно, совсем неплохо, если бы нашлась хорошая и вдобавок прочно стоящая на ногах женщина. Покойная Ира выражала пожелание, чтобы он женился на Тане Бек.

Такие дела, милая, дорогая Лена. Не забывайте. Всегда Ваши Г. и Л.

*31.10.05*

Лена, дорогая, письмо мы, конечно, получили, вместе с очень хорошей фотографией (не знаю только, с кем Вы снялись), но я застрял с ответом, простите, ради Бога. Мы тут занимались подготовкой к курсу облучений, ездили в клинику, снова томография, то да сё. А в общем Лора чувствует себя (пока) сравнительно неплохо, и Ваша информация о блинах соответствует действительности. Правда, это были не классические блины, а скорее блино-оладьи, так как практика показала, что блины пристают к сковороде, их приходится отдирать, и это портит внешний вид и общее впечатление. У нас всё ещё продолжается золотая осень, необыкновенно красивая даже для наших мест. Я по-прежнему стараюсь, хоть и урывками, кое-что делать с моей литературой, вылезая редко, жизнь у нас сейчас довольно монотонная. По имеющимся сведениям, Вы сидите над какими-то толстыми книгами. Над романами? Если так, то это следствие общего закона русской литературы: неуклонный рост листажа. Как-то раз, довольно давно, я читал в Касселе нечто вроде лекций и нарисовал

на доске таблицу: по горизонтали десятилетия — 1820, 1830 и так далее, а по вертикали средний объём романа. Получилась кривая, которая идёт неуклонно вверх, от «Дубровского» (80 страниц) до тысячестраничных Колёс Солженицына.

Такие дела, Лена. Не берите с меня дурной пример, пишите чаще и подробнее. Обнимаем Вас, Ваши Л. и Г.

29.12.05

Дорогая Лена, наконец-то Вы подарили нас более или менее обстоятельным письмом. Наши дела тут, в общем, туда-сюда; без существенных перемен. После Нового года и Трёх Волхвов предстоит визит в клинику, а пока продолжают последствия многократного облучения брюшной полости, слабость, неприятности с кишечником и пр. — и, очевидно, будут ещё оставаться некоторое время. Но Лора ведёт активный образ жизни, работает по дому, изредка выезжает в город. В этом году, что не совсем обычно, Рождество и уже близкий Сильвестр (канун Нового года) совсем зимние: время от времени тусклое солнышко поглядывает на всю эту белую роскошь, температура днём минус 5 градусов, в горах ещё ниже.

Наш сын Илья прибывает снова в начале февраля, на этот раз со всем семейством. Как и в прежние годы, собрались в Австрию кататься на лыжах. У Сузанны есть в Мюнхене мать и отчим (так что для мальчиков имеются в наличии две бабушки и целых три деда, два немецких и один иудей), но останавливаются обычно у нас. У меня самого в детстве не было ни дедушек, ни бабушек, ни даже матери. То, что Илюша живёт далеко от нас, с одной стороны, можно считать почти нормальным, а с другой — скучно без него.

С книгой Быкова о Пастернаке я немного знаком: читал фрагмент, напечатанный где-то, и на фоне прежних впечатлений об авторе был приятно удивлён, даже изумлён — книга, действительно, если судить по этому отрывку, очень хорошая, умная и содержательная. Здесь её нет, постараюсь где-нибудь достать.

Что касается литературной критики, гм... Должен сказать, что я с отроческих лет любил читать критику. С восторгом (буквально) читал Белинского, читал Добролюбова, какого-нибудь там Антоновича и так далее. Помню, как я однажды пришёл в школу в воскресенье, дело было во время войны, в селе Красный Бор на Каме, и школа наша, между прочим, была нисколько не хуже, чем в Москве, — толкнулся в библиотеку, дверь была не заперта, и, лёжа на столе, читал «Реалистов» Писарева — с таким же увлечением. А так как в те времена я сам был писателем, и притом чрезвычайно плодовитым, то и сам писал критические опусы.

Я и теперь, как ни странно, читаю критику. Она, конечно (если говорить о российской критике), разочаровывает, хотя — было ли когда-нибудь время, когда сочинители были довольны критиками? Деградирует ли критический цех? Пожалуй. Всё же я ценю, например, Наталью Иванову. Разумеется, отсюда глядя, видишь, что её кругозор узок. Другой её недостаток, общий для многих и, очевидно, связанный с первым, — «общественный» подход к литературе, критика интересуется преимущественно, о чём это и насколько это актуально с точки зрения общей ситуации в стране, так что своевременность невольно принимают за современность, а ведь это совсем не одно и то же. И всё-таки это серьёзный критик, любящий литературу, а не себя в литературе, избегающий (чаще всего) пошлого говорка и не склонный, как мне кажется, к выпендриванью. Об Уэльбеке, тётке Еллинек, Мураками и т.п. она, кажется, не пишет; правда, переводная литература вообще отсутствует в её статьях.

Милая, дорогая Лена, ещё раз, и от нас обоих, — самые сердечные поздравления с наступающими Новыми годами — и западным, и восточным.

Крепко обнимаем Вас  
Ваши Г. и Л.

18.02.06

Дорогая Лена! Пишу Вам по другому поводу.

Я вычитал в интернете объявление о Национальной литературной премии «Большая книга». Так это называется.



Имеется в виду литературное произведение любого жанра и объёма, роман, сборник рассказов или ещё что-нибудь. Издано должно быть не ранее 2004 года. В отличие от других премий, автор не обязательно должен жить в России. И куш, по-видимому, солидный: 3 миллиона рублей.

Вот я и подумал: чем чёрт не шутит. Если я, допустим, пошлю последнюю книжку, «Пока с безмолвной девой». Я понимаю, что шансы мои ничтожны, да и вряд ли кто-нибудь из членов жюри и «совета экспертов» (там целый список) слышал о моей персоне. Когда-то я получил престижную премию в Гейдельберге, ещё кое-какие премии, но всё это далеко от России. Хочу просить у Вас совета: стоит ли мне соваться (тем более что придётся пожертвовать предпоследним экземпляром)? Что Вам известно об этой премии?

Мы оба Вас обнимаем, целуем. Ваш Г.

19.09.06

Лена, дорогая, вот я, наконец, и вернулся. Прочли Ваше прекрасное, умное и подробное письмо о пребывании в Поднебесной, а также две записочки. Теперь, кстати, на очереди ярмарка во Франкфурте, не собираетесь ли туда? От Франкфурта до нас, как Вам известно, рукой подать.

Насчёт Китая я вспомнил такой случай. Мне понадобилось сдавать так называемый кандидатский минимум, в том числе экзамен по марксизму-ленинизму, я приехал из Есеновичей в Калинин, в медицинский институт, где мы учились, и договорился с кафедрой. Стою в коридоре, жду, когда меня пригласит заведующий. Выходят двое, мужчина и женщина, молодые сотрудники кафедры, и стоят молча у окна. Я решил, что сейчас произойдёт выяснение отношений, может быть, объяснение в любви. И слышу, как девушка спрашивает:

«Так в чём же всё-таки состоят ошибки китайских товарищей?»

Это было незадолго до того, как эти товарищи стали врагами.

Я Париже я виделся с дамой из издательства Viviane Natu, ещё кое с кем, побывал у Ренэ Герра и ездил с ним в замок Рамбуйе, ездил снова в Шартр, а больше шатался по городу и сидел в номере за своим романом. Была ужасная жара. Сентябрь в Париже — летний месяц, а в этом году он оказался особенно знойным. Говорил с разными людьми об исламе во Франции, настроение там подавленное, три четверти всех обитателей французских тюрем — дети выходцев из Алжира, налогоплательщики их кормят, вышибить их из страны невозможно.

Между прочим, купил в одном хорошо мне известном магазине альбом Тамары де Лемпицкой, знакомой Вам, помните Девушку в зелёном на обложке книги «Пока с безмолвной девой» одного, если не ошибаюсь, тоже знакомого Вам автора?

От него и от Лоры Вам сердечный привет. Обнимаем, целуем. Ваши Г.+Л.

10.10.06

Дорогая наша Лена,

завтра Лора выписывается из больницы, чувствует себя сравнительно неплохо, все вопросы обсуждены с врачами. Предстоит, как я уже писал Вам, новая химиотерапия. Предыдущая, вкупе с облучением, дала ремиссию больше, чем на год. В ноябре к нам на несколько дней приедет Илюша. Погода у нас — лучше не бывает: прекрасное, очень тёплое бабье лето. Я сейчас сижу дома, часа через два отправлюсь в больницу. Это огромное учреждение на другом конце города.

Ивлина Во (надо бы писать: Уо, Waugh, но слишком уж неудобно по-русски) я читал давно и с большим удовольствием — не всё, правда, — был знаком и с обоими тогдашними переводчиками: Борисом Носиком, который уже много лет обитает во Франции, и Ларой Беспаловой.

Мой роман почти закончен, но это «почти» может тянуться ещё неопределённо долгое время. Называется он «Вчерашняя вечность». Объём не очень большой, примерно 270 компьютерных страниц. На обширный роман не хватает пороху.

Там отчасти повторяются мотивы и темы моих прежних сочинений. Как водится, использован материал собственной биографии, но это не автобиографическое произведение. Всего я сработал девять романов. Видимо, это последний. Подзаголовок книги: «Фрагменты XX столетия». Вместе с тем это и фрагменты жизни главного героя, начиная с конца 30-х годов до (приблизительно) нашего времени. Действие происходит главным образом в России, повествование ведётся с разных точек зрения и перемежается — без чего я не могу обойтись — разными «размышлениями», по-видимому, принадлежащими всё тому же герою. Есть и откровенно фантастические эпизоды. Роман об истории, о стране, о литературе и, конечно, о любви.

Лена, Вы совсем ничего не пишете о своих делах.

Лоре можно звонить, конечно, в любое удобное для Вас время.

Крепко обнимаем, Ваши Г. и Л.

*18.04.07*

Дорогая Лена, посылаю Вам, как уговорились, роман.

Я долго колебался, книга показалась мне неудачной, но (как писала Ахматова), еже писах — писах.

Хотя, как я понимаю, до возможной публикации ещё далеко, хочу попросить Вас о некоторых вещах. Правда, это касается не столько редактора, сколько компьютерщика, корректора и художника.

Название романа состоит из заголовка и подзаголовка. Их нельзя разъединять. И на обложке, и на титульном листе они должны быть вместе: заголовок «Вчерашняя вечность», под ним подзаголовок «Фрагменты XX столетия».

Роман состоит из пяти частей, шестидесяти одной главы и эпилога. Каждая глава — очень прощу! — должна начинаться с новой страницы. Я прикинул: получается не намного больше страниц (у меня — 330).

Главы имеют римскую нумерацию. Перед текстом каждой главы стоит дата или пометка, заменяющая дату. Для меня важно, как их расположить. Пусть будет, как в рукописи. Название главы некрупным шрифтом. Дата справа, мелким шрифтом.

Диалоги действующих лиц, как во всех моих книжках, — в кавычках (а не через тире).

Сугубая просьба к корректору: обратить внимание на иноязычные слова и фразы. Их по необходимости довольно много, начиная с эпиграфа. Дело в том, что почти ни одно русское издательство, ни зарубежное, ни российское, не обходится без ляпов в иностранных словах. Сверять надо с моим текстом, где всё выверено.

Во *французских словах* часто встречаются надстрочные знаки. Вам-то это не надо объяснять, а вот корректоры, как я заметил, часто думают, что, кроме английского, других языков не существует.

Надстрочные знаки во французском — это три вида ударений: острое (знак ударения вправо, например, é), тупое (чёрточка влево — è) и облёченное (крышечка — ê). Их надо строго различать: в одних случаях влево, в других — вправо. Иногда в одном слове встречаются два разных знака: théâtre. Все буквы с надстрочными знаками имеются в компьютере, в таблице «Особые знаки» (символ Ω на функциональной строке сверху), компьютерный наборщик должен это знать. При сканировании тщательно сверить с оригиналом.

Есть ещё буква с хвостиком вниз: ç. У меня она встречается, кажется, один раз, в гл. XXXVII: nous ne soupçon-  
nons pas.

Кроме того, во французских словах часто встречаются апострофы. Они должны иметь вид запятой (а не чёрточки). При этом после апострофа не должно быть пробела. Примеры (из романа): l'obligeance; qu'est-ce que c'est; n'existait plus; d'offenser.

Пусть корректор, чтобы вспомнить, как выглядит французский текст, заглянет на первую страницу «Войны и мира». Он увидит там все эти знаки.

В *немецких словах* — напомним корректору или покажите ему это письмо — бывают «умлауты», две точки над гласной: ä, ö, ü. В одном месте (стр. 269 рукописи, в названии главы) встречается особая немецкая буква — ß. Она тоже, как и умлауты, есть в компьютере, и её не следует заменять греческой буквой β, получается некрасиво. Существительные по-немецки пишутся с большой буквы.

Немецкие лозунги на стенах Берлина (в главе XVI) должны быть набраны, как у меня, прописными буквами.

В латинских текстах (как и в английских) надстрочных знаков, слава Богу, нет.

Дорогая Лена, пожалуйста, внушите как-нибудь корректору, наборщику и кому там ещё, что все эти просьбы автора — не каприз! Все мелочи не случайны, они имеют большое значение.

Это касается и моей пунктуации. Она не противоречит школьным правилам. Не надо её исправлять. Пунктуация — часть стиля.

Крепко обнимаем Вас!

Всегда Ваши Г. и Л.

13.09.2007

Дорогая Лена, Ваша мысль поместить на обложке какого-нибудь русского художника мне нравится. Я разыскал единственный в городе магазин, где имеется довольно большой выбор открыток с репродукциями из России, но потерпел неудачу. Там либо старые коллекционные карточки, либо открытки советского времени. И то, и другое — плохая литография, бледная и тусклая, а главное, художники малозначительны и неинтересны. Настоящие же мастера, крупные русские художники XX века, отсутствуют. Многие, как Вы знаете, после революции уехали, числятся по разряду западного искусства.

Я выбрал в этом магазине несколько открыток и посылаю Вам сегодня по почте, но они меня как-то не очень радуют.

Можно поискать музеях, в знакомых Вам художественных лавках и киосках кого-нибудь с русскими именами. Это один выход, если удастся найти.

Другой — выбрать вообще что-нибудь другое, формально не принадлежащее русскому искусству. Но ведь новая живопись интернациональна, великие художники последнего века уже не принадлежат к какой-либо национальной школе.

Вообще мне кажется, что для книги с несколько абстрактным названием («Вчерашняя вечность. Фрагменты XX столетия») лучше было бы отказаться от обычного мотива — женский портрет — и вместо этого выбрать что-нибудь менее фигуративное и более загадочное. Я очень люблю Пауля Клее (мы с Вами видели в Мюнхене кое-что). Можно найти и кое-что другое. Как Вы к этому относитесь?

Обнимаем Вас.

Ваш Г.

## К Юрию Колкеру<sup>1</sup>

01.01.05

Дорогой Юра, с Новым годом!

Если бы я не знал, что Вы не белоручка, работали и то, и это, были кочегаром и т.д., я удивился бы, узнав, что Вы вступили в ряды промышленного пролетариата, которому, как известно, принадлежит историческое будущее. А так — почему бы и нет. То есть, попросту говоря, слава Богу, что Вам удаётся что-то зарабатывать. Правда, приходится проводить рабочий день стоя. Я бы так уже не смог, у меня большие проблемы с венами.

Вы обмолвились такой фразой: «Я годами не понимал, зачем люди прозу пишут, когда есть стихи. А недавно — вдруг понял». Это интересное заявление, жаль только, что такое лаконичное, оно напомнило мне (немного) тот поэтический шовинизм, симптомы которого я находил у покойного Бродского. Зачем писать прозу? Попробуйте-ка ответить.

Зачем читать вам Бокля?  
Не стоит этот Бокль  
Хорошего бинокля.  
Купите-ка бинокль!

Четверостишие Некрасова — не ответ ли?

«Когда есть стихи...» Но, может быть, как раз наоборот: затем — или потому, — что существуют стихи. То есть затем, чтобы попробовать нечто более опасное, более рис-

---

<sup>1</sup> Юрий Иосифович Колкер — поэт, эссеист, мемуарист.

кованное, больше, чем поэзия, похожее на труд чернорабочего и вместе с тем, как может показаться, бесконечно более сложное. Попробовать приблизиться к вершинам пешком, в подкованных башмаках, с альпенштоком и сумой за плечами.

Ещё одна Ваша фраза: «Ни так, ни этак никто не слышит». Я нахожусь в совершенно таком же положении, это в порядке вещей.

Конечно, я знал, что Вы пишете и публикуете на Вашей странице в интернете рассказы. Мне неизвестно, пробовали ли Вы всё-таки прежде свои силы в прозе. Осмелюсь высказать предположение, что для зрелого поэта перейти от стихов к прозе очень трудно. Ваши статьи всегда восхищали меня точностью, экономностью, прицельной концентрацией средств. Повествовательная проза всё же нечто другое. Впечатление, что рассказы пока ещё не вышли из стадии проб, попыток, поисков собственного языка и слога, если угодно — из стадии ученичества.

Вы спросили: что у меня? Я, конечно, тоже — всё ещё — занимаюсь литературой. Прекрасно понимаю, что это гробовое дело, но остановиться не могу, да и что бы я мог делать ещё? Писал периодически рецензии на некоторые интересовавшие меня, преимущественно немецкие или французские книги, публиковал их в «Знамени», но с тех пор, как несколько моих текстов один за другим были зарублены тамошним начальством, бросил это занятие. Написал также несколько полустатей, полужудов о Кафке, о «Бесах» Достоевского и проч. В питерской «Звезде» был затеян номер, посвящённый немецкой культуре (так это называлось), они опубликовали мою повесть под названием «Ксения», где рассказ ведётся от имени бывшего штабного офицера 6-й армии Паулюса. «Дружба народов» (которую сейчас выгнали из её помещения) напечатала несколько рассказов. В «Октябре» выходило кое-что, в том числе заметки под титлом «Литературный музей», которым редакция почему-то дала подзаголовок «Из дневника писателя»; никаких дневников я, если не считать далёкого



отрочества, никогда не писал. Печатал прозу в известном Вам, недавно основанном израильском журнале «Nota bene». Весной в Москве («Вагриус») вышел мой роман «К северу от будущего». (Название — цитата из Пауля Целана). В нью-йоркском журнале «Слово/Word» тиснули одну небольшую повесть. Некий новосибирский, ныне московский издатель вдруг и без моего ведома выпустил сборник статей или как там их считать; называется «Ветер изгнания». В марте этого года в Париже собираются выпустить мою древнюю повесть «Час короля». Что ещё?

За все эти публикации, кроме рассказов в «Nota bene» и повести в «Звезде», где немецкий номер финансировался из Германии фондом Фишера, я не получил ни копейки. Гонорары (по-видимому, ничтожные, в рублях) за то, что выходит в Москве, выплачиваются моему брату.

Дорогой мой Юра, не забывайте. Сердечно обнимаю Вас и Таню.

Ваш ГФ.

24.01.05

Как я рад, дорогой Юра, возможности поговорить с Вами, хотя бы и таким призрачным, электронным способом. Начну с того, что рад и тому, что Вы, наконец, стали думать об издании сборника статей. К несчастью, не могу назвать издателя из известных мне, который согласился бы выпустить серьёзную книгу — даже если у автора, как у Вас, есть имя — без того, чтобы не вымогнуть у него приличную сумму. Облик российских издателей Вам известен, это жадная и беспринципная публика. При этом вы всегда оказываетесь в позе просителя — вам как будто делают одолжение. Или же надо заручиться надёжным знакомством, связями, блатом, подкрепляемым совместными воздействиями. Наше с Вами положение не располагает к этому.

Что касается статьи о Коржавине (к которой я вернусь), то её опубликовать в журнале, я думаю, легче. Самая обширная критико-библиографическая территория имеет-

ся, насколько я могу судить, в «Знамени». Правда, мне лично, как я уже Вам писал, там не светит. Но Вы — другое дело. Ещё легче, по-видимому, иметь дело с «Октябрём»: там нет этого высокомерия и преувеличенной самооценки; там этим отделом заведует милая женщина по имени Анна Вячеславовна Воздвиженская. Некоторым препятствием (это касается всех московских журналов — род коррупции) является риск задеть священную корову: бедный Эмма как раз ею и является. А как насчёт «Ариона»? Вам этот журнал, должно быть, знаком больше, чем мне.

Так что, как видите, настоящего, дельного совета я, к несчастью, дать не могу.

О Вашем письме. Да, я действительно уже знал, что Вы поместили на своём сайте прозу, ведь я регулярно заглядываю на Вашу страницу. В интернете, — ах Вы, педант! Вы приняли опечатку за умышленный винительный падеж.

Что сложнее, проза или стих. Я думаю, что пререкаться об этом нет смысла: поп своё, чёрт своё; в результате «оба сложнее». Замечу только, что я всего лишь имел в виду простую вещь — структуру прозаического текста. Ей более или менее соответствует и то, что можно назвать прозаическим сознанием: это — нечто совершенное иное (тут Вы со мной согласитесь), чем поэтическое сознание. У Эмилия Чорана я вычитал однажды такую мысль (вынужден привести свой не слишком удачный перевод): «Поэтический стиль, этот вирус прозы, расчленяет и разрушает её: поэтическая проза есть больная проза». Сказав, что зрелому поэту трудно перейти к прозе, я имел в виду не столько новую для поэта технологию прозы, сколько именно эту противоположность сознания. И в самом деле, поэтам, даже большим, редко удавалась проза. Пример — Цветаева, у которой этот вирус безнадежно поразил её прозаические опыты: получилась из рук вон плохая проза.

Вы пишете о самовыражении. «Литература ведь от агатакристируры тем отличается, что мы о себе пишем». Нет, дорогой Юра, проза «самовыражения» — это плохая проза, это опять тот же поэтический вирус. Потому что

одно из условий работы прозаика, — по моему мнению, необходимое условие, — это отчуждение от самого себя, осознание того, что собственная жизнь, жизненный опыт и опыт чувств суть лишь материал; так называемая автобиографическая проза в лучших своих достижениях представляет собой результат использования и переработки этого материала, его, если хотите, объективация, условием которой может быть лишь опосредованное отношение к себе как к другому «я», пусть и напоминающему моё собственное «я». Вы ведь и сами пишете, что до недавнего времени не могли представить себе писание прозы как другой (после поэзии) способ самовыражения. Это была верная мысль.

«Покритикуйте, если не лень, то, что на сайте». Попробуем; только, чур, не обижаться.

Рассказ «Литературное застолье». Полуинтеллигентная компания литераторов за столом с водкой и закуской. Болтают о том, о сём. Хозяин в подпитии рассказывает, как однажды его нынешнюю подругу (она присутствует здесь же) пытался соблазнить его приятель. В конце разговора хозяйка неожиданно плачет, оттого ли, что жаль чего-то упущенного, или оттого, что её угнетает пустота и пошлость компании, среды, никчёмного существования.

Рассказ предельно объективен, характеры намечены почти исключительно с помощью диалога, более или менее правдоподобно восстановлена атмосфера конкретного места и времени. Всё это очень хорошо. Но рассказ скучный. Старательное воспроизведение обстановки, речевой манеры участников, модных словечек и т.п. ничего не прибавляет к тому, что хорошо известно, много раз было описано. Шаблонность разговоров обернулась шаблонностью прозы, между тем как искусство как раз и состоит в том, чтобы рассказать о банальном небанально. Экспозиция от автора (первый абзац) создаёт впечатление полного отсутствия дистанции. Вариант того, что в этой же среде именовалось бытовухой.

Язык Вашей прозы, даже внутри принятой конвенции (заведомая пошлость речи действующих лиц), оставляет желать лучшего.

«Были студентами, и их» (гиатус: подряд три «и»).

«Скрючившись, как мраморный мальчик, вынимающий занозу» (неточность: мальчик в известной статуе не «скрючился», неподходящее слово; да и с мрамором плохо вяжется).

«Ну, вздрогнули. Пересеклись. Кругом гегемон» и т.п. Уже сегодня эти словечки непонятны новому поколению. Вообще в тщательном воспроизведении тогдашнего говорка чувствуется перебор. Убогий реализм быстро надоедает.

«При Каторзе или Кинзе» (нужно всё-таки Кенз, даже эти недоучки знают об этом).

«Гуттенберга» (нужно одно «т»; по-видимому, контаминация с Ульрихом фон Гутеном).

«Вишь» (из другого словесного ряда). И пр.

Ваша статья о Коржавине мне понравилась (некоторые возможные мелкие возражения не в счёт). Мне показалось, что, например, тот же «Октябрь» мог бы взять её с большой охотой. Правда, убийственная по существу оценка его поэзии (с которой я вполне согласен) может вызвать у редактора опасения. Вы ограничились поэзией, ни слова не упомянув о публицистике Коржавина, где он нагромоздил в разные годы горы глупостей. Заголовок Вашей статьи — «Гонфалоньер». Это слово редко употребляется даже по-французски. Читатели в России наверняка его не знают (я тоже не знал, справился в словаре, где кроме «знаменосца» указано и другое значение: судебный чиновник в итальянских средневековых городах). Думаю, что следует где-нибудь в тексте пояснить, что оно означает. Вообще меня немного смутили Ваши французские отсылки. О том, что *génie* может значить «джинн» (Вы путаете с джинном напиток джин с одним «н»), слышу впервые; подозреваю, что это Ваше изобретение.

Обнимаю, жму руку.

Ваш всегда ГФ.

25.01.05

Дорогой Юра, отвечаю, как Вы просили, без промедления. Адрес «Октября» (зав. отделом критики и публицистики А.В. Воздвиженская): [anna@hawaga.com](mailto:anna@hawaga.com).

О том, что джинн (с двумя «н»!) — слово восточного происхождения и означает дух, сверхъестественное существо, сидит в закупоренном глиняном сосуде и т.д., — я знаю, по крайней мере, со времён незабвенного старика Хоттабыча. Но от арабского джинна до пушкинского гения — семантическая дистанция огромного размера.

Кстати, Вы предлагаете (в конце статьи) взглядеться в этимологию слова «гений». Вам, конечно, известно, что оно отнюдь не ориентальное. Слово латинское, от глагола *gigno*, «рождаю»; *genius*, по первоначальному значению, — это дух отдельного человека, семьи, местности.

О том, кто такие гонфалоньеры, я вовсе не знал, ибо «Историю Флоренции», увы, никогда не читал. Теперь буду знать. Проверил значение по французскому словарю (*gonfalonier*, вариант *gonfanonier*, заимств. из итальянского). А вот какое значение даёт собственно итальянский словарь: *gonfaloniere*, *ист.* гонфалоньер. Отсюда следует, что слово вошло в русский язык.

Думаю всё же, нелишне было бы пояснить в тексте или в сноске, что оно означает.

Конечно, Юра, присылайте мне Ваши рассказы и новые стихи, Вы ведь и раньше посылали.

Насчёт статьи о Манделе-Коржавине. Мне несколько мешает, что я давно с ним знаком. Он внук цадика и сам немного был похож на цадика. Он был чуточку юродивым и обладал необычайным шармом. На протяжении десятилетий он неуклонно глупел. Знаю я и о том, что в своё время он был очень известен и любим. Когда я поступил в аспирантуру и приехал из деревни — дело происходило в 1963 году, — был вечер врачей в ресторане «Арагви», и вот в разгар веселья встала одна молодая женщина и стала декламировать стихи Коржавина.

Мне кажется, что, коль скоро речь идёт о поэте гражданском, фельетонном (Ваше определение, — и, кстати, прелестно Ваше замечание о частушечном характере его стихов), то обойти молчанием его обширную газетно-журнальную публицистику, а также недавно опубликованные мемуары невозможно. О них следовало бы, по крайней мере, упомянуть; всё это тесно связано с его поэзией; статья посвящена стихам.

«...он — среди тех, кто открыл нам глаза на природу советского режима. Он включил нам свет». Я бы так не сказал, но я старше Вас. Всё же стоило бы как-то релятивировать это заявление.

Ваше рассуждение о «футуристах от политики». К концу 30-х годов, когда Коржавин вступил на поэтическую стезю, от этих футуристов ничего не осталось. Вы пишете о страхе большевиков перед поэтами и «людьми с исторической памятью». Ничего подобного.

(Ниже Вы говорите о том, что в 1943 году произошла внезапная смена идеологии — поворот от интернационализма к русскому национализму и шовинизму; это тоже неточность. Поворот начался в середине 30-х гг., его сигналом были «Замечания товарищей Сталина, Жданова [и других членов Политбюро] об учебнике истории», низвержение Покровского и новое переписывание истории. Понадобилась другая, более традиционная легитимация режима. При этом, однако, сохранялась марксистская терминология; был состряпан некий гибрид, примером которого, между прочим, стал эпохальный фильм Эйзенштейна «Александр Невский», замечательный образец славянского фашизма в киноискусстве. Важный мотив фильма, если помните, — измена, тайные «враги народа» в духе 1937–38 г.; фильм снимался летом 38 года. Кто же эти враги? Богатые купцы. Сочетание патриотической идеи с классовым сознанием. Но окончательный отказ от марксистско-ленинско-пролетарской риторики произошёл — на время — вскоре после начала войны, тут Вы правы. Я хорошо помню: казалось, эта идеология окончательно вы-

брошена на помойку, невозможно было представить себе, что когда-нибудь всё это в какой-либо форме возродится.)

Я отвлёкся. Извините за длинноты. Разумеется, это была специфическая «историческая память», восстановленная с умыслом, льстившая плебсу, извращённая и стилизованная на нужный лад, — но отнюдь не истреблённая. И поэтов власть боялась не более, чем персонал зоопарка боится сидящих в клетках хищников. Огромными тиражами издавались и переиздавались классики русской литературы. Столетие смерти Пушкина было отмечено с неслыханной помпой. Портреты и стихи Пушкина были отпечатаны на обложках школьных тетрадей. В разных вариантах, от академического до массового, вышло полное собрание сочинений. И так далее.

От авангарда 20-х не осталось и следа. Социалистический реализм возродил ультраконсервативную, обветшалую поэтику и эстетику конца XIX века, которую надлежало сервировать партийностью и народностью, как их понимали руководящие идеологические инстанции. Режим, который на Западе по привычке считали левым, был на самом деле ультраправым.

Прозрение юного Коржавина началось, пишете Вы, со школьной литературы. И далее — о Василия Лебедева-Кумаче. Его, действительно, знали все. На первой сессии только что учреждённого Верховного Совета поэт-депутат выступил с речью в стихах. Тем не менее в школьном курсе литературы он никогда не фигурировал.

В общем, это долгая песня. Я надеюсь, что Вы не заподозрите меня к симпатиям к советской власти. Ваше описание сути и привычек этой власти редактор, боюсь, признает слишком хорошо известным. Но это его дело. Я возражаю лишь против схематизма, который неизбежно приводит к неточностям.

Обнимаю Вас.

Ваш всегда Г.

PS. Сообщите всё-таки, по какому адресу из двух имеющихся у меня Вам лучше посылать письма.

28.03.07

Дорогой Юра,

назвать Вас баловнем судьбы я бы не решился. Но и к неудачникам отнести Вас тоже нельзя. Или, по крайней мере, не больше, чем всех нас. Неудача, фиаско, не правда ли, входят в определение литературы.

Что Вам сказать о моей жизни? Летом позапрошлого года Лора тяжело заболела. Была оперирована, прошла курс облучения и химиотерапии, после непродолжительной ремиссии снова начато медикаментозное облучение. Сейчас её состояние более или менее стабильно, но будущее представляется не в лучшем свете.

Мне в начале следующего года стукнет 80. Долгое время я не мог привыкнуть к тому, что я глубокий старик. Веду я в общем прежний, обычный образ жизни, бóльшую часть времени сижу дома, торчу, как в данный момент, всё свободное время перед компьютером. Иногда бываю в концертах, слушаю музыку дома. Кое-что читаю, больше перелистываю.

За эти последние годы я написал сколько-то повестей и рассказов, кое-какие статьи и выпустил несколько книг. В Париже вышла в виде книжки моя старая, московских времён, повесть «Час короля» в хорошем французском переводе. Как ни странно, имела некоторый успех. В Москве — четыре книги: сборник прозы «Пока с безмолвной девой» (цитата из Горация), ещё один сборник «Город и сны», небольшой роман «К северу от будущего» (тоже цитата — из Пауля Целана) и — Вы удивитесь — антологический сборник под титлом «Абсолютное стихотворение. Маленькая антология европейской поэзии». Содержит около 50 стихотворений, русских и нерусских, с краткой характеристикой поэтов. Иностранные стихи приведены в подлиннике и с прозаическим переводом, который сделал Ваш слуга. Вся эта авантюра тянулась много лет, но, наконец, напечатали. Наконец, в Киеве выпущены были в одном томе роман и несколько повестей — с кудрявым названием «Следствие по делу о причине».



Сейчас я закончил другой роман — думаю, последний, — называется «Вчерашняя вечность». Может быть, лучше было бы назвать «Прошлогодний снег». Добавлю, что всякий раз, ставя точку, я испытываю тяжёлое чувство неудачи. См. об этом в начале письма.

Мои многолетние отношения с немецким издательством DVA прекратились — издательство продано, там теперь другие люди, да и времена изменились. Последний переведённый роман так и остался ненапечатанным.

Вот Вам, дорогой Юра, отчёт о моей деятельности. Пришлите мне что-нибудь, как встарь. Жаль, что Вы не помещаете больше свои статьи в интернете.

От нас обоих Вам и Тане сердечный привет.  
Всегда Ваш ГФ.

*10.04.07*

Дорогой Юра, я хорошо понимаю, что при Вашем образе жизни особенно не размахнёшься. Всё же был бы рад изредка получать от Вас весточку.

Спасибо за прелестные александрийские двустихия (кто сейчас пишет александрийским стихом?) и, конечно, за «Послание к бизонам». Всякого рода конкурсы, «номинации», шорт-листы и пр. — разумеется, вздор; важна статья. Не всё в ней, по правде сказать, меня убеждает, но нет никакой охоты возражать, я прочёл этот блестящий манифест с наслаждением.

Вы вспомнили нашу встречу в Мюнхене — как давно это было. Но читал я тогда, мне кажется, не «Выхожу один я на дорогу» (прекрасное стихотворение, но не принадлежащее к самым любимым), а Ходасевича: «Сижу, освещаемый сверху...»

Что касается абсолютного стихотворения, то название вызывало недоумение, по-видимому, не только у Вас. Могу просто процитировать то, что об этом сказано в моей книжке:

«Абсолютное стихотворение замкнуто в самом себе, и любое комментирование, любой анализ, который стремится взломать эту замкнутость, в конечном счете, обречены на неудачу; абсолютное стихотворение остаётся неуловимым; в нём самом всё сказано; истолковать его до конца, исчерпать его «смысл» — невозможно: он теряется в анфиладе зеркал. И, однако, стихотворение было к кому-то обращено: к самому поэту, к друзьям, к возлюбленной, к неопределённому читателю или слушателю; теперь оно обращается к нам, никогда не видевшим поэта, не слышавшим его голос, и хотя традиционное познание поэзии ставит своей целью поместить её в контекст эпохи, биографии автора и литературной истории, дело обстоит как раз наоборот: абсолютное стихотворение становится точкой отсчёта. Сведения, которые можно из него почерпнуть, — своего рода снисходительность, оказанная любознательному читателю; абсолютное стихотворение творит эпоху и воскрешает смутный облик поэта; ему не нужен больше его создатель, не нужна история; абсолютное стихотворение существует само по себе.

Абсолютное стихотворение есть тот единственный случай, когда знак всецело становится смыслом, а смысл предстаёт как гармония всех компонентов стиха — гармония значения и звучания. Его совершенство исчезает в нём самом. Высшее искусство состоит в преодолении искусства. Абсолютная поэзия всегда производит впечатление чего-то естественного, самородного, сущего изначально — и оттого кажется сверхъестественным: согласно архаическому поверью, о котором упоминает Эмиль Чоран, поэзия — это ветер из обители богов».

Вы возражаете против прозаического перевода стихов. Ваш пример с Пушкиным («Я вас любил...») хорошо известен. Иначе и не мог бы реагировать поэт. Против этого не попрёшь, доказывать противоположное невозможно, скажу только, что стихотворные переводы иностранных поэтов, тех, которые я мог читать в оригинале, меня почти всегда не удовлетворяли. Есть поэты, которым повезло, но

они составляют малое меньшинство. Мне не особенно нравится перевод «Фауста» в исполнении Пастернака, на худой конец я предпочёл бы Холодковского. Лучшие переводы Рембо беспомощны. И так далее. Конечно, это не значит, что я в принципе против переводной поэзии, есть блестящие, изумительные достижения, и Вам они известны лучше, чем мне.

Жму Вашу руку, дорогой Юра. Не забывайте.

Ваш ГФ

## К Марине Адамович<sup>1</sup>

19.09.06

Дорогая Марина Михайловна,

отвечаю Вам с опозданием, так как две недели отсутствовал. Буду рад увидеть в НЖ переписку с Вадимом Фадимым (он сообщил мне несколько времени тому назад, что послал Вам наши тексты и Вы их приняли), и спасибо за предложение прислать ещё что-нибудь.

Я могу предложить Вам следующее, хоть и не уверен, подойдет ли.

В Париже я снова встречался с Ренэ Герра (он, кстати, высоко ценит «Новый журнал»), и мне очень хотелось бы сделать о нём небольшой очерк. Вы уже публиковали статью С.Голлербаха, очень хорошую, но мне хотелось бы написать в другом роде, да и Герра более чем заслуживает того, чтобы о нём лишний раз напомнили русским читателям. Я бы хотел написать что-нибудь эссеподобное, философическое.

Это первое. Второе: последние годы я занимался романом, он называется «Вчерашняя вечность» и охватывает время от 30-х годов до конца века. Он готов вчерне, я занимаюсь переписыванием, вычеркиванием и т.п., но кое-что готово; я мог бы послать Вам на пробу отрывок — несколько небольших глав.

Напишите мне, пожалуйста, как Вы смотрите на эти предложения.

С дружеским приветом и уважением  
Ваш Г.Файбусович

---

<sup>1</sup> Марина Михайловна Адамович — главный редактор «Нового журнала» (США) с 2005 года.

22.09.06

Дорогая Марина Михайловна,  
решаюсь послать Вам отрывок из романа.

Как я уже писал Вам, роман не вполне ещё готов. По-сылаю Вам несколько первых глав. Они представляют собой род экспозиции или пролога. Дальнейшее растягивается до конца века, главная тема — как изжить страшную историю России, оставшуюся у нас за плечами.

Если этот текст для Вас подойдёт, просьба обратить внимание на следующее.

В тексте встречаются иноязычные включения. Очень прошу корректора тщательно сверить с моим текстом. Во французских фразах должны быть правильно воспроизведены надстрочные знаки ударений (штрих вправо, штрих влево, «крышечка») и апострофы. После буквы с апострофом (l' или d') следующее слово без пробела.

Я осмелился напомнить об этом, потому что, к сожалению, в американских русских изданиях — к «Новому журналу» это не относится — то и дело оказывается, что редактор как будто не знает о том, что, кроме русского и английского, на свете существуют другие языки.

Все цитаты переведены подстрочно либо понятны из контекста.

Реплики в диалогах, как обычно во всех моих публикациях, прошу набрать в кавычках, а не через тире.

Сохраните, пожалуйста, курсив там, где он встречается в тексте. Хотелось бы также, чтобы соблюдена была шрифтовка: нормальный кегль для основного текста, более мелкий для дат.

Если эти главы покажутся малопонятными, я могу написать краткое предисловие.

Жму Вашу руку, с самыми лучшими пожеланиями  
Ваш Г.Файбусович

27.09.06

Дорогая Марина Михайловна,  
спасибо Вам за лестный отзыв. Роман почти готов, я занимаюсь мелкими переделками. Надеюсь справиться

с этой работой в ближайшие месяцы. Я послал Вам прошлый раз семь первых глав — 30 компьютерных страниц. Всего должно быть примерно 280 стр., до 50 небольших глав.

Это, конечно, не объём «Войны и мира», но для журнала всё же довольно много. Я не имею ничего против Вашего предложения печатать с продолжением, решайте сами.

Вы просите сейчас прислать Вам добавку. Тут есть одна трудность. Роман, как следует из подзаголовка, носит фрагментарный характер, следующие главы — это уже начало войны. Там появляется некоторая неожиданность, нечто вроде альтернативного варианта истории, а может быть, просто фантазия наподобие предыдущих, но она может покорибить читателя.

Посылаю Вам ещё две главы, вместе с прежними это составляет 40 с чем-то страниц. Я ещё раз всё просмотрел и внёс несколько мелких поправок. Воспользуйтесь, пожалуйста, этим исправленным текстом, а старый выбросьте.

Жму руку, с дружеским приветом  
Ваш ГФ.

*02.01.07*

Дорогая Марина Михайловна,  
спасибо за поздравление, поздравляю и Вас. Я желаю Вам в наступившем Новом году всяческого благополучия и, конечно, процветания журналу.

Посылаю Вам ещё одну небольшую порцию моего романа, по объёму приблизительно равную первому отрывку. Но, как Вы увидите, роман начал несколько растекаться в разные стороны, понравится ли Вам, не знаю.

У меня есть несколько просьб.

Конечно, мне хотелось бы, чтобы в диалогах реплики — так делается во всех изданиях моих текстов — печатались в кавычках, а не начинались, как чаще всего принято, с тире.

Очень прошу Вас обратить внимание на *курсив*: он должен быть везде сохранён там, где он имеется в моём тексте.

Попросите корректора самым тщательным образом сверить иноязычные включения по моему тексту. В немецких фразах встречаются «умлауты» (две точки над гласной). Это должно быть обязательно соблюдено. В компьютере есть таблица особых знаков, там всё есть.

## К Марку Харитонову<sup>1</sup>

28.01.2018

Дорогой Марк, моя физиономия, надеюсь, до вас с Галей всё же дошла. Сегодня смена караула, Наталья возвращается на Украину, должна приехать из Польши Ядвига.

Вот сижу, слушаю Симфонию с ударами литавр и не устаю дивиться обилию новых идей и находок у старика Гайдна. Слово произнесено: идеи. Мне кажется, моё девятое десятилетие поставило окончательный барьер, у меня больше нет идей. Единственное, на что я способен, это реставрация старого. Последнее время я занимался, хоть и весьма плохо со зрением, текстом, для которого придумал забористый заголовок «Шаги слепого в темноте, или Позор порабощённой мысли». Речь идёт о двояком литературном освобождении; от лагерной, со всеми её изводами, темы и тем самым избавление от России, от вечной российской обязанности и мании писать и рассуждать непременно о российских бедах, истории, особенности и и судьбе, словно на них свет клином сошёлся.

Бог даст, допишу и пришлю тебе. Пришли и ты мне что-нибудь.

Крепко обнимаю. Г.

01.02.2018

Пишу тебе снова, дорогой Марк, хоть и покажется, что без особой надобности. Но такое общение, пусть заочное,

---

<sup>1</sup> Марк Сергеевич Харитонов — поэт, писатель, первый лауреат премии русского Букера.



давно, как ты знаешь, сделалось для меня насущной необходимостью. Сожалею, конечно, что ты не можешь (здоровье? дефицит времени?) прислать что-нибудь своё. У меня, правда, ничего нового тоже не происходит, читаю по ночам записные книжки Чорана и, мне сдаётся, хорошо его понимаю, когда он пишет, что неудачи необходимы для писателя, так как настраивают его писать ещё — для новых поражений, Иногда я читаю вслух мои творения женщинам, которые ухаживают за мной, — Наталье, теперь Ядвиге, и как-то по-новому воспринимаю старые вещи, притом чаще всего к худшему. Этот флюберовский тест проза не выдерживает. Например, стал декламировать «Запах звёзд»: когда-то эта повесть увлекала меня и даже нравилась, а теперь вижу, как много в ней промахов, чуть ли не провального. Ты её, предполагаю, знаешь. Громадный белый конь, герой повести, стар и, кажется, едва стоит на ногах, но всё ещё тверд духом, вынослив и могуч. Этот одёр, прошедший огни, воды и медные трубы, старый артиллерийский конь-доходяга, чья фантастическая худоба вызывает смех, привезён в рабовладельческий лагерь, чтобы заключить свои дни на лесоповале и отправиться, подобно всем своим товарищам, в последний путь по кишкам заключенных. Его безжалостно эксплуатируют, истязают, как только в неволе люди могли истязать рабочих лошадей; он чуть не погибает в болоте и топит своего возчика, уголовника, жалкое получеловеческое существо, но каким-то чудом выкарабкивается из трясины и с обломками оглобель стоит, покрытый грязью, в виду далеких лагерных огней. Этот образ жуткого и величественного бессмертия — если угодно, образ русского народа, и лагерь в тайге и болотах — это сама наша страна.

Такая мне грезилась некогда мифология. Немецкий перевод повести имел успех. В России её никто не заметил, считалось, что Солженицын сказал о лагере всё.

Что ж? Держись и ты, мой дорогой, это главное, обнимаю тебя и Галю, Г.

08.02.2018

Дорогой Марк, привет. Тоска подвигла меня последовать пожеланию издателя (который, по-видимому, сподобился-таки извлёчь некоторую прибыль из нашей двухтомной переписки) выпустить ещё одну книжку писем. Тоска и скука побудили, когда я увидел, что в Звезде появился рассказ, известный тебе, взять да и послать ещё одно сочинение, «Праматерь», тоже не новое, даже когда-то напечатанное в США, в каком-то неведомом сборнике русской прозы, чему предшествовала переписка автора с переводчицей миссис Сильвией Майзель, она писала мне, задавая свои вопросы, по-английски, я отвечал по-русски, Теперь Боря Марковский должен будет заняться отысканием текстов и «цифрованием» (Quid est?), но дело это трудоёмкое и затяжное.

Перечитывая вслух свои старые вещи, погружаясь в них, я вспоминаю годы моего увлечения Альбером Камю, помню, как, воротившись из деревни, познакомившись с покойным Беном и окружавшим его литературным миром, я с удивлением обнаружил, что этот философ абсурда, сопротивления и свободы, столь актуальный, необходимый, как мне казалось, в наших российских условиях, в ситуации русской интеллигенции вообще, видимо, не произвёл на них никакого впечатления. Мне и лагерь казался огромной иллюстрацией к «Чуме», к «Мифу о Сизифе», Письмам к немецкому другу и т.д. Впрочем, кажется, и сейчас: взять хотя бы повесть о белом коне, мы о ней недавно упоминали. Конечно, сейчас французский атеистический экзистенциализм, пронёсшийся, как поезд дальнего следования мимо захолустной станции, мимо нашего отечества, вышел из моды.

Adieu. Твой Г.

09.02.2018

В самом деле, давно пора было поблагодарить тебя, Марк, за присылку замечательного отзыва Елены Иваниц-

кой, да всё какие-то мелочи, внутренний раздрызг и прочее отвлекали. Отзыв на публикацию «Светлояра», для автора чрезвычайно лестный, принимая во внимание редкую компетентность и авторитет критика, свидетельствует о том, что повесть моя, достаточно трудная для чтения, если не просто занудная, была не только внимательно проанализирована и оценена, но прежде всего понята, прочувствована и расшифрована с такой глубиной, эстетическим чутьём и проникновением в замысел сочинителя, какие только может пожелать себе писатель, Передай, пожалуйста, мою признательность г-же Иваницкой, а также поздравь её от моего имени с днём рождения.

Насчёт плохого настроения, чёрных волн, накрывающих с головой время от времени, — это у нас дело привычное, зная меня, ты мог это заметить, так бывало ещё в юности, связано, очевидно, с устройством моей психики. Меланхолия или нечто подобное, если не хуже, как бы ищет для себя оправдания вовне, не зря, должно быть, на меня некогда производил такое впечатление Шопенгауэр, отлично помню, как я, ещё в первые послевоенные годы, когда был рабочим на Главном почтамте, — мне было 17 лет, — представь себе, сидел в тесной квартире родителей и с упоением читал по-немецки известную главу второго тома, «О ничтожестве и страдании жизни». А теперь, с увесистым, битком набитым рюкзаком памяти, — как же может быть иначе.

Всё ещё не теряю надежды получить от тебя фрагмент новой Стенографии. Будь здоров и бодр духом. Г.

*10.02.2018*

Спасибо, дорогой Марк. Я, конечно, успел прочесть до конца тот первый текст Елены Иваницкой, полученный тобою в фейсбуке, немного позже разыскал в интернете и прочёл любопытную статью А. Левинсона о красных и белых. Дошла до меня, преодолев капризы компьютера, и вся остальная часть замечательной обзорной рецензии Е.И. А вот новое продолжение Стенографии, о котором ты упо-

минаешь, к великому сожалению, не открылось, мой древний аппарат, очевидно, не справился с длинной и путаной электронной ссылкой. Нет ли у тебя возможности повторить по обычному, более простому адресу? Жму руку, обнимаю, твой Г.

16.02.2018

Пишу тебе, дорогой Марк, как часто со мной бывает, после ночи, проведённой в единоборстве с бессонницей, — тоже дело обычное, да и писать-то, как тут же выясняется, особенно не о чём. Просто не терпится «виртуально» услышать в ответ, из немыслимой дали, твой голос. Живу, всё ещё живу, по-старому, копаюсь время от времени в своей прозе неопределённого жанра, которая всё ещё не хочет закончиться подобру-поздорову, так что тянет плюнуть на неё наконец. Последние дни я как-то пристрастился, хоть и живу в другом мире, чтобы не сказать на другой планете, просматривать в интернете на московском канале «Культура» радио-телепередачи цикла бесед под названием «Культ личности», тебе, вероятно, известного. Слушаю высказывания, порой замечательные, иногда абсурдные, умных, по-настоящему умных и заслуженных, людей. Осмелюсь ли утверждать, что беседы эти, как бы ни относиться к ним, всё-таки род утешения для тех, кто, как я, потерял веру в наше отечество? А вот на этих днях я получил, опять же из Москвы, от Нины Кацман (которая теперь старше меня года на полтора) весьма пространное письмо, ответ на моё недоумение по поводу одного латинского оборота, явно мною, как и многое, увы, забытого. Письмо Нины — мы учились вместе на классическом отделении — представляет собой, говорю это без преувеличения, превосходный грамматологический трактат о глагольной системе латинского языка со всеми её любопытнейшими ухищрениями и находками, я бы сказал, песнь о латинском глаголе. Латинская грамматика, изумительно стройная и логичная, архитектурно — совершенная, включая её ядро — глагол, содержащий целую философию времени, — короче, вели-

чайшее достижение человеческого ума, шедевр, сопоставимый с творениями искусства и зодчества, с собором в Кёльне, с испанской церковью Святого Семейства или лондонским Св. Павлом или Шартрским собором или московским Кремлём.

Впрочем, довольно. Будь здоров, твой Г.

16.02.2018

(Продолжение)

Забыл упомянуть, дорогой Марк, кое-что в связи с письмом Нины Кацман, о котором писал тебе сегодня утром. Речь шла об одном редко встречающемся у классиков Золотого века и уже тогда архаическом причастном обороте. Объясняя мне его происхождение, Нина привела цитату из Истории Тита Ливия, как раз в моём любимом месте: кн. XXI, рассказ о переправе Ганнибала через Родан (Рону). Вторая Пуническая война, время около 220 до н.э. В дремучем девственном лесу солдаты валят деревья, строят плоты и заманивают на плоты карфагенских боевых слонов. Когда одно из огромных животных неожиданно впадает в неистовство, погонщик спрыгивает в воду, плывёт к противоположному берегу реки и зовёт слона. Слон опускается, ныряет и плывёт за ним. Твой Г.

23.02.2018

Дорогой Марк, как ты поживаешь? Пишешь ли (проза, поэзия)? Сейчас позднее утро. У нас зима, снег, умеренный морозец. Гениальная, вечно юная Четвёртая симфония Шумана.

Я доконал, наконец, с великим скрипом сочинение под названием «Следы на песке», эклектически неопределённого жанра, безрассудно эксплуатирующее выдержку предполагаемого читателя, похожее на обе предыдущие, книги, «Понедельник роз» и «Просветлённый хаос», получилась трилогия, для которой название придумать не могу. Опять

же в некотором роде итог. Помнится, я писал когда-то, что писателю следует сопротивляться своему времени и сторониться своего народа, И то, и другое поработает. Вырисовывается и «тематика»; эмансипация искусства, принципиальный индивидуализм художника, приоритет внутренней, подлинной жизни человека. Жму руку, обнимаю, Г.

26.02.2018

Дорогой Марк, прочёл твоё письмо с большим интересом. Я как-то давно уже не перелистывал Рильке, биографией и судьбой которого чрезвычайно интересовался, которого высоко ценил, прежде всего как поэта, притом почти исключительно по-немецки, но об «Историях о Господе Боге», как ни странно, совершенно не знал, даже не слышал о них. Сейчас отыскал в интернете, почитал немного эту, как мне показалось, слегка стилизованную под детское или полудетское чтение прозу. Она не слишком впечатлила меня. Что же касается театральной постановки, о которой ты пишешь, то мне, с ней, естественно, не знакомому, захотелось сказать немного на близкую тему. Не будучи театроведом, я не причисляю себя к адептам чрезвычайно распространённого, с лёгкой руки покойного Юрия Любимова, увлечения инсценировками произведений, художественной прозы. Оттеснение театра актёров театром режиссёров кажется мне признаком обнищания, если не деградации, драматургии, да и театрального искусства в целом.. Театр — искусство грубое, массовое во что бы то ни стало, сохранившее черты своего предка, публичного площадного зрелища. Пересадка мимозы, называемой романом, новеллой и т.д., на чуждую почву подмостков неизбежно обедняет, чтобы не сказать кастрирует, прозу. И тут уже ничего не поделаешь. Когда-то бывал я в сногшибательном Театре на Таганке, а совсем недавно смотрел, опять же в интернете, видеофильм, интервью с очаровательным престарелым нарциссом Юрием Петровичем Любимовым. Режиссёр-деспот, непререкаемый хозяин, по его словам, в собственном театре, мог позволить себе как угодно поступать с под-

чинёнными комедиантами, а заодно и Чеховым, с Мольером, чего доброго, с Софоклом, фактически дискредитировать любого драматурга, самочинно игнорируя его замысел, подменив пьесу самородным жонглёрством. Arrivederci! Твой Г.

13.03.2018

Дорогой Марк, спасибо, Обе вещи мне очень понравились, мало того: в особенности «Сон о Дороге» (я бы поставил здесь прописную букву) произвёл сильное впечатление — новаторское произведение, которое взламывает, и содержательно, и формально, обычные у тебя жанровые рамки: это уже не просто отдельное стихотворение *an sich*, а поэма, пусть небольшого объёма, поэма, написанная свободным стихом, казалось бы, малопригодным для этого жанра, Тема русской мне чрезвычайно близка, Я годами был ею порабощён. Она присутствует во многих моих сочинениях, Прибавлю, что сравнение дороги со змеёй кажется мне необыкновенно удачной находкой, Многосмысленная сквозная, точнее, стержневая метафора объединяет все образы («путевые картины» Гейне) и поэтически, символически синтезирует их Перед нами одновременно панорама современной России нового столетия и символ жизненного пути поэта и традиционный еврейский каббалистический мотив обретения истины, змеиная мудрость.

Короче говоря, одно из самых важных, как мне кажется, ключевых твоих произведений последних лет, Будь здоров, мой дорогой, мне остаётся только поздравить тебя.

В заключение, в качестве отклика, решаюсь послать тебе и Гале небольшой этюд на аналогичную тему. Твой Г.

25.03.2018

Давно ничего не слышу ни о тебе, ни от тебя, дорогой Марк. Как ты там, здоров ли, работаешь? Мой способ существования существенно не изменился, общаюсь с компьютером, хоть и со зрением дела швах, Русский язык пока ещё

помню. По ночам листаю и перечитываю «Способ существования», книгу, которую по-прежнему высоко ценю, где мне всегда нравились графика Гали, прекрасно найденный тон воспоминаний, литературная рефлексия, вдумчивость, спокойствие, образцовый язык. На сайте «Каялы» ты, вероятно, видел, помещены твои «Джокер» и «Два Ивана». В разделе «Рецензии» меня почтил обстоятельным этюдом критик Александр Люсый.

Хочу послать тебе для развлечения небольшой текст. Жму руку, обнимаю, твой Г.

*26.03.2018*

Конечно, ты прав, дорогой Марк. Просматривая давно написанное и опубликованное, становишься похожим на травоядное животное, которое то и дело отгрыгивает и заново пережёвывает съеденный корм, и эти самоповторения — печальный симптом слишком затянувшейся старости. Начинает казаться, что написано было плохо, чего-то не досказано, и хочется доделать, переделать, выкинуть лишнее, добавить недостающее. Чего доброго, переиздать — как тут же выясняется, без всякой необходимости. А что поделаешь, без работы от тоски можно подохнуть.

Ты обещал прислать новую Стенографию. Жду, крепко обнимаю. Твой Г.

*7.04.2018*

Вчера ночью, дорогой Марк, перечитывая твой очерк о Сидуре (я уже писал тебе, что заглядываю в «Способ существования» то и дело), отыскал страницы, описывающие 70-е–80-е годы, мёртвое, бездыханное время, которое и я отлично помню, — и поразился точностью вашей, твоей и Валима, характеристики. Мало того, мне кажется, хоть и живу далеко, что нынешняя ситуация близка к тогдашней.

А что же Стенография? Помню, в первый мой приезд ты показывал мне на полке папки со старыми дневниковыми записями, Теперь уже кое-что опубликовано. А мо-



жет, далеко не всё. Но когда появится всё остальное? Точнее, когда удастся добраться до минувших лет. Предполагаю, что там немало ценнейшего материала.

Мои дела как прежде, На этих днях вышли в Каяле «Шаги слепого в темноте», книжка, тоже составленная из новых и новых текстов. И для тебя тоже, по крайней мере отчасти, уже съеденный пирог. Между тем доделал ещё одну компиляцию. Тянет как-то послать это изделие тебе. Обнимаю вас обоих весьма энергично, Г.

*11.04.2018*

Дорогой Марк, получил письмо и «Годы с Комой Ивановым». Твой вдумчивый, чрезвычайно благоприятный и очень меня вдохновивший отзыв о «Дороженьке» поистине дорогого стоит, спасибо тебе за это утешение. Что касается собрания стенографических упоминаний об Иванове, то не вполне одобрительная (как показалось) реакция — дело обычное, родственникам и близким великого человека всегда не нравятся мемуары его друзей, самый яркий, крайний пример — ярость Анны Григорьевны после появления воспоминаний Страхова о Достоевском. Поздней, как ни удивительно, историко-археологическая ценность подобных, якобы искаживших действительность мемуаров оказывается подчас более высокой.

И на этот раз, как всегда, Стенография (цитаты о Коме и его высказывания) вызвала у меня множество мыслей, возбудила желание вмещаться в эти словопрения, споры и тревожения, вспомнились тогдашние времена, догадки умных людей, оказавшиеся более или менее удачными попаданиями пальцем в небо, попытки заглянуть в будущее, ныне ставшее прошлым, — вспомнились, притом что я тогда вёл совершенно другой образ жизни, к литературному миру не принадлежал, за исключением, может быть, Самиздата, очень малочисленного. Кстати, замечательная Стенография, значение которой, опять же документально-историческое, теперь уже несомненно, и о которой в те

баснословные года я, конечно, ничего не знал, даже представить себе что-либо подобное не мог. Стено твоё, говорю я, напоминает мне сейчас дневник Сэмюела Пипса (Pepys), современника Ньютона и, насколько помню, кратковременного президента только что возникшего Королевского общества. Я познакомился с этим интереснейшим документом эпохи во время работы над биографией Исаака Ньютона для школьников, «Мальчик на берегу океана». Дневник, среди прочего с описанием лондонского Великого пожара, был зашифрован (Пипс, любивший пожить, прятался от жены), много лет лежал под спулом, был найден и расшифрован. Я для своей книжки отобрал и перевёл несколько фрагментов. Опять-таки дела давно минувших дней. Засим обнимаю тебя и Галю, ваш Г

*26.04.2018*

Дорогой Марк, здравствуй. Пишу тебе, как обычно, утром. После летних, жарких даже, дней сегодня за окном пасмурно, но, вероятно, ненадолго. И... и что же дальше. Настроение так себе, единственное спасение — придумывать для себя работу и, конечно, музыка, Бавария-4: Шуман, Дворжак, чарующая юношеская 3-я Шуберта, даже наконец Карл Мария Вебер с обоими его, прелестными ф.п. концертами. Борис прислал мне «Шаги слепого», несколько экземпляров, малый формат, изящный дизайн, зато шрифт для меня недоступный. Звезда поместила в последнем, четвёртом номере повесть «Праматерь» (опустив английский эпиграф из Киплинга). Вот и все мои новости. Обнимаю тебя и Галю, пиши мне, будь милостив. Всегда твой Г.

*13.05.2018*

Марк, дорогой, ты прислал мне прекрасное письмо о музыке. Боюсь, что моя весьма убогая музыкальная эрудиция не позволила бы мне ответить, как следует на твой вопрос о знаменитом скрипичном концерте Моцарта. Но и мне догадки о мнимом или действительном цитировании

Моцарта, к примеру, венскими классиками (довольно обычное, вообще говоря, в ту эпоху и притом отнюдь не порицаемое дело, ты и сам об этом пишешь) тоже иногда приходили в голову. Пример — Бетховен. В одной из малых, «моцартианских» симфоний юного, прямо-таки почти подростка, Шуберта мне отчётливо слышатся волжские напевы, что, быть может, не так уж удивительно, если вспомнить о том, что музыкальная жизнь в столице двуединой Дунайской монархии была ощутимо пропитана славянским мелосом. Весьма популярная Первая симфония раннего Бизе (если вернуться к нему), на мой взгляд, точнее, слух, тоже выдаёт присутствие Моцарта. Не говорю уже о Стравинском, у которого почти плакатные цитаты Римского-Корсакова и др. — узаконенный приём.

Осмелюсь тебе напомнить об обещанной Стенографии. Кстати, постоянно популяризую её здесь среди друзей. Будь здоров, твой Г.

*14.06.2018*

Дорогой Марк, у меня, как это нередко теперь бывает, произошло недоразумение, я хотел послать тебе вместо очередного письма три первых предисловия к подготовленному для издательства макету книги «Посох Мафусаила», но, кажется, сбился с толку и отослал весь макет. Отлично понимаю, что если это случилось, читать электронную бодягу размером в 240 страниц невозможно, отложи её, не глядя, либо выброси, Надеюсь, она всё-таки не дошла, Обнимаю, Г.

*14.05.2018*

Вчера послал тебе письмо, дорогой Марк, вдохновлённое (что за выражение!) удручающими впечатлениями от праздничной годовщины победы и умышленно совпавшей с грохотом страховидного парада новой интронизации. И хотя не знаю, дошло ли до тебя вчерашнее письмо, хотя и со зрением дела швах, то и дело, как у хронического больного в ожидании очередного рецидива, тянет к ком-

пьютеру, этому дьявольскому изобретению. Да и мысли всё те же. Одолевают необходимость хоть как-то подвести итог, тягостная потребность уговорить себя, что не зря, черт возьми, потратил жизнь на занятия словесностью, — на und? И что же... Поздним вечером своей жизни, ворочаясь и готовясь отойти ко сну, мысленно перелистываешь затверженные, точно специально написанные для меня строки пушкинские (Пора, мой друг, пора, Из Пиндемонте, Поэт, не лорожи любовь народную), тютчевские (Душа моя, Элизиум теней), ахматовские (Поэма без героя, Северные элегии), повторяя их, в который раз натыкаешься на собственную мысль об извечном одиночестве писателя.

*21.05.2018*

Дорогой Марк, я осмелился, с помощью Ядвиги (у которой есть фейсбук), заглянуть без спроса в твой ФБ, Увидел материалы, посвящённые маме, перечитал памятный мне, пронзительный верлибр, прочёл отклики, И позавидовал, как много у тебя друзей и добрых знакомых, которые ценят тебя, сопереживают, с восхищением следят за твоим творчеством.

Я коротаю привычную свою жизнь, довольно скучную, стараюсь что-то делать, Звезда, как я уже писал тебе, поместила в очередном номере повесть мою «Праматерь», рискованный сюжет не оттолкнул редакторов. Теперь, расхрабрившись и опять же рискуя утратить их неожиданное благоволение, возымел я намерение прислать наудачу ещё что-нибудь. Набрёл на одно, тоже не новое, когда-то опубликованное в Израиле и стоявшее мне обыска произведение, «Запах звёзд». Разумеется, вся затея написана вилами на воде; если получится, то лишь очень нескоро. На всякий случай начертал авторское послесловие к этой вещи. Пошлю его тебе для развлечения, а также аннотацию «Посоха Мафусаила», который должен выйти в Каяле. А пока обнимаю крепко тебя и Галю. Здоровья и работоспособности вам обоим. Ваш Г.

26.05.2018

Дорогой Марк, здравствуй, как ты там?

Я тут потратил уйму времени на войну с компьютером, прежде чем удалось отправить в Звезду мою старую повесть, — боюсь, не надоел ли я им в конце концов.. Теперь снова чувствую себя архивариусом. Нам выпало на долю тянуть литературную ляжку в годину угасания литературы, век плачевной утраты некогда почётного кресла в обществе, зато у литературы появилась новая, могущественная защитница — современное литературоведение. Так сказать, похоронное бюро. И я не прочь был бы со всем своим скарбом стать когда-нибудь клиентом этой фирмы. Для неё, собственно, и стоит работать. У меня даже ощущение, будто я печатаюсь в надежде на усердие профессионалов-гробокопателей с их современным катафалком и прочим необходимым оборудованием, лучший, настоящий потребитель художественной словесности — это учёный-филолог и литературовед.

Вообще — это уже особая тема, я её когда-то слегка касался — мы живём в александрийскую эпоху. И она, как положено, уступит место новому Средневековью. И его историческим достижением станет восстание Культуры против восстания масс, варварства цивилизованного плебса, ревущих толп на футбольных стадионах, омерзительной грохочущей музыки, глобальной пошлости, мировой чепухи, журнализма и так далее.

Пора, однако, закругляться, утро уже кончилось. Пиши мне, пришли ещё что-нибудь, твой Г.

27.05.2018

Со страхом прочитал вчерашнее твоё письмо, дорогой мой друг,— и что же ещё могу сказать, может ли надежда издали помочь? А всё-таки надеюсь, что всегдашние твои выдержка и мужество тебя не покинут, и это, кажется, уже подтверждают заключительные строчки письма. Слава Богу, ты, кажется, понемногу оклемался, и более того, сумел, тьфу-тьфу, приняться снова, если я правильно понял, за

работу. Буду ждать от тебя утешительных, благоприятных новостей и, очень наежусь, новых текстов. Сердечно обнимаю тебя и Галю. Г.

*30.05.2018*

Очень был рад, мало сказать, счастлив увидеть и услышать тебя в интернете, дорогой Марк. Мне казалось, что и сам я нахожусь среди тех, к кому ты обращаешься, рассказывая о романе и его сценическом перевоплощении.

Сейчас утро, ночью гремела и шуршала гроза, жаркое и грозное лето в этом году, и снова наводнение кое-где в Рейнской области.

По вечерам я читаю вслух «Далёкое зрелище лесов», давнишний, забытый роман, напечатанный некогда в журнале *Время и Мы* покойным В. Перельманом и дававший мне право вступить в колхоз славных писателей-деревенщиков, тоже ныне благополучно забытых. Издательство DVA его отвергло, так как Россия к этому времени в наших местах вышла из моды и мои произведения перестали раскупаться. Так что роман этот так и не выходил отдельной книжкой; зато теперь, читая его, я захлёбываюсь от смеха, вещь оказалась очень смешной. Далёкое прошлое.

*05.06.2018*

Дорогой Марк, я тут всё жду новой, очередной Стенографии, хоть и отлично понимаю, что диаристика как особый род литературы или, скажем так, бег наперегонки с временем, осуществляется не так просто и уж тем более не по чьему бы то ни было заказу. Кстати, как ты себя чувствуешь, находишь ли силы работать? А я твержу довольно бестактно всё то же.

И всё-таки; веришь ли, я по-прежнему каждую ночь встречаю перечитыванием наугад твоего «Способа существования», открываю на каждой странице нечто новое. Больше того, думаю, что такая книга должна иметь продолжение, дальнейшее развитие.

Живу-поживаю, дела обстоят, как говорится, mittelgraechtig. Я списался с Татьяной Хазановской, актрисой израильского русского театра МоноАрт, известной своими моноспектаклями, которая участвовала в инсценировке диалога Реб Циммерман и Голем для моего юбилея. Даже предложил ей воспользоваться для своей работы каким-нибудь другим из моих сочинений. Сам я, как уже писал тебе, читаю вслух время от времени Ядвиге Пашницкой, присатривующей за мною, некоторые из старых изделий, вспоминаю времена, когда сочинял их, — странное дело, они сами успели стать моим прошлым, в который раз понимаешь, ощущаешь даже чуть ле физически; будущее, которое некогда существовало, спрятавшись где-то, сожрало их, будущее, monstrum vorax, хищный зверь. Впрочем. ты от меня всё это, кажется, уже слышал.

А сейчас посылаю тебе один этюд из воспоминаний об уже далёком прошлом. Сердечно обнимаю.

Твой Г.

8.06.2018

Дорогой Марк, получил от тебя интересное письмо, просмотрел и прослушал в интернете, тоже с напряжённым интересом и вниманием, рекомендуемую тобой дискуссию видных историков о Версальском договоре и его последствиях, Можно только сожалеть, что передача получилась, по моему впечатлению, хаотической, участники спешили, перебивали друг друга и вынужденно комкали собственные выступления.

Дискуссия вернула меня к концу 80-х, временам, когда мы начинали нащ бывший журнал, когда и сам я был увлечён и усердно занимался всей этой, весьма дефицитной в СССР проблематикой, писал, разумеется, дилетантски, и отчасти публиковал статьи о постверсальской Германии, о так называемой Консервативной революции, на которую,

кстати сказать, очень похожа державно-национальная болезнь, ныне поразившая, насколько я могу издали об этом судить, умы в сегодняшней России

Захотелось по этому случаю послать тебе один из моих тогдашних опусов, твой Г.

*10.06.2018*

Утро, худшее время дня, дорогой Марк. Сижу, прислушиваюсь к музыке, мысленно разговариваю — с кем? С тобой, конечно. Предполагаю, что моё последнее письмо, в купе с небольшим этюдом, путевыми записками, не дошло, ну и хрен с ними. Живу как-то, писать из-за плохого зрения почти не удаётся. Впрочем, хныкать негоже. Откопал в который раз в интернете Возмездие и Поэму без героя, две высшие, главнейшие поэмы русского Двадцатого века. Хотелось набросать что-то био-историографическое самому, однако приходится отложить. Известия из России и о России погружают в уныние, Страна-динозавр с разинутой огнедышащей пастью и чешуйчатым хвостом, на когтистых лапах.

Борис прислал несколько экземпляров известных тебе Шагов слепого в темноте, но читать собственную книжку, представляешь себе, я совсем не в состоянии, шрифт кажется слишком мелким. Как ты там? Исполнишь ли просьбу Чуприна? Обнимаю тебя и Галю, ваш Г.

*11.06.2018*

Дорогой Марк, я прочёл (отчасти перечёл прочитанное тогда, на прошлой неделе) всё что ты сообщаем о замечательной книге Юлии Сидур, включая фрагменты её дневника, и, конечно, сразу встали перед глазами те дни 68-го года, Пражская весна и её конец, Помню, правда, что не переживал её так напряжённо, вероятно, оттого что, вернувшись из деревни, обивал пороги в судорожных попытках, со своим волчьим билетом, добиться восстановления прописки в Москве. Позднее читал, сперва по-русски, а там и на других



языках, самого известного чешского романиста и эссеиста тех лет, он затем эмигрировал во Францию. И вот сейчас вспоминаешь тогдашнюю взволнованность, и гадания, что будет, и новые надежды, — вспомнились заодно и 80-е годы, и наш журнал, — и как же всё-таки изменилось с той поры, притом к ещё более худшему, наше отечество! Всё было втуне, всё оказалось напрасным, Тогда всё-таки были возможны какие-то надежды. Ныне провалилось под шум канализационных вод, шум истории гнусного века, — в стульчак, Такие глубокие мысли пришли в голову при чтении твоего письма, твой старый Г.

*14.06.2018*

Дорогой Марк, у меня, как это нередко теперь бывает, произошло недоразумение, я хотел послать тебе вместо очередного письма три первых предисловия к подготовленному для издательства макету книги, «Посох Мафусаила», но, кажется, сбился с толку и отослал весь макет. Отлично понимаю, что если это случилось, читать электронную бодягу размером в 240 страниц невозможно, отложи её, не глядя, либо выброси. Надеюсь, она всё-таки не дошла. Обнимаю, Г.

*15.06.2018*

Дорогой мой Марк, из твоего ответа я вывожу, что ненароком посланный мною макет Мафусаила таки дошёл до тебя. Спасибо за добрые, внимательные слова!

У тебя хорошие новости. Твой ФБ я прочёл, нашёл много интересного. Кстати, рассказ Липкина о застолье у Клюева с Клычковым, и о том, что еврей не может быть русским поэтом, и окстись, Серёнька, перед тобой Мандельштам, и что Пастернак — спичечный коробок без спичек, и снова укоризненное клюевское оканье. Опять не то говоришь, Серёнька, etc., — рассказ этот вставлен в прелестные мемуары С.И. «Квадрига».

У меня пока ничего нового. Ожидаю рискованной публикации в Звезде, если согласятся взять. Обнимаю, Г.

26.07.2018

Конечно, дорогой Марк, я получил и подтвердил получение подборки упомянутых тобою стихотворений, останавливающих глубиной мысли, оригинальной образностью и неожиданностью сопоставлений, — каждый верлибр — маленький трактат. Или, скажем так, мини-эссе. Но содержательный отклик требовал обстоятельного ответа, а ты просил не присылать тебе пространных писем. К этому можно теперь прибавить и некоторую трудность общения с компьютером. Всё же не теряю надежды получать от тебя вести либо тексты хотя бы время от времени, твой Г.

2.08. 018

Радостное известие, дорогой Марк, ты закончил новую, большую работу. А я тут как раз сегодня утром собирался, нарушив запрет, послать тебе один коротенький текст, написанный между делом, попутно с другой, несколько более пространной работой, — не о ней сейчас речь.

Пожалуйста, не смущайся, пришли мне целиком, не думая о размерах, всю работу, я прочту её, мне помогут. О получении извещу тебя немедленно. Одновременно посылаю свою миниатюру, в ответе она, за бедностью содержания, не нуждается, Итак, жду твоего обширного труда, сердечно приветствую и обнимаю вас обоих. Г.

04.08.2018

Дорогой Марк, у нас как назло ремонт дома, шум, пишу тебе с большим опозданием. Всё же дочитал сегодня до конца «Хирургию судьбы», название, которое мне нравится и, кстати, неслучайно перекликается с твоими же «Линиями судьбы». Должен сознаться, что новый твой, глубокий и многосложный роман с весьма изобретательным сюжетом, суля по всему, очень актуальный, сталкивает с немалыми трудностями неподготовленного читателя, кем

я ощущаю себя, погружённого в прошлое, давно не живущего в России и малопривычного к разговорному языку современной русской интеллигенции, языку, преимущественно написан этот роман, языку технизированному, избыточному американизмами, подчас словно нарочито избегающему музыкальности, как я её понимаю. Между тем с самого начала, когда упоминается изобретённая неким японцем бредовая идея операции на ладони с целью заново прочертить у пациента предсказательные хиромантические линии будущего, меняется тональность всей композиции, вступает главная тема, с тем чтобы противопоставить её побочной, далее вариации и то, что по правилам классического симфонизма именуется *Durchführung*. На сцене появляется главная фигура, загадочный доктор Кейн. Сновидческая мистика, о которой трудно сказать, доверяет ли ей вполне сам автор, окутывает дальнейшие приключения и переживания Максима.

И чем дальше, тем очевидней наш новоязык напоминает лингвистическую ситуацию 20-х годов, когда так же, как и нынешний сленг, поработивший публику после грандиозного социального и политического катаклизма, становится языком литературы. Боюсь, однако, что и сам я повторяю судьбу тогдашнего противоположного лагеря, белых эмигрантов, то есть настолько устарел, что со своим назойливым пуризмом не могу отделаться от подозрения, будто проза, насыщенная этим старательным новоязом, рискует оказаться недостаточно устойчивой добычей того, что Ахматова называла зубом времени, слишком уж краткосрочной может оказаться наша сегодняшняя, неустанно набирающая скорость мимолётная современность.

Чувствую, что написал, увы, гораздо меньше и невнятнее, чем хотел, Роман, с которым сердечно тебя, дорогой друг, далеко не истративший свой порох в пороховницах, поздравляю, нужно, как любимого тобой Фолкнера, читать и возвращаться к нему. Засим обнимаю тебя и Галю, жму руку, твой Г.

09.08.2018

Дорогой Марк, привет. Тропическая жара продолжается, погиб урожай, там и сям бушуют лесные пожары, температура воды в Рейне поднялась до 28 градусов. Всю неделю раздумываю над «Хирургией судьбы», о которой написал невнятно и недостаточно. У меня есть два вопроса. Появились ли какие-либо отклики на роман; и второе: как бы ты отнёсся к предложению сопроводить книгу авторским комментарием, послесловием и т.п. В условиях, когда литература чахнет в отсутствие регулярной серьёзной критики, соображения писателя о своём, ориентированном на опытного, вдумчивого и отнюдь не массового читателя произведении, рассказ о том, как создавался роман, наконец, рефлексия автора о своей работе будут не только интересны, даже увлекательны, но и прямо-таки необходимы. Что скажешь?

Хочу послать тебе сегодня небольшой опус, где, кстати, имеется абзац на эту тему, твой Г.

16.08.2018

Меня не удивляет, дорогой Марк, что в моей Мемориальной записке ты находишь знакомый набор эпитафий (кстати, у тебя описка, там не концерт Брамса, а третья часть Второй симфонии) или одни и те же пассажи, обороты мысли и т. п., ведь я нередко нахожусь под впечатлением или влиянием твоих, столь близких мне Стенографий либо замечательных очерков о Сидуре, Д.Самойлове и др. из многожды читанного и перечитанного «Способа существования». Я рад, что ты внял моим уговариваниям написать автокомментарий к роману, по-прежнему считаю это очень важным делом, нужным для читателя, да, пожалуй, задним числом полезным и для самого автора. Последнее время непостижимым образом я то и дело возвращаюсь к горацанскому *sume superbiam*, то есть возмеей гордость: разумею под этим навязшую в зубах мысль о «наследии». Пора! Можно предположить, что у потомков наших останется ещё меньше времени интере-

соваться литературой, чем у современников, но это, в конце концов, не наше дело, Важно что-то оставить. Фейсбук, этот курган словесной трухи, рассыпается без следа. Ну и хрен с ним. Но надо, надо! Надо строить, выстраивать литературу, пусть на песке. См. у Мандельштама «Скажи мне, чертёжник пустыни...»

Крепко обнимаю, твой Г.

*24.08.2018*

Здравствуй, дорогой Марк, неполадки с компьютером как будто преодолены, после некоторого перерыва хочется напомнить о своём существовании, хоть и не ведаю, о чём, собственно, тебе написать. Влачу мои долгие дни, как сказано у Гёте. Борис прислал несколько экземпляров Мафусаила. Дойдёт ли книга, изданная в Киеве, каким-нибудь образом до России, неизвестно. Макет Малой прозы подготовлен, туда вошёл среди прочего известный, кажется, тебе, весьма сумбурный роман «Взгляни на иероглиф». Звезда поместила в 8-м номере повесть «Запах звёзд» с послесловием. Помню, я писал её с большим волнением и жалостью к обоим протагонистам, и было очень горько, что её никто, кроме немцев, не читал. Обнимаю тебя сердечно, твой Г.

*25.08.2018*

Дорогой мой Марк, я только что неожиданно получил и прочёл оба твои письма, потрясён необыкновенно, и мне трудно сейчас рассказать, как меня, с вечным моим маловерием и пессимизмом, как утешило и ободрило твоё впечатление от чтения моей повести, я бы даже сказал, вдохновила такая высокая оценка; услышанная именно из твоих уст, она для меня поистине дорогого стоит. У меня нет своей библиографии, но я помню, как я узнал в Москве о том, что в Израиле вышел без моего ведома маленьким тиражом на деньги какого-то мецената сборник прозы под названием «Запах звёзд». Небольшая книжка была у меня найдена и изъята при обыске, стала поводом для вызова

в КГБ, где некий чин добивался безрезультатно, чтобы я признал моё авторство, причём оценивал эту прозу крайне низко. При следующем обыске отняли мой роман, но я об этом уже писал, если не ошибаюсь, в написанном тогда же небольшом этюде «Памяти одной книги». Дела давно минувших дней.

Ещё раз спасибо, спасибо тебе огромное, мой дорогой, твой Г.

22.09.2018

Дорогой Марк, привет. Я немного оклемался, последние дни был занят книжкой для ОГИ, о которой тебе говорил, план для неё был уже готов заранее. Просил М.Амелина вставить ещё два текста, «Вдохновитель Леверкюна», на тему, о которой ты размышляешь в Способе существования, и, в качестве эпилога, «Пушкин». Не знаю, попадался ли тебе этот последний, совсем коротенький и малозначительный экспромт, посылаю его тебе заодно.

Теперь насчёт обнародования последнего тома твоей Стенографии — ты знаешь, что я придаю этому диаристическому эпосу большое, особое значение. Ты сказал, что принял решение помещать его отдельными фрагментами в Фейсбуке. Не знаю, как ты отнесёшься к моим сугубо частным соображениям на этот счёт. У тебя много собеседников и почитателей. Приятно, конечно, выслушивать сочувственные отклики. Но — «Поэт, не дорожи любовью народной. Восторженных похвал пройдёт минутный шум». Твоё решение — паллиатив, и не более чем паллиатив, Беда в том, что фейсбук эфемерен, от взаимных реплик, а равно и ограниченных публикаций, мнений и комментариев, от такого способа общения в целом ничего не остаётся уже на другой день. И Стенография в любой форме подачи провалится в яму. Так что единственный способ сохранить её для будущих читателей — увы, всё ещё бумажная книга. В крайнем случае, собственный сайт, который всё вмещает и хранит относительно надолго.

Итак. dixi. Жму руку, обнимаю. Г.

29.09.2018

Так и не пришло никакого ответа из ОГИ, дорогой Марк, кроме того, о чём я уже сообщал тебе, — макета моей книжки под многообещающим названием «Смысл и оправдание литературы». Между тем вчера и минувшей ночью листал и читал с прежним увлечением Стенографию конца века, даже с волнением каким-то. Вспомнил восьмидесятые годы, агонию диссидентства, гибель Самиздата, компанию геронтов на трибуне мавзолея и шамканье Брежнева, свежее кладбище молодых солдат из «Афгана», успехи Антропова, окончательно прекратившего эмиграцию, и которому мемориальная доска, воздвигнутая благодарным учеником и преемником, ныне красуется на лубянской цитадели, — некому, увы, облить её жидкими экскрементами. Короче, вспомнилось всё это гнусное, провонявшее запахом старческой мочи время, то самое, непосредственно предшествующее нашему бегству из Советского Союза.

А сейчас утро, тишина, солнечные пятна на полу, и радио передаёт Die Schottische Мендельсона, шедевр немецкой музыкальной романтики, другой мир, удивительным образом напоминающий в моём восприятии Шотландию Мандельштама, И, и... сию теперь без работы, только и остаётся мысленно разговаривать с тобой. Крепко обнимаю, твой престарелый Г.

29.09.2018

Возвращаясь к Стенографии, капризам почты, пропавшему или не дошедшему до адресата письму и т. д., я начинаю думать, дорогой Марк, что дело тут, возможно, в чём-то другом. Например, в том, что предлагаемый материал попросту не нравится владельцам издательства или главному редактору, почему-либо признан не отвечающим издательской программе, либо что-либо подобное, нам не известное, и редактор, щадя самолюбие автора, предпочитает не говорить об этом вслух и, не вняв моим доводам,

отделаться молчанием. Это, конечно, только моё, пусть и малоправдоподобное, дикое даже, предположение. Но — подождём, я с тобой согласен. Обнимаю. Г.

*01.10.2018*

Боюсь, дорогой Марк, что повторное, твоё или моё, напоминание Амелину об отсутствии ответа может вызвать у него раздражение, и он скажет, а почему бы Харитонову не подыскать себе другого издателя. Я, со своей стороны, подумав, нахожу, что в самом деле, чем чёрт не шутит, не лучше ли скрепя сердце и порывшись в карманах вернуться к той же Каяле, где твоё имя высоко котируется и тебя вновь охотно, в чём я совершенно уверен, своевременно и надёжно опубликуют. Да и штраф за публикацию будет, надеюсь, не слишком велик. Что ты об этом думаешь? Твой Г.

*11.10.2018*

Дорогой Марк, наконец-то могу, мне кажется, поздравить тебя, да и нас обоих, с завершением этой катавасии с публикацией Стенографии. Должен сознаться, что меня потряс договор, который тебе прислали, этот поистине гималайский шедевр какой-то сверхъестественной бюрократии, За многие годы литературной деятельности в эмиграции, многократное опубликование своих изделий во многих издательствах разных стран наконец даже и в России; я никогда, ни одного разу, не получал подобных документов, вообще не должен был ничего подписывать, всё ограничивалось, поверь мне, я не преувеличиваю, устной договорённостью, необходимое считалось само собой разумющимся.

Но теперь всё это не стоит обсуждать, заключительный том Стенографии, слава Богу, выходит в свет,

Я живу всё так же, если не считать некоторых кишечных неприятностей, из-за которых мне придётся на днях снова лечиться в стационар, Книжка в ОГИ подготовлена



к печати, но Амелин ждёт запланированного предисловия от Вадима Перельмутера. Крепко обнимаю тебя, мой дорогой, твой старый и облезлый Г.

25.11.2018

Пишу тебе, дорогой Марк, как водится, без особого повода, разве только в надежде развеять на несколько минут тоску буден. Наша волшебная золотая осень приказала долго жить, Зябко, кисло. Из немногих моих новостей: Боря Марковский в Бремене после глазной операции выписан из больницы, собирается взяться за макет «Времени и вечности». Я много возился с этим проектом, о коем уже писал тебе, успел закончить окончательный вариант. Снабдил книгу заранее следующей аннотацией.

Том произведений Бориса Хазанова, бывшего политического эмигранта Третьей волны и одного из протагонистов современной русской зарубежной литературы, состоит из трёх частей, в которых предлагает читателю основные изводы прозы — исповедально-эссеистическую (размышления о времени и вечности), художественную (рассказы и повести) и эпистолярную (избранные письма к друзьям).

Вторая новость: пришёл от М. Амелина макет другой книжки, под оптимистическим названием Смысл и оправдание литературы. Это скромное, в духе грибоедовского Взгляд и Нечто, собрание выбранных самим редактором этюдов о писателях с добавлением двух-трёх вещиц на близкие темы и предисловием инициатора всей затеи Вадима Перельмутера.

Сейчас утро. Ночная бессонница под лампой натолкнула меня, в который раз, на «Поэму без героя» Ахматовой, столь важную для меня, центральную в триаде великих поэтических монументов Серебряного века вместе с Возмездием и Двенадцатью Блока. После чего мысли мои,

точнее, грёзы наяву приняли другой оборот. Воротилась мелодия, некогда зазвучавшая в те стародавние поры, когда я занялся было романом Антивремя и его стащили бесхвостые крысы КГБ. Мелодия эта — поколение. Между прочим, ту же музыкальную тему возбудил, много позже, пассаж из твоего Способа существования, который начинается, цитирую на память, фразой: Я поздно осознал мою принадлежность к поколению.

Пришлось, стало быть, и мне осознать.

Моё — или наше — что оно собой, собственно, представляло? Имею в виду детей, рождённых в поздние 20-е годы, Эпохальное событие тех лет, окончательную победу корявого карлика по прозвищу Коба над ленинскими диадохами в борьбе за абсолютную власть.

Мы, горстка детей, игравших в нашем старом московском дворе между Красными Воротами и Мясницкой, близ Чистых прудов, вот оно, это поколение. Мы, ничего не знавшие, ни о чём не слыхавшие, мы были подобны едва зазеленевшей чахлой травке, вылезшей между могилами, были поколением, обречённом существовать, взростеть и на что-то надеяться, сесть и стареть на огромных кладбищах под луной (выражение Жоржа Бернаноса), посреди громоздящихся, неисчислимых трупов, оставленных Революцией, голодом, Гражданской войной, истребительной коллективизацией сельского хозяйства, и новым голодом, и Большим террором, наконец, Второй мировой войной. Надо было дожить до мафусаиловых лет, чтобы, обернувшись, увидеть в заколдованном зеркале, громко называемом Историей, жертвы, жертвы, жертвы.

*27.11.2018*

Марк, дорогой, наконец-то после всех хлопот, компьютерных передряг и прочего Стенография нового времени выходит в свет, Мне понравились оба варианта удачной, как всегда у Граве, обложки. В добрый час!

Я чрезвычайно благодарен тебе за письмо, которое только что получил, ты меня утешил. Дело в том, что вче-

ра, получив первое твоё письмо-отклик на мой непомерно затянутый текст, а также и в особенности после нашего короткого телефонного разговора, я чувствовал себя как-то очень горько. Я понимаю, что очередная работа, дальнейшая расшифровка стенографии и другие дела и заботы, не говоря уже о не вполне удовлетворительном состоянии здоровья, не оставляют свободного времени. Но мне показалось, что Поэма без героя, Двенадцать, рассуждения о возмездии, в которых я захлебнулся, и так далее тебя просто не интересуют. Однако ты прав, эти материи требуют обстоятельного обсуждения, И мне тоже, с моим, не желающим слушаться меня компьютером, вернуться к ним, по крайней мере, в ближайшее время было бы не под силу. Ещё раз крепко тебя обнимаю и жму руку. Г.

*02.12.2018*

Дорогой Марк, только что получил от тебя интереснейшее письмо, где ты сообщаешь о задуманном тобою замечательном, в стихах или прозе, цикле Мой Век с эпитафиями, который сразу, заведомо и заочно, увлёк меня. Очень хочу надеяться, что этот поистине грандиозный замысел, требующий долгой и упорной работы, особого вдохновения, длительного и углублённого обдумывания, будет реализован.

Сегодня воскресенье, дождь, снега нет. Телевидение, которое, невзирая на пресловутую дигитализацию, муж Ядвиги Лешек Пашницкий всё ж таки сумел поправить, передаёт из Штутгарта скучную, на мой непросвещённый взгляд и романтический вкус, оркестровую вещь Лигети. Вчера узнал я от Андрея Арьева, что вирус уничтожил его почту нескольких месяцев, оттого и материалы, посланные мною в журнал Звезда ещё в августе, не дошли. На радостях разбежался и снова послал им знакомую тебе, вероятно, мою российско-еврейско-немецкую, написанную от имени женщины повесть Русский путь.

Я всё так же воюю с бессонницей, со зрением, с компьютером, который ведёт себя, как знаменитый пёс Монт-

гомери в повести Джерома К. Джерома Трое в одной лодке, не считая собаки, совершенно невыносимо. Книжка моя, над макетом которой Борис уже начал было работать, никак не может отлипнуть от меня, Тут как-то я сообразил вместо авторского предисловия небольшой текст под титлом Кто он такой. Он был навеян перечитыванием, в полуночной тиши, прекрасной книги Моруа В поисках Марселя Пруста, отчасти под влиянием рассуждений о франко-семитских скрещениях во французской литературе. А пока решаюсь послать тебе для развлечения упомянутую статейку.

### Кто он такой (от автора)

Ihr naht schon wieder, schwankende Geschalten...

Вы вновь со мной, туманные виденья.

*Gёте*

Как в прошедшем грядущее зреет,  
Так в грядущем прошлое тлеет.

*Ахматова*

Речь идёт, как, может быть, догадывается мой гипотетический читатель, о персонаже с бородой и посохом библейского Мафусаила, в дырявом хитоне и полуразрушенных сандалиях, обнаживших ороговелые пятки вечного странника Агасфера, — какой ещё прототип отыщу для самоописания, чьи тени провожают меня?.. Речь идёт здесь, говорю я, о старце, перешагнувшем порог предпоследнего десятилетия, о человеке, которого бессонница подняла с постели в одну из дождливых ноябрьских ночей Anno Domini MMXVIII.

Речь о жизни, которую следовало бы считать уже давно умершей, если бы с беззастенчивой назойливостью, по любому поводу кстати и некстати, она не напоминала о себе туманными видениями, как называет их германский по-

эт, — всё теми же, тягучими воспоминаниями. Тема, разумеется, не новая. По роду своей деятельности мне частенько приходилось становиться автоплагиатором. События, времена, лица, житейские беды и невзгоды, короче, перипетии моего затянувшегося пребывания на этой земле, пишущему служили всего лишь поводом и сырьём для собственных литературных изделий, во имя сочинительства, одобренного фантазией, домотканой мифологией либо неуместным философствованием. Больше того мне не раз приходила в голову мысль, принадлежащая, если не ошибаюсь, Бергсону. Когда во сне мы встречаемся с умершими друзьями и близкими, давным-давно ушедшими с нашего горизонта, это означает, что мы ничего не забываем, прошлое, якобы навсегда забытое, дремлет в дальних закоулках сознания и, может быть, ждёт, когда его разбудят.

Ade, как говорят офранцузенные немцы, будь здоров, крепко тебя обнимаю. Г.

*13.12.2018*

Дорогой Марк, привет! Давно не получал ничего от тебя из новой Стенографии, как ты живёшь, как чувствуешь себя, работаешь ли?..

За окнами у нас всё бело, сейчас утро, предрасветное время снов. Приснился мне нынче барон Майнрад фон Ау, старый друг, замечательный в своём роде человек, давно умерший. Многих уже нет. Нет больше моего дорогого Уве Гравенхорста, нет Вольфганга Казака, нет Курта Марко. Куда-то пропали Вульфены. Нет уже в России и Бена Сарнова, и Бори Володина, Кстати, на днях скончался Андрей Битов, с которым, правда, я близок не был. Он был умница и, безусловно, выдающийся, независимый писатель, которого совсем было едва не сгубил алкоголизм. Я ценил Битова как эссеиста, но вынужден сознаться, что со знаменитым романом «Пушкинский Дом» потерпел аварию. Дважды, с самыми лучшими намерениями, помню, даже ещё на Крите, начинал читать, и проза эта, к несчастью, показалась мне безмускульной.

Что ещё? Ночью коротаю часы, как обычно, за чтением с экрана. Тут как-то захотел перечитать дневники Камю. Когда-то французский экзистенциализм имел для меня очень большое значение, мне казалось, что философия эта должна была бы звучать особенно актуальной именно для нашей страны. Ничуть не бывало. После моего освобождения по выходе на волю Камю и Сартр весьма помогли задним числом по-новому осмыслить лагерь, самый феномен концлагеря, как и поведение человека в обстоятельствах, сходных с лагерными. И меня, надо сказать, немало удивило, когда, познакомившись с Беном и кругом его гостей и друзей, оказалось, что никто этой жгучей актуальности как будто не заметил. Ни сама фигура Альбера Камю, ни его литературный стиль наследника великих писателей Века Светочей, наконец, ядро его мировоззрения, ключевое понятие абсурда, сопротивления абсурду, бунта поработанного человека и отстаивания достоинства человека, трагический пессимизм, заимствованный, должно быть, у Ницше, ничто из этого, по-видимому, не возбудило интереса у тогдашних советских письменников. А я тогда как раз писал и переписывал Час Короля, переводил из Писем немецкому другу Камю, изрядно меня впечатливших. Чувалось в них что-то своё.

Вспомнился, конечно, — но теперь это уже несколько иная тема, да и время другое, — вспомнился наш обмен мнениями касательно твоей критики романа «Чума».

У меня ничего нового нет, Боря Марковский доделывает макет моей книжки, от Звезды ничего не слышно, Журнальный зал так и не восстановлен. На сём заканчиваю, посылаю тебе небольшой очерк. Ничего особенного, к возможным возражениям готов. Впрочем, ответ отнюдь не обязателен. Жму руку, держись. Твой Г.

14.12.2018

Пришло сейчас твоё письмо, дорогой Марк, с выдержками из Стено 2018, читаю и перечитываю с неослабевающим интересом. О юбилее и возрождении нашего пророка,

о памятнике, речах и выступлениях, театральных инсценировках, вплоть до оперы по мотивам Красного Колеса, и проч., я уже слышал. Вспомнилось, конечно, многое, что касается моего личного, отнюдь не однозначного, отношения к знаменитому, в самом деле, крупному, писателю, ты его знаешь. Я бы свёл его к общему знаменателю — абсолютная безмузыкальность. В юбилейные дни, однако, было бы бестактным говорить о катастрофе художника и публициста, прежде всего публициста-идеолога, катастрофе столь драматически поучительной для нынешнего, а может быть, и будущих писательских поколений. Её, этой катастрофы. или краха, предпочитают, видимо, из опасения совершить святотатство, не касаться апологеты, начиная от Жоржа Нива и кончая Андреем Немзером, который написал целый трактат-инструктаж, как надлежит читать и понимать колёса огромной эпопеи. Но довольно об этом.

Ты спрашиваешь, почему мой этюд «в сиреневых тонах». По правде говоря, сам не знаю. Может быть, оттого, что сиреневое в своём роде двузначно, это середина между холодными и тёплыми тонами. Будь здоров, пиши, если можешь, твой Г.

*15.12.2018*

Дорогой Марк, ты скажешь: «Эк его»! Меня как будто заколодило, и не могу преодолеть себя, хотя прекрасно понимаю, что этот эпистолярный зуд начинает в конце концов действовать получателю на нервы. Сижую, думаю, тянет поговорить, а говорить, кроме тебя, не с кем. Да и о чём?.. У меня, как пишет Пушкин Чаадаеву, в голове только одна мысль — как Вам это понравится? Но мой случай, разумеется, другой. Тут старческое верчение по одним и тем же кругам. Живёшь в мире, за тысячу вёрст далёком от России, тем не менее, то и дело чувствуешь себя болезненно зацикленным на стране своего рождения и родного языка. И это, между прочим, на фоне резкого падения престижа страны за границей. Причины падения очевидны, но это уже особая тема. Ясно только, что такой дистанционный

патриотизм, если допустимо употребить столь замусленное, закаканное слово, есть патриотизм извращённый. Прошлое, как своё собственное, так и всей страны, его оправдывает и поощряет.

Прошлый раз мы говорили о возродившемся по случаю юбилея культе Александра Солженицына, о монументе, при открытии которого присутствовал правитель, как бы санкционируя вздымающуюся чёрную волну злокачественного национализма и гротескного имперского самоупоения. Ты упоминал, если не ошибаюсь, о том, что покойному Исаичу ставят среди другого в особую заслугу, то, что своим Архипелагом он напомнил молодёжи о лагерях. Это, безусловно, так, но я, глядя со своей колокольни, ответил бы (раз уж мы возвращаемся к этой теме), что, хотя великое произведение «Архипелаг Гулаг» написано не для таких читателей, как я, то есть не для сидевших за колючей проволокой, но парадоксальным образом книга Солженицына пресекла (дескать, мы теперь всё знаем, и баста) необходимый будущий дискурс о лагерях рабского принудительного труда как важнейшем эпизоде истории России в XX веке, и более того, как необходимое порождение всей цепи обоюдной несвободы господ и подневольной массы, несвободы, какая прослеживается в смене веков от московской великокняжеской через ханско+монгольскую и православно-византийскую к самодержавно-царской, вплоть до советской, до нашего времени. Рискну добавить, что этому дискурсу воспрепятствовали и авторитет и всесветная слава самого якобы всё сказавшего раз и навсегда писателя с его непомерно высокой оценкой собственной личности, утрированной народностью, антипатией к интеллигенции, оталкиванием от западной либеральной демократии, равно как и особым качеством солженицынской прозы — её абсолютной безмузыкальностью.

Уф! Всё, наконец-то. Извини за назойливость. Сердечно обнимаю тебя и Галю. Ваш Г.



## МЕМОРИАЛЬНАЯ ЗАПИСКА 2017 (К ТРИЛОГИИ «ПРОСВЕТЛЁННЫЙ ХАОС»)

Когда для смертного умолкнет шумный день,  
И на немые стогны града / Полупрозрачная  
наляжет ночи тень / И сон, дневных трудов  
награда, / В то время для меня влачатся в  
тишине / Часы томительного бденья: / В без-  
действии ночном живей горят во мне / Змеи  
сердечной угрызенья; / Мечты кипят; в уме,  
подавленном тоской, / Теснится тяжких дум  
избыток; / Воспоминание безмолвно предо  
мною / Свой длинный развивает свиток; / И с  
отвращением читая жизнь мою, / Я трепещу  
и проклинаю, / И горько жалуясь, и горько  
слезы лью, / Но строк печальных не смываю.

*Пушкин*

Иоганнес Брамс:

Симфония №3 фа мажор, часть третья

04.2018

1. Некоторые труды последних месяцев оживили во мне угасшую было надежду, что я всё ещё не совсем утратил работоспособность. Борис Хазанов по-прежнему остаётся моим литературным именем. Мне 89 лет. Я многое видел. Был современником событий, которые закрепили за Советской Россией репутацию бесчеловечного государства. Пример моей страны опровергает гипотезу исторического разума.. В моём возрасте живут памятью прошлого. Я обретаюсь в мире неизгладимых воспоминаний. Болезнь, называемая патриотизмом, приняла у меня ообую злокачественную форму: я не в состоянии ничего ни забыть, ни простить. Память обрекает на одиночество. Впрочем, это не новость. Одиночество и желание высказаться породили моё писательство. Не будучи автобиографическими в полном смысле слова, мои произведения то и дело оказывались беллетризованными воспоминаниями. В итоге вся моя продукция есть не что иное, как нескончаемая песнь

моей жизни. Разумеется, я не мог обойтись без плагиата у действительности. Рассказ может граничить с безумием, но обстановка обязана быть житейски правдоподобной. Я не чурался фантастики, отдавал щедрую дань сновидениям. Но кем бы ни оказывались мои персонажи, женщины и мужчины, дети или старики, выбившаяся из сил рабочая лошадь, растерзанный клювами хищников старый орёл или раненый таёжный волк, умирающий и воскресший, я невольно вкладывал в них частицу самого себя.

Любовь, Память и Время были мои главные темы. Забота о стиле заставляла напрягать все мои силы. В прозе я ценил превыше всего дисциплину, красоту и музыкальность, как я их понимал, к чему стремился, сколько хватало сил и способностей. Меня научили отличать хорошую фразу от плохой великие прозаики: Пушкин, Лермонтов, Тацит, Флобер, Чехов, Хорхе Борхес.

2. В детстве я придумывал и рисовал на рулонах бумаги фильмы. Киностудия называлась «Самфильм», — словно предвещала Самиздат, подпольную машинописную литературу поздних советских лет, в которой автор этих заметок принимал живое участие. За что и был вознаграждён изгнанием. И вот теперь остаюсь верен этой двусмысленной деятельности. Я и сейчас «сам». Это заставляет задуматься о смысле и оправдании своего писательского труда.

3. Древние говорили: *Primum vivere, deinde philosophari*. Сперва живи, потом философствуй.

Приоритет «жизни» перед рассуждениями, недоверие к самоанализу, к рефлексии о собственных сочинениях, и т.п. обычны в нашей стране отвечают требованию от пишущего, чтобы он показывал, а не рассказывал, не рассуждал, а изображал. В «Понедельнике роз», некогда принятом опыте литературной автобиографии, нахожу следующий пассаж:

«Считается, что мания рассуждать о литературе, вместо того, чтобы «просто писать», свидетельствует о творческой немощи, подобно тому как слишком пространные рассуждения о Боге избличают недостаток веры. Возмож-

но, правы те, кто говорит, что мы живём в александрийское время, что словесность, размышляющая о самой себе, — нормальная литература нашего века. Я отлично понимаю, что пример некоторых знаменитых писателей-критиков и комментаторов собственного творчества — не может служить для меня оправданием. Отечественная традиция приучила нас видеть в докучливых диатрибах о себе нечто нескромное. Вдобавок они чаще всего недостоверны. И, наконец, то, что происходит у нас на глазах — тихая катастрофа литературы, — заведомо обрекает все подобные упражнения на невнимание и провал».

4. Пусть же так и остаётся. Пусть это будут просто мысли о себе, о времени, о том, что казалось мне моим призванием.

Ребяческая мечта о Неизвестном Читателе есть именно мечта, попытка освободиться от старинного предрассудка, будто мы пишем ради того, чтобы нас читали. Со своей стороны я готов ответить на сакраментальный вопрос: для кого? — кратко и определённо: ни для кого. Просто так. Не вздыхая о недостижимом успехе, не присоединяясь к дебатам о литературе без читателей. Довольно будет сказать об этой непонятной мании писать, работать, творить вопреки всеобщему равнодушию. Нести свой крест — и верить, как говорит чеховская героиня.

5. Надеюсь, мне простят манию пережёвывать прошлое, болезнь закатных лет, чьё неоспоримое, хоть и незавидное, преимущество — способность жить одновременно в разных временах.

Я привык поздно ложиться и обычно стараюсь дотянуть до такой степени усталости, когда, улёгшись, тотчас засыпаешь. К несчастью, это удаётся не всегда, начинаешь ворочаться с боку на бок, зажигаешь свет, гашишь, угнетают бесплодные мысли, унылые песни продолговатого мозга, истоптанные дорожки моей литературы. Глаза закрываются, и в последующие полтора часа я вижу сны.

К сказанному хочется прибавить признание Лукино Висконти: «...Я обращаюсь к прошлому оттого, что настоящее скучно и предсказуемо, а будущее пугает своей не-

известностью. Зато прошлое предрекает настоящее и, глядя в прошлое, мы, как в зеркале, можем увидеть черты сегодняшнего дня».

6. Продолжим начатое. Видно, такова человеческая натура, если сон, сновидческая активность мозга, нечто призрачное и обманчивое, узурпирует права рассудка, посягает на суверенность нашего «я», принимает решения. Однажды, лёжа в больничной палате после несчастного случая, в одну из тех тягостных ночей, когда теряешь способность отличать действительность от хаотических грёз, я набрёл на мысль — подвести чёрту. И вот, возвращаясь к ней. Моя жизнь лежит передо мной как некая партитура, — но кто стоял за дирижёрским пультом?

7. Словно веку назло, наперекор несчастью родиться в несвободной стране, мне всё же отчасти повезло. Правнук иудейских предков, я избежал тевтонской оккупации и газовой камеры. Не окошел в лагере. Был рождён и вырос в русском языке, почему и обрёл себя почётной, хоть и не слишком выигрышной, участи русского писателя. Наконец, встретился с девушкой, которая стала женщиной моей жизни. Случилось, что без неё влачу остаток дней. Треть моей жизни ушла в прошлое, прежде чем мы покинули родину. Изгнание спасло мне жизнь, эмиграция избавила нашего сына от дискриминации и нищеты, дала возможность отдаться литературе. И вновь буравит сознание вопрос: кто был дирижёром, исполнившим сочинение анонимного композитора перед пустым залом?

Автор «Просветлённого хаоса», представитель неумирающей зарубежной русской литературы и политический эмигрант Третьей волны, заканчивает свой труд на чужбине, которая заменила для него изгнавшую его родину.

## МЕМОРИАЛЬНАЯ ЗАПИСКА 2018 К ИСТОРИОГРАФИИ РАЗБИТОГО КОРЫТА

Историография Разбитого Корыта. Quid est? Что, собственно, сей сон означает... Как представитель своего поколения, поколения русских (или русско-еврейских) эмигрантов и тех, кто остался в России, я беру на себя, с известной долей самонадеянности, смелость считать себя голосом этого не слишком счастливого поколения. Как писатель не могу отвязаться от вопрошания, что останется, останется ли вообще что-нибудь от содеянного мною, Какими глазами взглянут на эту стопку томов потомки, близкие или подальше... Подчас начинает казаться. Что ответить нетрудно, Ведь будущее, этот вечно несытый хищник, подстерегает совсем близко. Ибо несётся навстречу с астрономической скоростью, Легко, говорю я, представить себе, что наш век будет забыт и на нас, если кто вспомнит, будут взирать, в лучшем случае пожимая плечами со снисходительной усмешкой. Но остаётся и другая вероятность. Нас и нашу эпоху помянут, подавив сложное чувство ужаса и отвращения. Был момент в истории нашей страны, последние, мимолётные месяцы Семнадцатого года, когда золотая рыбка выполнила наказ и Россия чуть было не стала демократическим государством, как у других, но стоило рыбе махнуть хвостиком и скрыться в волнах, как старуха вновь очутилась у порога своей развалюхи, явилось воздвигнутое Ленином и Троцким государство на трёх столпах насилия, рабства и лжи. И даже нашему поколению чудесным образом довелось однажды, сызнова на одну минутку, увидеть, как пришла золотая рыбка, приплыла и спросила: «Чего тебе надобно, старче?» И... и...

## СОДЕРЖАНИЕ

Memorabilia .....	7
Часть I, философическая .....	8
Часть II, беллетристическая .....	13
Часть III, эпистолярная. <i>Избранные письма к друзьям</i> .....	61
Мемориальная записка 2017 .....	268
Мемориальная записка 2018 .....	272

**Хазанов Борис**  
**ВРЕМЯ И ВЕЧНОСТЬ**  
Мысли вслух и вполголоса

Главный редактор издательства  
*Игорь Александрович Савкин*



Дизайн обложки *И. Н. Граве*  
Оригинал-макет *Б. Н. Марковский*  
Корректор *И. Е. Иванцова*

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.  
Издательство «Алетейя»,  
192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 86 А, оф. 536  
Тел. +7-921-951-98-99, Савкина Татьяна Михайловна,  
+7-911-820-22-47, Галина Михайловна, склад  
Редакция издательства «Алетейя»:  
СПб, 9-ая Советская, д. 4, офис 304,  
тел. (812) 577-48-72, [aletheia92@mail.ru](mailto:aletheia92@mail.ru)  
Отдел продаж: [fempro@yandex.ru](mailto:fempro@yandex.ru), тел. +7-921-951-98-99  
**[www.aletheia.spb.ru](http://www.aletheia.spb.ru)**

*Книги издательства «Алетейя» можно приобрести  
в Москве:*

«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. [www.biblio-globus.ru](http://www.biblio-globus.ru)  
Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83  
«Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2. Тел. (495) 915-27-97  
«Фаланстер», М. Гнездиковский пер., 12/27. Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21  
«Циолковский», ул. Б. Молчановка, 18. Тел. (495) 691-51-16  
Книжная лавка «У Кентавра». Миусская площадь, д. 6, корп. 6  
Тел. (495) 250-65-46, +7-901-729-43-40, [kentavr@kpole.ru](mailto:kentavr@kpole.ru)

*в Киеве:*

«Книжный бум». Тел. +38 067 273-50-10, [gron1111@mail.ru](mailto:gron1111@mail.ru)

*в Минске:*

«Экономпресс», ул. Толбухина, 11. Тел. +37 529 685-70-44, [shop@literature.by](mailto:shop@literature.by)  
*в Варшаве:*

«Centrum Nauczania Języka Rosyjskiego»,  
ul. Ptasia 4. Тел. +48 (22) 826-17-36, [szkola@jezykrosyjski.com.pl](mailto:szkola@jezykrosyjski.com.pl)  
*в Риге:*

«Intelektuāla grāmata»  
Rīga, Кг. Varona iela 45/47. Тел. +371 67315727, [info@merion.lv](mailto:info@merion.lv)

**Интернет-магазин: [www.ozon.ru](http://www.ozon.ru)**

Формат 60x88<sup>1</sup>/<sub>6</sub>. Усл. печ. л. 16,87. Печать офсетная.  
Заказ № 138182



**Борис Хазанов** (псевдоним Г.М. Файбусовича), родился в Ленинграде, вырос в Москве. Учился в Московском университете, на последнем курсе филологического факультета был арестован, получил 8 лет. Позднее окончил медицинский институт, работал врачом, кандидат медицинских наук. В связи с участием в Самиздате был вынужден покинуть Советский Союз и поселился в Германии. Автор романов, рассказов, эссеистических произведений. Многократно переводился на европейские языки, публиковался в России и за границей.

Премия «Литература в изгнании» (Гейдельберг), несколько премий Международного ПЕН-клуба, «Русская премия» (Москва), премия имени Марка Алданова (Нью-Йорк), шорт-лист премий «Русский Букер» и «Большая книга». Живет в Мюнхене.

В издательстве «Алетейя» вышли в свет книги Бориса Хазанова:

**Истинная история минувших времен.**

**К северу от будущего.** Романы и повести

**Третье время.** Романы и повести

**После нас потоп.** Романы и повести

**Вчерашняя вечность.** Повести и рассказы

**Опровержение Чёрного павлина.** Романы, повести, эссе

**Миф Россия.** Статьи и эссе

**Подвиг Искарриота.** Рассказы, статьи, письма

**В лучах чужих планет.** Рассказы, статьи, переводы

**...Пиши, мой друг.** Переписка с Марком Харитоновым» (2 тт.)

**Элизиум теней.**

**Пусть ночь придет.** Повести о женщинах

**Человек-перо.** Писатели и литература

**Письма из прекрасного далёка.**

**В садах за огненной рекой.**

**Тревога и труд.**

**Праматерь.**

**Зимнее солнцестояние.**

**Дай мне имя.**

**Просветленный хаос**

